

ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

8 '84



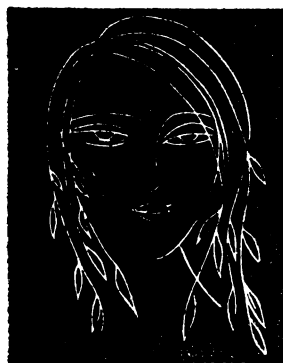


М. АХОБАДЗЕ.

Грузинский чай.

ЮНОСТЬ

8⁽³⁵¹⁾ 84



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

*«В нынешних условиях
все большую актуальность
приобретает исторический
завет В. И. Ленина,
данный молодежи.
в его выступлении
на III съезде комсомола:
учиться коммунизму».*

*Из Постановления
Центрального Комитета КПСС
«О дальнейшем улучшении
партийного руководства комсомолом
и повышении его роли
в коммунистическом воспитании
молодежи».*

В НОМЕРЕ:

Проза

Николае ВИЕРУ. Река и лист. Роман 3
Тамара ШАРКОВА. В честь Пушкина. Рассказ 63

Поэзия

Тамара ЖИРМУНСКАЯ [56], Елена БОНДАРЕВА [56], Михаил ШЛАИН [57], Леонид ЗАВАЛЬНЮК [58], Феликс ЧУЕВ [59], Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ [60], Михаил КВЛИВИДЗЕ [61], Павел ХМАРА [62], Александр ШАТАЛОВ [66], Фариза УНГАРСЫНОВА [67], Лев ОЗЕРОВ [68], Николай ТРЯПКИН [84].

Публицистика

Алексей ФРОЛОВ. Уроки на завтра 69
Ахмед ИСАЕВ. Продолжение подвига 82

Критика

Константин ЩЕРБАКОВ. Брать выше себя 86
Александр ТКАЧЕНКО. Две луны 91
Станислав РАССАДИН. Немилостивые 92
Сергей ПОВАРЦОВ. Дерево, птица, цветок... 93
Л. ЛЕВИН. Незаметное воспитание 94

Т. АСТАПОВА. Когда Марина была юной 95

Культура и искусство

Игорь ГРОМОВ, Михаил КАЛАМКАРОВ. Два варианта успеха . . . 99

Наука и техника

Академик И. К. КИКОИН. Место для гения вакантно 101

Спорт

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Кто! 106

Зелёный портрет

Феликс КРИВИН. Иронические стихи 111
Семен ЛИВШИН. Вот такие пирожки 112

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Сергей ЕСИН
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Олег КОМОВ
Кайсын КУЛИЕВ
Мария ОЗЕРОВА
Андрей ПОТЕМКИН
Алексей ПЬЯНОВ
(заместитель главного редактора)
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Владислав ТИТОВ
Алексей ФРОЛОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

1—4 стр. обложки —
рисунок
А. Сальникова.

Главный художник
Ю. Цишевский.

Художественный редактор
О. Коккин.

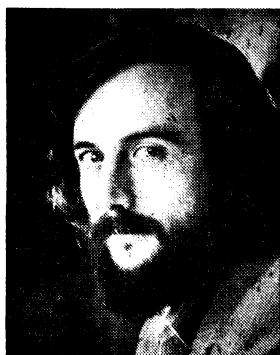
Технический редактор
Л. Зябкина.

Адрес редакции: 101524, ГСП,
Москва, К-6, улица Горького,
№ 32/1.

Сдано в набор 12.06.84.
Подп. к печ. 13.07.84.
А 11309.
Формат 84×108¹/₁₆.
Высокая печать.
Усл. печ. л. 12,18.
Уч.-изд. л. 17,60.
Усл. кр.-отт. 18,48.
Тираж 3 335 000 экз.
Изд. № 1979.
Заказ № 2955.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина,
125865, Москва, А-137, ГСП,
ул. «Правды», 24.

НИКОЛАЕ
ВИЕРУ



РЕКА И ЛИСТ

Глава первая

РОМАН

М

меня разбудил резкий голос отца, раздавшийся в соседней комнате. Я открыл глаза, но спросонок не сразу сообразил, кто зовет меня и откуда. Наконец мне удалось стряхнуть дремоту, и я прыжком вскочил на ноги: да, да, проснулся, уже одеваюсь... После этого я плюхнулся на табурет и несколько минут бессмысленно таращился на прикрепленную к зеркалу фотографию Элизабет Тэйлор в роли Клеопатры из одноименного, как вы сами догадываетесь, фильма. Мне с большим трудом удалось выманить этот снимок у Каролины Думитру, моей соседки по парте, занозистой, светловолосой, смахивающей на мальчишку... Будьте уверены, рано или поздно я поставлю ее на место. Подумаешь! Считается, что она похожа на Элизабет Тэйлор, но, согласитесь, это еще не повод задира́ть нос и перед всем классом утверждать, что я ничего не понимаю в киноискусстве и что моя голова забита всякой математической белибердой, а в литературе и музыке, как, впрочем, и в остальных гуманитарных предметах, я будто бы темнее черной кошки, выскочившей из дымохода. Понятно, эти слова вызвали в классе дурацкий смех, и мне ничего не оставалось, кроме как продемонстрировать присутствующим аистиную походку Каролины, — сто́ит разок посмотреть, как она переставляет свои длинные ходули, и вы никогда не забудете этого зрелища. Не исключено, что в том состоянии, до которого она меня довела, я подобрал бы и достаточно веские слова для достойного ответа на низкую клевету, но тут как раз вошла Вероника Эмильевна с классным журналом в руке и, полюбовавшись на мои выкрутасы, приказала мне сесть на место. Вдобавок она тихонько постучала себя пальцем по лбу, и я склонен думать, что этот довольно вульгарный жест имел некоторое отношение ко мне...

Подскакивая то на одной, то на другой ноге, я наконец натянул штаны и голый до пояса потрусил к рукомойнику во дворе. Месяц назад я заколотил в землю шест, вбил в него гвоздь и прицепил новенький рукомойник, добавив к своим многочисленным заботам приятную обязанность наполнять его водой.

Солнце уже поднялось, как выражались наши предки, на половину копыя. На свежей траве под забором еще поигрывали радужными переливами быстро испаряющиеся капельки росы, и, заглядевшись на них, я забыл, зачем вышел во двор, так что отцу снова пришлось вывести меня из оцепенения резким окриком:

— Стоя спишь, а?

Я потряс головой и наклонился к рукомойнику, толкая сложенными ладонями его никелированный клювик и забрасывая за шею и за спину пригоршни звенящей воды. Это перехватывающее дух ощущение холодных струек, бегущих по теплой, еще сонной коже, было невыразимо приятно, и, может быть, именно поэтому мне вспомнилось другое чувство, равное по силе

Рисунки
В. Скрылева.

удару тока и постигшее меня в ту минуту, когда я случайно прикоснулся к тонкой и холодной — почти как вода в рукомойнике — руке Каролины. Я с удовольствием представил себе ее большие голубые глаза, полные искреннего недоумения и тревоги, увидел их свет, льющийся в настроенной тишине класса, как мелодия, исполняемая на электронных инструментах, и тут же в моей затуманенной голове закружилась вселенная со всеми ее открытыми и еще неизвестными галактиками, с бесчисленным множеством миров и антимиров, с чудовищно грузными ледяными шарами небесных тел и пламенными веерами комет, пронизывающих беспредельную вечную тьму безмолвного пространства... И тут Вероника Эмильевна обернулась ко мне, оценила глубину моей созерцательной задумчивости и сказала с привычной усмешкой: «Влад, я верю, что тебя осенила очередная гениальная идея, но, может быть, ты все же согласишься вернуться в наш бранный мир, хотя бы до звонка?» Я едва различил эти слова: гораздо отчетливее слышался мне звук, доносившийся с третьего этажа, из музыкального класса, где директор школы, старый историк Ротару, наигрывал, как умел, вальс Шопена. За окном валил снег, и я молча закрыл за собой дверь, провожаемый, надо полагать, недоуменными взглядами товарищей, иронической усмешкой Вероники Эмильевны и грустным глубоким вздохом Каролины Думитру; выйдя на школьный двор, я вытянул перед собой руку, и на мою горячую ладонь стали садиться хрупкие снежинки, начинавшие таять еще до прикосновения к коже. Воздух танцевал. Меня потянуло к реке. Миром, высокопарно сказал я себе, правит музыка. Река уже бормотала поблизости. Я прислонился к толстому стволу голый, низко обрешенной акации и закурил. В моей душе плакала Каролина Думитру...

Снова раздался голос отца — теперь он звал меня к столу. С тех пор, как отца поставили бригадиром и он начал ссориться с людьми, у него появилась привычка покрикивать... Нет, конечно, нелегко быть бригадиром, если надо орать до хрипоты. Но иногда мне кажется, что отцу это нравится. Я так и слышу его слова:

— Ха, будь председателем я, они бы у меня живо научились работать. Обленились мужики, разжирили...

Он и сам не из аристократов, но почему-то завел моду выражаться в тоне нового председателя Епуре — тот однажды заспорил со своим земляком, другом детства, что ли, журналистом, заехавшим в наш колхоз по делам, а может, и просто развеяться (это был человек лет тридцати, тощий, долговязый — того и гляди переломит ветром), так вот, на вопрос, как идут дела, наш Епуре усмехнулся и сказал, что теперь, мол, грех жаловаться, а поначалу шло не плохо, но он нагнал на мужиков страху, и жизнь покатила как по рельсам... Но тут журналист разинул варежку и вспыхнул: на кого ты нагнал страху? на мужиков? а сам кто? великий боярин? не мужик?! Епуре свое гнет: какой я мужик! отец мой был мужиком, а я... Но журналист прервал его: вон там, говорит, за пять холмов отсюда, наше родное село, где живет твой отец. Неужели кто-нибудь вроде тебя и на него нагоняет страх? Тут наш председатель крикнул и сказал: ну и что? На это его земляк ничего уже не ответил, а встал и, не простившись, подался на автобусную станцию. Епуре, правда, кричал ему вслед, чтобы подождал: он, дескать, даст ему машину до района или даже до Кишинева, но тот и не подумал остановиться...

Я нарочно помедлил, пока отец не укатил на своем мотоцикле. В кухне была только моя млад-

шая сестра Тамара, да и та уже укладывала учебники в сумку. Увидев меня, она не упустила случая съязвить:

— Явилась пташка поклевать кашки!

Я, разумеется, и не взглянул на нее, только процедил:

— Что это ворёны с утра раскаркались?

Видать, моя шуточка задела Тamarу — она устала на меня с нескрываемым отвращением.

— Вот погоди, я все расскажу отцу. И еще скажу, что ты потихоньку куришь в школьной уборной.

Я сделал угрожающее движение в ее сторону, и она испарилась. Я лишь плюнул с досады. Тамара у нас правая рука отца. Он строит на мой счет дальние планы («Я сделаю из тебя Большого человека, олух ты этакий!»), и потому на нее возложена обязанность каждый вечер докладывать, чем я занимался в течение дня. Несчастная девчонка! Она живет между Сциллой и Харибдой: если выдает меня, то от меня же и получает, а если обманывает отца и он узнает об этом, то ей опять же попадает, а рука у него тяжелая. Может быть, поэтому мне бывает ее жаль.

Я наскоро выпил чаю и, подхватив сумку, отправился в школу. Времени до уроков было еще порядочно, около получаса, но и дорога предстояла немалая, больше километра, а я никогда не любил спешить. Наоборот, мне нравится идти медленно, сдержанной походкой человека, полного чувства собственного достоинства... Правда, отец, если ему случается заметить меня в таком виде на улице, начинает ругаться на чем свет стоит: вся штука в том, что это точь-в-точь его собственная поступь и, будучи человеком неглупым, он не может не понимать, что даже и походкой я наношу ущерб его бригадирскому авторитету — мы с ним похожи, как две капли воды (у нас говорят: я точно из глаза у него выпал...). Вместе с тем, поскольку я тоньше и длиннее, то, выступая по улице таким боевым петухом, я представляю собой, к удовольствию всех встречных, весьма удачную карикатуру на своего родителя. Хорошо еще, что он не думает, будто я это делаю нарочно. Намеренной насмешки он и вообразить себе не мог бы: ведь я, Влад Филиппский, Владик, для него не только послушный мальчик, всегда готовый выполнить любое твердо произнесенное приказание, но и будущий Большой человек, каким в его понимании является не ученый, художник, писатель или политический деятель, но — Шеф, Начальник над всем и вся... Человек, работа которого сводится к отдаванию крупномасштабных и неизменно мудрых распоряжений, ибо Начальник, как считает мой отец, не может ошибаться уже в силу своей должности. Не зря он любит ставить мне в пример председателя Епуре, который выстроил себе один новый дом в селе, а другой — в самом Кишиневе, поскольку, как выражается отец, мужикам может вожжа под хвост попасть и Епуре придется смазывать пятки.

— Ну и что из этого? — спросил меня однажды отец, сердясь неизвестно на кого. — Ты, может быть, думаешь, что он умрет с голоду? Не волнуйся, Епуре умеет жить. Его ценят в районе, а, стало быть, на всех остальных ему наплевать. Из района спускают указание: посадить столько-то гектаров табака. Пожалуйста! А сахарной свеклы, наоборот, столько-то. Пожалуйста! А разве он не знает, что у него слишком мало рабочих рук и половина урожая померзнет в поле? Знает. Ну и что? Пусть мерзнет. Пусть гниет! Зато он в точности выполнил указания. А что делал прежний председатель, Рэчиль? Кобенился. Он, видите ли, лучше знал землю,

возможности хозяйства и бог знает что еще. И чем кончилось? Ушел. Ушли. Теперь он в садоводческой бригаде. А знаешь, как мотивировали? Неполным соответствием. Зато Епуре «соответствует» полностью... Ты спросишь, зачем я тебе это говорю. А затем, дубовая голова, чтобы ты понял: маленький начальник должен сидеть и не рыпаться! Залезешь повыше — тогда и перед тобой кто-нибудь шапку заломит... Чего хотел Рэчилэ? Быть личностью! Ишь ты!.. Будь личностью сколько влезет, но — в рамках и не на свою голову. Ему не нравился севооборот, предписанный районом! Ему на месте виднее, что сеять!.. Не буду спорить, Рэчилэ — человек башковитый, а Епуре — балбес, и людские заботы ему до лампочки. А вот поди ж ты: Епуре — начальник, а Рэчилэ — никто!

Я ответил:

— Да, отец, но Рэчилэ остался, а про Епуре забудут.

— Как это?

— Люди говорят: во времена Рэчилэ... если бы Рэчилэ... Рэчилэ сделал бы иначе...

Отец только рукой махнул и прекратил разговор. Главная ошибка отца в том, что он до сих пор считает меня ребенком и даже не догадывается, что мне известно слабое место его умозрительной теории: она идет не от сердца, и, больше того, она не в ладу с сердцем, так что он и самому себе не очень-то верит. Он рисует себе картину циничного, бесстыжого мира, но самое смешное, что это делается ради меня, ради того, чтобы «научить меня жить». К тому же он без конца напоминает мне о Рэчилэ, который, по его словам, «съел шиша», а иногда и о дяде Ипате, который тоже в своем роде «съел шиша», но только это было много лет назад и совсем по другой причине... А вот Епуре, Епуре... Но он не может скрыть омерзения к этому человечку, что и выдает моего отца с головой. В конце концов, что такое Епуре? Заяц, по-нашему, заячья душонка, мнимая величина, мыльный пузырь, как сказал бы директор школы. А дядя Ипат поставил бы вопрос философски: неужели, дескать, я дожил до моды на мыльные пузыри? Однажды, встретив моего отца на улице, он так и спросил:

— Говорят, Филимон, ты стал большим любителем мыльных пузырей. Что ты делаешь с ними? Годятся они на что-нибудь?

Отец не нашелся с ответом и сказал только:

— Да ну, Ипат, всякий человек может жить, как хочет.

На что дядя Ипат тут же возразил:

— Почему же ты не живешь, как хочешь, а, Филимон?

Впрочем, конечно, дядя Ипат — это одно, а мой отец — совсем другое. А Рэчилэ... про него можно сказать словами того же дяди Ипата: будь каким хочешь, но знай, что ты — какой-то и что ты никому не причинил зла...

На одном из поворотов дороги я увидел Каролину Думитру и свистнул ей. Она оглянулась. Я догнал ее, чувствуя, как меняется выражение моего лица.

— Привет!

— Привет, свистун! — ответила она. — Где тебя учили так здороваться? Ты, кажется, с утра вошел в роль?

— А ты еще нет?

— Не люблю нахалов.

— И напрасно. Я лично им завидую — они добиваются всего, что хотят.

Она хмыкнула.

— Какой у нас первый урок? — спросил я.

— Литература.

— Ага! Значит, опять Белая Ворона будет талдычить про...

— Влад, я уверена: о чем бы она ни говорила, ты посвятишь все свое внимание пейзажу за окном... Ты усталел, Филипский, ты провинциален.

— Где уж нам, дуракам, чай пить! Ты-то небось платья в Париже заказываешь...

— Филипский, ты провинциален, потому что ты мечтатель.

— Чушь!

— Видишь, правда глаза колет...

Но тут мы подошли к воротам школы, и я не успел еще сунуть сумку в парту и вытащить учебник литературы, как прозвенел звонок и на пороге появилась Вероника Эмильевна, как всегда спокойная и как всегда с иронической улыбкой на лице. Она сделала перекличку. Отсутствовал один только Лйкэ, по прозвищу Тяпа, и Вероника Эмильевна поглядела на Каролину.

— Ты была у него вчера?

— Была, — ответила Каролина. — Он сказал, что больше не придет в школу и пусть его оставят в покое. Он сказал, что устроился на работу и что он не сопляк вроде нас, чтобы... Словом, теперь он пастух, пасет колхозных овец.

Вероника Эмильевна прижала ладони к вискам и задумалась. Я, конечно, не удержался:

— Вот вам и всеобщее среднее образование. Проворонила школа еще одного Ломоносова.

Вероника Эмильевна вздохнула: дескать, и ты, Брут...

— Да вы не расстраивайтесь, — сказал я, — в конце концов Тяпа настоящий молдаванин, и, помня об исконном занятии нашего народа, он...

— Молчи, Филипский, — прервала меня учительница. — Лучше погляди в окно: весна на дворе.

— Весна, Вероника Эмильевна, — повторил я. — Моя соседка по парте, известная вам Каролина Думитру, утверждает со свойственной ей пылкостью, что весна — пора любви. Об этом даже в газетах пишут. Я читал давеча и чуть не прослезился.

— А знаешь, Влад, — поддела меня Вероника Эмильевна, — такие пустяки, как любовь, не должны бы тебя беспокоить.

— Э, нет... Когда читаешь стихи иного из ваших любимых поэтов и видишь, сколько темперамента он вкладывает в свои строчки, создается впечатление, что... с минуты на минуту он будет распят на золотом кресте любви. Хорошо еще, что поэты у вас все как на подбор оптимисты...

Вероника Эмильевна несколько мгновений молча созерцала меня, а потом спросила:

— Филипский, ты мог бы назвать хотя бы одного писателя, который тебе по-настоящему близок? Я вдруг зашелся.

— Да. Даже двух.

— Любопытно было бы услышать.

— Эминеску и Толстой.

Вероника Эмильевна округлила глаза.

— Ты серьезно? Что же, например, тебе нравится у Толстого?

— Страницы с Левиным и Кити в «Анне Карениной».

— А еще?

— Еще? «Казак», Пьер Безухов, оба Болконских... отец Сергей.

— А что тебя привлекает у Эминеску?

— Его попытка объять и удержать вселенную.

— Знаешь, это неплохо сказано.

Я приободрился.

— Но не вполне по учебнику, — добавила она.

— При чем тут учебник? Его читать противно — такая тоска. Эминеску у них — пессимист, дру-

гой — еще кто-нибудь... Эминеску — великий поэт, и он не может быть ни пессимистом, ни оптимистом. Иное дело, что он трагичен, да, в той мере, в какой трагичен почти всякий художник, но... В отличие от обычных людей художники всегда понимают о смерти.

— А знаешь ли ты кого-нибудь из обычных людей, кто тоже ни на миг не забывает об этом?

— О чем?

— О смерти.

— Да. Дядю Ипата.

— А еще что-нибудь ты о нем знаешь?

— Слухами земля полнится. Раз я живу здесь, как не знать?

Усевшись за парту, я стал думать про дядю Ипата и Магдалину, сестру Вероники Эмильевны, про ее маму и отца, дядю Эмиля, переселившегося, как говорится, в лучший мир, про бывшего председателя Рэчилэ и про коня дяди Ипата, про каменный карьер, про деревья и травы, про землю и про моих земляков; потом я стал думать об Элизабет Тейлор и о Клеопатре, о Цезаре и Михаиле Эминеску, а заодно и о Лье Толстом; пришли мне на ум Сад камней в Киото и Красная площадь в Москве, и горьковский Данко; потом я задумался о моей соседке по парте Каролине Думитру, о нашей реке, в которой вода стала теперь такой грязной, и о многом-многом другом. Я вообразил себе поля и людей, работающих в полях, вселенную и Вселенную, я думал об одиночестве и отваге космонавтов, о балладе «Миоріца» и зодчем Маноле, о железных дорогах, о Молдавии, обо всей нашей стране, об Африке, Европе, Азии, Америке, Австралии и снова о Каролине Думитру.

Нам предстоял урок истории, потом физики, потом алгебры и еще химии и физкультуры. Ни одного «окна» не предвиделось: историка, директора школы Ротару, не вызвали сегодня ни на какое районное совещание, и, значит, можно было быть уверенным, что ровно за три минуты до звонка он «вставится в класс», как дерзко выразилась Каролина Думитру, дважды фыркнув при этом без всякой видимой причины, отчего действительно «вставившийся» Ион Петрович тут же направил в мою сторону обвиняющий перст, а я, конечно, пожал плечами, давая понять, что не сказал соседке ничего такого, что могло бы вызвать подобную реакцию, и что он хоть на этот раз мог бы мне поверить, а если все-таки не верит, то я не виноват. С другой стороны, почему бы он мне верил? И что для него, для Профессора, как мы его именуем, отрезанного, словно с луны свалившегося человека, настолько погруженного в себя, что и вообразить трудно, как он выныривает на поверхность житейского моря, как ухитряется при своей отчужденности, озаряемой вспышками сарказмов, руководить школой и участвовать, что называется, в общественной жизни, — что ему, согнутому под бременем многовековой истории человечества, жизнь одного, отдельно взятого человека — подростка с возрастными проблемами и юношескими прыщами? Каждый раз, выходя в журнале унылую тройку, он обращается к нам с вопросом: «Как можно вести себя плохо?» А слышит другое: «Как можно вообще как-нибудь вести себя?»

Уроки Ротару отличает существенное обстоятельство: он никогда не спрашивает домашних заданий, ему, по его словам, тошно глядеть, как мы растем бубнилками, тем более что памятью обладают и животные, и, может быть, даже более прочной, чем

наша, «а вы, попугаи, собираетесь стать кем? Людями. Homo sapiens».

И вот как он начал очередной урок:

— Итак, почтенные лоботрясы, я надеюсь, что идеи Радищева вы с грехом пополам усвоили. Задаю вопрос: в чем разница между взглядами этого русского просветителя и концепциями западноевропейских утопистов? Ну, кто смелый?

Каролина Думитру закатила глаза. В классе воцарилась могильная тишина, думаю, что кое-кто даже перестал дышать. Э-ге-ге, когда еще мы проходили этих самых утопистов! Я было нацелился шепнуть Каролине пару слов, но Ион Петрович обрезал меня:

— Вундеркинд, прикуси язычок!

Можно было бы поднять руку, но я знал, что он меня не вызовет. Тогда, притворившись, будто копаюсь в сумке, я быстренько нацарапал ответ на клочке бумаги и сунул его Каролине, которая скользнула по записке взглядом и сразу подняла руку. Ротару сонно кивнул. Каролина, которую во время ответа можно было бы уподобить действующему пулемету, застала:

— Влад Филиппский, по прозвищу Вундеркинд, считает упомянутую разницу весьма серьезной: западные утописты при всей революционности их мышления ориентировались на просвещенную монархию, тогда как Радищев прямо призывал к свержению самодержавия.

Ион Петрович удивленно поднял брови, но все-таки удостоил нас улыбкой.

— Передай Филиппскому пламенный привет, — сказал он, пожав губами. — Я мог бы выставить ему за такой ответ пятерку, но ввиду того, что, как мне известно, он не затрудняет себя подготовкой к урокам истории, ограничимся четверкой.

На это Каролина, не смущаясь, выпалила:

— У Филиппского нет претензий.

— Очень рад, — заметил Ион Петрович, — что ты читаешь даже мысли своего соседа. Достойная дружба...

На этот раз Каролина осеклась и даже покраснела. Так ей и надо: пусть не лезет куда не спрашивают.

Я повернулся к окну и загляделся на деревья, еще голые, но уже с распутившимися почками. Будь у меня конь, я вскочил бы в седло и поскакал куда глаза глядят, да так, чтобы ветер в ушах свистел, чтобы всей грудью вдыхать запах свежераспаханной земли и молодой травы. Я представил себе все это, и перед моим мысленным взором явился дядя Ипат, сгорбленный, словно придавленный к земле горем, такой, каким он стал со дня отъезда Магдалины; я вообразил себе и Магдалину (ее, думаю, помнит все село — ни до, ни после не было в наших краях такой красивой девушки). А потом дяде Ипату взбрело в голову во что бы то ни стало забрать из колхоза своего коня, уже состарившегося, ни на что не годного, и в правлении одно время подумывали так и сделать — отдать ему этого коня, списав его с баланса, потому что другого утешения в старости у дяди Ипата не ожидалось: он поссорился со своей женой тетей Настей и ушел из дому. Его сын Григоре, чем-то таким заведующий в Кишиневе, иной раз в летние месяцы приезжает домой и непременно отыскивает отца в конюшне на холме или в карьере, где он день за днем, даже по воскресеньям, тешет камень, — и вот там Григоре с важным видом вылезает из машины, смотрит на отца в упор, а кончается это всегда взрывом неожиданного хохота.



— Я вижу, ты так и умрешь здесь,— говорит он в перерывах между приступами смеха.

Дядя Ипат, заслышав голос Григоре, ухмыляется в бороду, но глаз на него не подымает — не хочет смотреть. Другой, наверно, гордился бы таким важным сыном, а дядя Ипат лишь отмахивается.

— Глуп и злобен! — говорит он. — Может, и войдет когда-нибудь в разум, а может, и дурнем останется. Такие только перед смертью спохватываются и молят бога, чтобы дал им еще одну жизнь, но поздно, поздно...

После отъезда Магдалины дядя Ипат было запил, и иные даже видели его пьяным в стельку, но вскоре он бросил это дело, сказав:

— Нет толку в пьянстве и не помогает нисколько. Владеешь в свинство, а дальше что? Разве свинье лучше, чем человеку? Нет, говорю вам, не помогает...

— О чем ты думаешь, Филиппский?

Это голос Иона Петровича.

— О коне дяди Ипата.

— И что же ты о нем думаешь?

— Я думаю, можно ли было его не убивать.

— Угу. И к какому выводу ты пришел?

— Ни к какому. Но я спрашиваю себя: для чего понадобилась старику эта кляча?

— Угу,— повторил Профессор.

Но на мой вопрос он не ответил. Только сказал:

— Если твоя голова забита подобными проблемами, твоего отца ждет серьезное разочарование.

— Мой отец совсем не такой, каким его некоторые считают,— возразил я.

— Все мы не такие, какими нас считают,— глобокомысленно заключил Ион Петрович. — Может быть, даже Буфтя.

Но вступать в разговор о Буфте мне не хотелось. Поступки и слова этого человека никогда не вызывали у меня другого желания, кроме как скривить нос от гнусного запаха падали или какого-нибудь хорька, хотя я в жизни не выдывал хорьков и ничего не имею против них как биологического вида. Говорят, хорек — это символ пакостливой трусости, и если хочешь кого-нибудь сильно обидеть, достаточно в лицо назвать его хорьком. Интересно, что Буфтя, заведующий колхозным складом еще со времен Рэчилэ, остался на своем месте и с приходом нового председателя. Енуре будто сказал, встретив его:

— Ты должен всегда быть у меня перед глазами, чтобы я не забывал, до чего доходит мерзость человеческая.

А Буфтя на эти слова будто бы только осклабился, и с той минуты они сразу нашли общий язык, что особенно пригодились обоим, когда Енуре начал строить одновременно два дома — в селе и в Кишиневе. И еще, говорят, Буфтя спросил председателя:

— Вы всегда так делаете?

— Как? — не понял Енуре.

— Строите два дома?

— Нет. До сих пор я строил только по одному дому в каждом колхозе, а потом, когда меня перевели в другое место, я их продавал.

— И все молчали?

Енуре прекрасно понял, куда гнет Буфтя, и ответил холодно:

— Ты нишкни, а то живо вылетишь со склада. Рожденный ползать летать не может, гражданин Буфтя. Рано пташечка запела, как бы кошечка не села...

На что Буфтя ответил в тон:

— Всякая птица от своего язычка погибает...

После этого Енуре расхохотался и повернулся к нему спиной.

Подумать только, Буфтя — родной дядя моей Каролины...

И вот как раз в ту минуту, когда я задумался обо всех этих делах и делишках, Каролина Думитру пнула меня ногой так больно, что я невольно скривился и заглянул под парту убедиться, что каблук ее туфли не насквозь проткнул мою ступню.

— Ты умеешь быть очень нежной,— прошепел я. Она прыснула, потом наклонилась ко мне и шепнула:

— Может, смоемся с физики, а?

Я пожал плечами, но потом представил себе нашего физика Муравья, всегда безупречно одетого и вечно испачканного мелом человека лет сорока, жизнерадостного, суетливого, стаяющего двойки с блаженной улыбкой удачливого игрока, но с той же улыбкой выводящего всем двоечникам обязательные тройки в конце четверти.

Однажды, когда я по привычке загляделся в окно, он сказал мне:

— Вундеркинд, объясни-ка, отчего у тебя такая расстроенная физиономия? Никак влюбился?

— Да.

— Серьезно? Bravo! А в кого, если не секрет?

— В Элизабет Тейлор.

— Ага... Знаешь, тебе бы лучше подошла Магдалина... Я, конечно, имею в виду святую...

— Почему?

— Потому что, насколько я понимаю, ты именно к таким и тянешься. Дядю Ипата давно видел?

— Давно.

— Навести непременно.

— Навешу.

Короче говоря, представив себе Муравья и его насмешливую мину, я решил соблазнить предложением Каролины, о чем и сообщил ей любезным толчком в бок. Мы, конечно, дождались звонка, и я вышел первым. Каролина обещала догнать меня.

Я взмошел по склону холма, уселся на сухую, прошлогоднюю траву и посмотрел на каменный карьер. Я знал, что дядя Ипат там. Его уже много лет считают сумасшедшим, то есть не то чтобы сумасшедшим, тем более что он никому ничего дурного не делает, а как бы маленько тронутым. Подумайте сами: за все годы своего одиночества он почти ни разу ни к кому не обратился, а уж представить себе, что он кого-нибудь о чем-нибудь просит, совершенно невозможно.

И все это началось в тот день, когда Магдалина покинула село. Дядя Ипат спустился в заброшенный карьер и начал очищать от земли и глины громадную каменную глыбу. Поначалу, увидев его с киркой и лопатой, люди решили, что он собрался строить дом, потому что старый уже обветшал, и раз все село перестроилось, почему же дяде Ипату отставать? Они, однако, ошибались: он не только не думал строиться заново, но и бросил то, что имел, и перебрался в бывшую конюшню за селом, туда, где некогда теснились боярские табуны, а потом колхозные кони, которых со временем сменили трактора, так что большая часть помещения опустела и там поселились ласточки и воробьи. Обосновавшись в конюшне, дядя Ипат ничего поправлять не стал, только починил входную дверь и застеклил окна, потом сложил небольшую, но уютную печурку, а побелку и покраску оставил до будущей жизни... Он даже ограду не стал ремонтировать.

Я смотрел вниз, туда, где в поте лица трудился дядя Ипат, и мысленно проклинал Каролину, которая явно водила меня за нос. Она, конечно, и не собиралась прийти на «свидание», как ей нравилось выражаться, потому что встреча, утверждала она, может быть и сугубо деловой, а свидание назначают только влюбленные.

— Разве мы влюбленные? — спросил я однажды.

— Что ты хочешь этим сказать? — вспыхнула она.

— Добре, — сказал я, — пускай будет рандеву. Я другими вещами интересуюсь.

— Какими именно, дорогой мой?

Это «дорогой мой» произносилось обычно протяжно, ироническим, с точки зрения Каролины, тонком, так что я только отмахивался: оставь, дескать, меня в покое, любимая, со мной эти штучки не проходят... На что Каролина надменно прищуривалась и вдруг расплывалась в улыбке (по ее мнению, ослепительной, а по-моему — достойной актрисы провинциального театра). Потом она качала ногой и принималась насвистывать какую-нибудь бойкую мелодию из тех, что так часто звучат по радио. А я от этого, конечно, мрачнел.

Наверно, Муравей застучал ее во дворе школы, и если так, то наша прогулка по холмам и долам в это роскошное весеннее утро срывалась.

Я сидел на вершине холма, на мягкой, еще немного влажной земле, из которой лезли сквозь пожухлую мураву молоденькие травинки, до того зеленые, что даже не верилось, и разглядывал божью коровку, которая так упрямо карабкалась вверх по тонкому стебельку, точно от этого зависела ее жизнь, и я проследил ее путь от начала до конца и перевел взгляд на древний межевой камень, изглоданный ветром и дождями, прокаленный палящим летним солнцем, промороженный зимней стужей, и так, за этим философским занятием, застала меня Каролина. Видимо, открывшееся ей зрелище ничуть не умилило ее, потому что она хмыкнула и сказала скорее утвердительно, чем вопросительно:

— Спит...

Я поднял на нее глаза. Она стояла прямая, как свечка, высокая, длинноволосая и усмехалась. Я снова опустил голову, а Каролина села на землю рядом со мной.

— Не хотелось тебе рассказывать, но... Я слышала, как твой отец говорил по телефону с моим дядей. И знаешь, о чем они толковали? Сегодня вечером будет банкет, уж не знаю, по какому поводу, так твой отец предупреждал дядю, чтобы тот хорошенько подумал, кого приглашать, а кого обойти, а то, мол, как бы невзначай кто-нибудь чужой не затесался. А должны быть только свои...

Я молча выслушал ее, потом спросил:

— И к чему ты это?

— А ни к чему. Меня только удивляет, как некоторые делят людей на своих и чужих. То есть одни — свои, а другие — так, шушера...

Я стиснул зубы.

— Вот скоты!

— Тсс! — осадила меня Каролина. — Я не для того открыла тебе семейный секрет, чтобы ты закатывал истерики. Я просто хотела констатировать: на свете бывают вещи, от которых мерзко становится на душе.

— Черт их знает...

— Ну да. То, чему нас учат в школе, очень мило. Но учиться реальному взгляду на жизнь приходится самим.

— А кто тебе мешает? — обозлился я. — Реалистка! Поучись у дяди и Епуре!

— Что это нынче с тобой? — удивилась Каролина. — К каждому слову цепляешься. Вот рыцарство!

— А, да оставь меня бога ради! Пойдем лучше к дяде Ипату. Иначе мы разругаемся, а мне сегодня неохота ссориться.

— Странно.

— Что?

— Что тебе неохота ссориться. А я было так настроилась...

Мы спустились с холма. Дядя Ипат, как уже сказано, трудился не покладая рук. Время от времени он утирал белой пыльной рукой лоб, покрытый каплями пота, и на лбу у него оставались белые полосы. Ворот его рубахи был распахнут. Он не замечал нас, пока наши тени не легли перед ним на камень.

— Бог в помощь, дядя Ипат! — крикнул я.

Он поднял голову и положил кирку наземь, рядом с топором, теслом и длинным охотничьим ножом. Это были все его инструменты. Потом он выбрался на край карьера, внимательно посмотрел на нас и вдруг засмеялся.

— Тоже пришли убеждать меня, что я не успею закончить работу?

— Мы пришли посмотреть, сколько ее осталось, — дипломатично ответил я.

— А ты хитрец, Владик, хитрец, вроде твоего отца.

— Не бойтесь, я бригадиром не стану.

— Мне-то чего бояться? Да ведь ты и не хочешь быть бригадиром. Не-ет, вы теперь дальше метите, как мой Гриша. И если уж приезжаете в село, так только на персональных машинах. Смотрите на нас и удивляетесь: гос-споди, неужели среди этих мужиков я родился и вырос? Неужели это мой отец? Да от него навозом воняет, свиньей несет!.. Браво, мальчики! Молодцы!

Зачем мы, я и Каролина, пришли сюда? Зачем потревожили трудовой покой старого человека? Разве было у нас что сказать ему? Нет, но все же что-то тянуло нас к нему. Может быть, его уединенная чистая душа, открытая людям, как каза маре — горница — в молдавском доме, а может, сама его жизнь, которую он хотел прожить иначе, не так, как прочие земляки, и прожил-таки, постоянно переступая за тесный круг условий крестьянского существования, включающих труд от восхода до заката, свинцовый сон от заката до восхода, стакан вина и ожесточенные пляски в праздничные дни... Дядя Ипат жил, словно нарочно, как раз наоборот.

Он поднялся с земли и сказал:

— Хватит, перекурил.

И снова спустился в карьер, осторожно цепляясь за выступы и все-таки подняв клуб пыли. Я хотел спросить его в этот день о Магдалине, сестре нашей учительницы литературы; для того, собственно, мы и пришли к нему, но может быть и так, что ноги сами повели нас сюда с той минуты, как мы задумали прогулять урок физики.

Мы молча пошли прочь от карьера. Я бросил окуроч и придавил его каблуком. Каролина закусила губу.

— Что с тобой? — спросил я.

— Не знаю. Каждый раз, когда я вижу дядю Ипата, мне становится грустно, наверно, оттого, что я его не понимаю. Вот и не пьет он, и голова у него на плечах есть, но почему-то в него вечно тычут пальцами, а ему хоть бы что. Поступает как хочет — и точка!

Я пожал плечами. Кто его разберет? Сам дядя Ипат говорил: «Вы, молодые, еще не жили по-на-

стоящему и меряете жизнь книжными буквами. А я вам говорю: книга, даже самая лучшая, мертва. Жизни нужно учиться не у книг, а у деревьев. Есть ли кто на свете благороднее и честнее дерева? Покажите мне такого, я его расцелую... По-вашему, человек должен жить вприкидку, с расчетом: дескать, это сделаю, а то нет, это выскажу, а то обойду. И так всю жизнь, а хватишься — век прошел, и ты ни разу не был самим собой... Представь себе, Владик, что и ты стал кем-нибудь этаким, вроде моего Гриши. Есть у тебя и машина, и дом в городе, и красивая жена, и денег сколько хочешь, все есть... Но я спрошу тебя: зачем Гриша без конца приезжает сюда, домой? Затем, что на душе у него пусто. А чем жив человек? Тем, что есть у него на душе».

Я возразил тогда:

— Наш директор говорит, что человек жив тем, что есть у него в голове.

— А? Глупости это. При хорошей голове тем более нужно иметь доброе сердце. Ведь у вас, у молодых, какая беда? Вы усложняете жизнь. Вы не через дверь выходите из дому, а через трубу. А разве через трубу выходят? Она для дыма. Но вам, ребята, все некогда, вы спешите, вам всегда хочется что-нибудь получить, и чем больше, тем лучше. Ну, тебя, правда, это еще не касается, ты еще сопляк. Но зачем я тебя уламываю, как поп монашку? Чтобы ты уже сейчас задумался. Потому что жизнь очень скоро подхватит и понесет — ахнуть не успеешь, как уже стал ничтожеством. Идешь на работу, приходишь с работы, запираешься в доме, включаешь телевизор, ложишься спать, снова встаешь...

Возвращаясь в школу, я спросил у Каролины:

— Ты что-нибудь поняла?

— Не очень. А ты?

— Я тоже. Мне кажется, он хотел сказать кое-что важное, но важное не столько для нас, сколько для него самого. Ведь он даже не смотрел на нас, и наше непонимание его нисколько не волновало. Да, в общем, так и бывает: разговаривая с кем-нибудь, мы прежде всего говорим с собой.

— Ну, понес... Просто дядя Ипат одинок и стар.

— Он не одинок и, уж во всяком случае, не стар.

— Как?

— Да так. Течение времени не затрагивает его. Если он столько лет трудится над одной каменной глыбой, значит, не может забыть... живет так, словно вся его жизнь вместились в один день или неделю, спрессовались в часы, перенасыщенные событиями...

— Ох, Филиппский, ты бредишь.

Я думаю, однако, что был прав. Я усвоил тогда одну маленькую истину — больше догадывался о ней, чем понимал: нельзя жить в селе, не зная людей, и не только в лицо, но и со всем их прошлым, ибо тень человека не пропадает — она отпечатывается во времени, врежется в него, спереди, сзади, по сторонам в зависимости от того, как падает на человека свет солнца.

Вот почему я начал всюду ходить за Вероникой Эмильвной: мне предстояло расспросить ее обо всем. Узнавая других, обогащаешься и сам, лучше постигаешь себя, а мне в моем возрасте мир представлялся еще необъятным, несказанно глубоким и, разумеется, прекрасным...

В который раз поссорившись с Каролиной Думитру, я свернул к реке. Вода текла тихо, медленно и казалась вечной.

Теперь я могу вспоминать и молчать. Я устала от слов. И неудивительно, потому что в школе я веду язык и литературу, а вы должны понимать, что это значит — преподавать язык и литературу старшеклассникам, которые не слушают тебя и то и дело поглядывают на часы и только и ждут, когда прозвенит звонок и Белая Ворона (ведь придумали для меня прозвище...) наконец-то замолчит.

Я ставлю стул у окна, сажусь и долго смотрю на огромную акацию у ворот. В доме осталось нас двое — уже совсем старенькая мама и я. Магдалина уехала первой, потом Пётра, потом Анишоара... Раньше, до нашего возвращения в село, мы всей семьей жили в Бельцах, на окраине города. Отец работал на кожевенной фабрике, мама шила на дому. Жилось нам нелегко, но, отрывая крохи от своего и наших ртов, мама ухитрялась экономить, чтобы Магдалина могла ходить в десятый класс и была при этом одета не хуже других детей. Мама непременно хотела, чтобы она окончила десятилетку. Отец сперва противился мамину намерению, сказав, что от девочки только хлопоты и женщина во веки веков останется женщиной, пусть даже ее и выучат всем наукам. По правде говоря, он выразился грубее: баба-де так и будет бабой, и не толкуйте мне, что вы еще на что-нибудь способны, кроме как рожать детей и варить голубцы. Он говорил это маме, но мы, все четверо, слышали их спор из нашей комнаты, и я помню, как Магдалина крепко сцепила пальцы и ее лицо покраснело от обиды или стыда. К счастью, мама переупрямила, и Магдалина, аккуратно причесанная и прибранная, продолжала ходить в школу.

Именно тогда отец заболел, и старый «доктор Николае», как звали его слободские дети, отозвал однажды маму в сторонку и прямо сказал ей, что если она дорожит своим мужем и хочет, чтобы он прожил еще хотя бы несколько лет, надо забрать его с кожевенной фабрики и — это было бы лучше всего — перебраться в деревню: там и воздух другой, и фрукты есть, витамины и прочее, и, наконец, сельский труд еще никому не вредил. Прощаясь, доктор Николае добавил:

— Надо, надо... Иначе он долго не протянет, а жалко умирать, когда уже пережили войну и выкарабкались из голода.

С улицы мама пришла белая как мел и повалилась на стул.

— Господи! — сказала она после долгого молчания. — Помоги мне уговорить его!

Но уговорить отца оказалось совсем нетрудно. То ли он слишком плохо себя чувствовал и был готов к любой перемене, лишь бы полегчало, то ли в его заскорузлой, ноющей душе проснулись старые, почти забытые отзвуки деревенского детства, — так или иначе уже на следующий день, когда мы собрались вместе, он окинул нас невеселым взглядом и сказал:

— Мы продадим дом и все остальное и уедем отсюда. Через неделю мы будем уже в селе.

Мама положила руку ему на плечо, и отец посмотрел на нее и улыбнулся, но улыбка не смогла согнать грусти с его смуглого лица. Синие отцовские глаза жили словно отдельно от его обострившихся черт, и когда этот мягкий взгляд встретился

с остановившимся напряженным взглядом Магдалины, отец вздрогнул и затуманился.

— А ты, Магдалина, что думаешь делать?

Магдалина не ответила. Она поднялась, резко отодвинула стул и вышла из комнаты. Отец вздохнул. В эту минуту, к великому нашему удивлению, всегда кроткое лицо мамы посуровело, голос словно мгновенно охрип — мы даже не узнали его, когда она обратилась к отцу.

— Не беспокойся,— сказала она,— Магдалина поедет с нами.

— Магдалина почти взрослая,— заметил отец.— И если она не окончит школу, то будет винить нас.

— С каких пор у детей появилось такое право? — возразила мама и отчетливо повторила: — Магдалина поедет.

— Ладно,— согласился отец.

Мы встали из-за стола. Отец отправился искать покупателей на наш дом и бедную мебель. Мама занялась на кухне посудой. Я и поныне не знаю, что за неизлечимая болезнь была у отца. И мама не может мне объяснить.

— Что-то такое с легкими,— говорит она.— Я в этом не разбираюсь.

Отец был единственным человеком, к которому всегда тянулось мое сердце. Хотя он обычно казался хмурым и неприветливым, душа у него была чистой и добрая, и всякий раз, видя меня в печали, он брал меня за руку, и мы вместе шли к реке, что течет через наше село, и целыми часами сидели на берегу, слушая тихое журчание воды. Редко-редко он ронял какое-нибудь слово.

Поначалу мы ходили на реку вдвоем, но вскоре стали брать с собой Петрю и Анишоару, и даже мама иногда отправлялась с нами послушать, как течет река. Думаю, отец уже понимал, что ему недолго осталось жить, и хотел сполна насладиться красотой земли. Он радостно выходил на работу в поле, встречал каждый новый день, как праздник, и лицо его сияло такой ясностью и добротой, что мама, глядя на него, начинала плакать.

Теперь я могу спокойнее вспоминать светлый лоб отца и еще молодые, но уже поблекшие от слез глаза мамы, жесткие, точно вырубленные из камня лица крестьян, которые, возвращаясь по вечерам с поля, присаживались на завалинку нашего дома покурить, перекинуться словечком и попеть; их песня до сих пор звучит у меня в ушах. Как все это начиналось? Первый шумно появился дядя Ипат, еще с улицы возвещая нам приход гостей, и мама спешила снять с плиты начиненные пшенной кашей голубцы, что сварили мы с Анишоарой, вернувшись из школы, а отец выходил на порог и улыбался во все лицо.

— Привет, Ипат! — говорил отец.

— Привет, Эмил! — отвечал дядя Ипат.

Я до сих пор признательна ему: он первый догадался о состоянии отца и устроил так, что крестьяне приходили к нам, посиживали у нас на завалинке, попивали из одного стакана кисловатое вино, приносимое по очереди каждым из них, потому что своего виноградаря у нас не было, и закусывали голубцами с пшенкой, приготовленными мной и Анишоарой.

Но вернусь к тому хмурому мартовскому утру, когда отец поставил подводу у ворот нашего городского домика и велел всем поторопливаться. Необходимые вещи он отвез в село накануне, те-

перь надо было забрать нас самих. Отец и мама сели на козлы, за их спиной пристроилась Магдалина, кусавшая губы от отчаяния, я взяла на руки кошку, а маленькие Петря и Анишоара прижались ко мне.

Эта поездка казалась нам увлекательным приключением. Только для Магдалины переселение в деревню было настоящим несчастьем: именно в том году ей предстояло получить аттестат зрелости. Она мечтала стать певицей. Не знаю, мне никогда не нравился ее слишком низкий, почти мужской голос, но школьный учитель пения клялся, что ее будущее на сцене оперы. Может быть, мама должна была позволить ей окончить школу и попытаться счастья. В этом случае, даже если бы ее мечта не сбылась, Магдалина не могла бы ни в чем упрекнуть маму и не стала бы чуждаться людей. Но мама сказала: — Речь идет о жизни твоего отца, и тебе должно быть все ясно.

Город остался позади, и вокруг потянулись черные поля с редкими пятнами снега в лощинах. Было начало марта. Первого числа мама прицепила к лацкану отцовского пиджака мэришор¹; а потом и нам подарила по два шелковых шарика — один белый, а другой красный. Отец долго разглядывал скромное украшение у себя на груди и наконец сказал:

— Кровь на снегу.

Мама, вздрогнув, подняла на него глаза, но нашла в себе силы улыбнуться.

Кони шли не спеша, отец время от времени покрикивал на них.

— Богатый будет год,— молвил он, глядя на черную, как смола, землю, щедро пропитанную влагой.

— Да,— поддержала мама,— мы будем работать и заживем хорошо.

— Куда уж лучше! — съязвила Магдалина.

Мама не обернулась. Отец чмокнул и подпернул вожжи. Размытая дорога змеилась между голыми холмами, похожими на шлемы великанов, пригласивших отдохнуть и заснувших навеки. Казалось, холмы дышат. Мы переехали через каменный мост, и отец остановил коней возле колодца.

— Надо немножко размять ноги.

Земля на обочине уже поросла ярко-зеленой низкой травой, и мы смогли погулять, а вернее — потоптаться, не пачкая нашу худую обувь. Отец вытащил из колодца бадью воды, дал попить нам и напоил коней.

— Отныне,— сказала вдруг Магдалина,— мы будем жить с деревьями, травами и жуками.

Она обращалась к нам, младшим, и Анишоару восторженно захлопала в ладоши, не вникнув толком в слова старшей сестры. Я и сама не очень поняла, что означает выпсренная фраза Магдалины. Смысл ее слов был слишком глубок для моего детского сознания.

Я подошла к дереву и погладила его шершавую кору. Это был старый орех; казалось, он родился одновременно с этой землей, изборожденной морщинами.

— Если поглядеть с большой высоты,— сказал отец,— наша земля, наверно, похожа на лицо старого сапожника Тоадера.

Я не удержалась от смеха. Так и представился мне старый чеботарь Тоадер с огромным лицом, покрытым холмами и оврагами, садами и виноградниками, лугами и нивами, кукурузными и подсолну-

¹ Мэришоры (от названия месяца марта) дарят в Молдавии близким в день прихода весны. С этим обычаем связано множество народных легенд.

ховыми полями... Мне было странно произносить: «наша земля» — я привыкла говорить: «наш город». А отец имел в виду край, где нас ждала жизнь и работа, и потому он был «наш», и можно было назвать его «нашей Молдавией» — землей, где мы родились и в которую все уйдем когда-нибудь, совершив свою долю добрых и злых дел.

— Ну что, отдохнули? — спросил отец.

Не дожидаясь ответа, он поднялся на козлы, поддал руку маме, помог взобраться нам, и мы снова устроились кому как было удобно. Кони вывернули на дорогу, причем отец внимательно следил, чтобы колеса нашей подводки катились по колею, оставленной другими подводами.

— С богом, — сказала мама.

Я поднесла к лицу ладони — они еще хранили запахи ореха — и, очарованная этим неповторимым запахом, стала смотреть туда, где небо сливалось с землей. Весенний воздух проникал глубоко в мои легкие, и я улыбалась своим мыслям, совсем забыв, из-за чего, собственно, мы переезжаем в деревню.

Мама однажды сказала:

— Были б у нас деньги, мы бы отправили отца на курорт. Но где взять такую кучу денег? И даже если я их добуду, Эмиль не согласится оставить нас.

И все-таки она не отчаивалась. Ничто как будто не могло вывести ее из равновесия. Когда доктор Николае сказал ей, что ради здоровья отца необходимо уехать из города, она не колебалась ни минуты. Ее глаза излучали мужество и покой, и рядом с ней мы, дети, чувствовали себя увереннее. Отец был нашим убежищем, но при маме это убежище становилось светлым и уютным.

После разговора с доктором мама стала смотреть на отца, как на своего ребенка. Она, может быть, инстинктивно путала его с нами. И поразительно, что отец пошел на это и даже стал чаще с нами играть, смеясь весело и беззаботно. Когда-то именно он задавал тон в семье, а мама должна была подчиняться. Теперь роли как будто переменялись. Но мама не была бы собой, если б вздумала командовать. Она вела дом словно из тени, изредка давая отцу советы, с которыми он всегда соглашался. И это было тем более важно, что отец с трудом привыкал к своему новому положению. Хотя он родился в этом селе и знал здесь почти всех, годы, проведенные в городе, где он делал совсем другую, фабричную работу, отучили его от тяпки, от изнурительного труда в зной и холод, от деревенской грязи по колено, от подъема вместе с солнцем и даже раньше, от еды на скорую руку, на ходу, лишь бы не опоздать.

Магдалина однажды сказала:

— Тебе не надо было уезжать из деревни. Копался бы в земле, чего еще?

Отец только что вернулся с поля, он тяжело работал целый день и, может быть, поэтому не сдержался и занес кулак над Магдалиной. Мы оцепенели от страха. Но моя сестра спокойно ждала и, кажется, даже улыбалась. Не знаю, чем бы все кончилось, если бы мама не схватила отца за руку и не увела его в другую комнату, откуда долго еще доносился их невнятный разговор. Наконец мама появилась одна, как всегда спокойная и ясная.

— Давайте ложиться, — только и сказала она.

Мы с Петрей и Анишоарой полезли на печь. Мама укрыла нас, перекрестила и, пожелав нам спокойной ночи, ушла к отцу. Только Магдалина повернулась и хлопнула дверью. Я знала, что она чуть

ли не до зари будет бродить по пустым сельским улицам, а то и уйдет в поля.

В село мы добрались полумертвые от усталости. Отец завел подводку в ворота большого крестьянского двора, где стоял дом, ничем особенным не отличавшийся от других здешних строений. Мы поодиночке спустились на землю, поддерживаемые его руками, из которых еще не ушла сила, и похлопали по вязкой почве к дому. В сенях нам в ноздри ударил запах пустого, запущенного жилья. Воздух был сырой, стены заплесневелые.

В тот день я впервые увидела дядю Ипата. Мы едва разобрались с вещами, отец нашел в сенях ржавый топорик, вырубил из ограды несколько досок, наколот их, и мама развела огонь в печи, тут же поставив на плиту десяток картофелин. Отец купил в городе мешок картошки, чтоб было чем кормиться на первое время. Огонь играл весело, от него поплыло по комнате приятное тепло. Мы подсади поближе к печи, потирая озябшие руки и плечи, и в это время в дверь негромко постучали. Потом мы услышали тяжелые мужские шаги, и сильный, но мягкий голос позвал отца:

— Эмиль, ты уже дома?

При звуках этого голоса лицо отца оживилось. Он быстро поднялся на ноги.

— Видишь, — сказал он маме, — мы здесь не чужие. Это Ипат пришел.

Отец широко распахнул дверь и крепко обнялся с вошедшим человеком.

— Ну, ну, — сказал гость тем же сильным голосом, — разве так делается? Что же ты не позвал меня, может, и я сгодился бы на что-нибудь?

— Не хотелось беспокоить, — радостно отвечал отец. — Я думал сам справиться. Рэчилэ дал подводку... Да что ж ты стоишь? Садись на лавку.

Но гость, прежде чем сесть, вынул из мешка и поставил на стол кувшин, обвязанный чистой тряпкой, извлек несколько лепешек и кусок овечьей брынзы. Потом как-то растерянно улыбнулся и, вспомнив, что здесь его никто не знает, подошел к маме, вытянув длинную руку:

— Меня зовут Ипат.

Потом он повернулся к Магдалине, но та едва процедила сквозь зубы:

— Элизабет, королева английская.

— Не слушай ее, — вмешался отец, — девочку зовут Магдалиной.

— Елизавета — тоже хорошее имя, — просто сказал гость.

Я до сих пор помню тепло его тяжелой руки на моем плече.

— Да у тебя и парень есть, — удивился дядя Ипат, дойдя до Петри.

— Да, Петр, — ответил отец, и все мы невольно заулыбались: с такой гордостью он произнес имя сына.

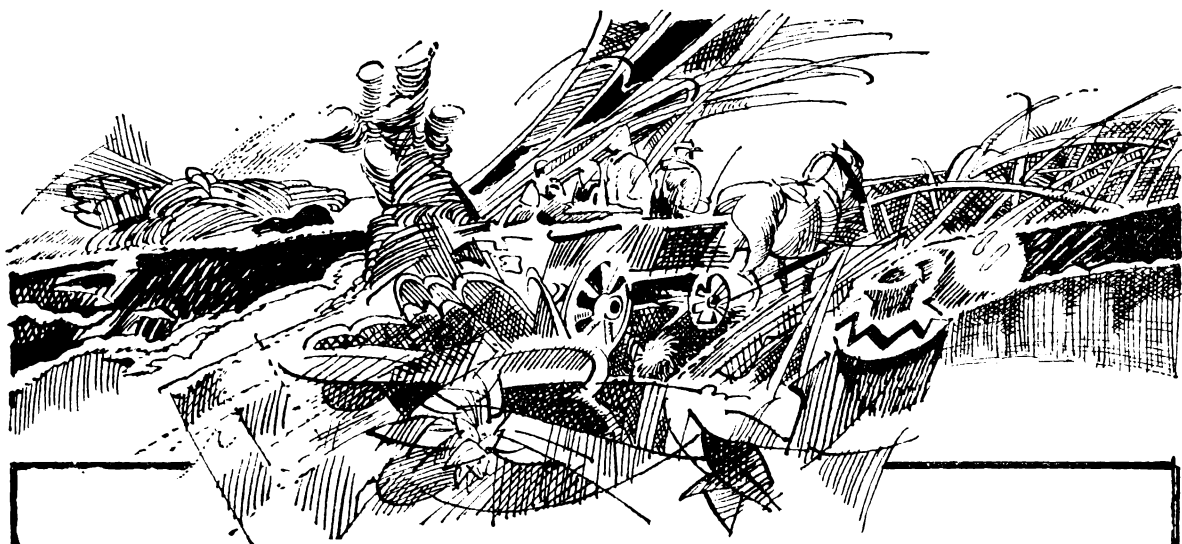
Позже, когда я подросла, мама не раз говорила мне:

— Мужчины — как дети, даже хуже детей, и об этом нельзя забывать.

Действительно, в ту минуту отец был похож на мальчишку. Он так гордился тем, что у него есть сын, будто и впрямь совершил какой-то неслыханный подвиг.

Дядя Ипат уселся на лавку и, немного помолчав, сказал отцу, поглядывая, однако, на маму:

— Ну что? Как нам поступить с этим кувшином? Может, выпьем, а? Ведь как давно не видались... Знаешь, дед Илларион, уходя в мир праведников,



все время звал тебя, без конца спрашивал, что с тобой, как ты живешь там, среди чужих. Я хотел вызвать тебя на похороны, но не знал адреса. Весь дом обыскал, и хоть бы один конверт нашелся. Но вот что напоследок сказал дед Илларион: когда, говорит, Эмиль состарится и соберется помирать, пусть придет и умрет здесь, в этом доме, и пусть его похоронят рядом со мной, потому что других сыновей у меня нет...

Отец так и побелел, а мама встала со стула и начала торопливо резать брынзу на тонкие ломтики. Все мы сжались, и только дядя Ипат, ничего не понимая, оглядывал нас удивленными глазами. Но вот и по его лицу пробежала тень, и он тихо опустил голову. Отец насильно улыбнулся, ушел в сени и, повозившись там, принес три стакана.

Дядя Ипат все с тем же огорченным видом разлил вино по стаканам. Мама снова села за стол. Такими они и помнятся мне все трое, точно сошедшие с картины: отец, худой и бледный, мама, спокойная и красивая, как в сказке, и дядя Ипат, мощный и задумчивый.

— За ваше здоровье,— сказал он маме и отцу и обнял взглядом их обоих.

— Нет,— ответил отец, вставая,— за упокой души отца моего Иллариона.

Они выпили. Мама дала нам по половине лепешки и по ломтику брынзы. Мы были голодны и ели жадно. Магдалина отказалась от своей доли.

На следующий день отец пошел в правление колхоза и попросил дать ему работу. Председателем был тогда Рэчилз, которого отец знал с детства. Вот почему, собираясь в правление, натягивая сапоги и надевая пальто, он держался приподнято и уверенно.

— Как вы считаете,— спросил он,— куда мне пристать?

— Миля,— ответила мама,— просись в сторожа. В полевой бригаде ты не потянешь. Столько лет прошло... Ты будешь отставать.

— Это почему? — рассердился отец.— Я не хуже других!

Еще накануне, после того как дядя Ипат ушел, отец сказал, что чувствует себя так, точно никогда не уезжал отсюда и не было между его розовым детством и нынешней немощью долгих мучительных лет городской жизни, где он глотал вонючий воздух, и теперь ему жаль, что он был таким глупцом и оставил родное село... Потом, словно спохватившись, отец широко улыбнулся и сказал, глядя на маму:

— Но если б я не уехал отсюда, я бы не встретил тебя...

Я тогда была еще мала и понимала только, что после разговора доктора Николае с мамой и она и отец переменялись, стали другими; я уже не слышала, чтобы они препирались или ссорились, и, если, скажем, отец предлагал что-нибудь, мама после короткого размышления либо подтверждала свое согласие кивком, либо, ласково улыбнувшись, говорила:

— Давай все же еще подумаем.

И в конце концов они приходили к одному. Мне казалось, что оба готовы начать жизнь заново, или, лучше сказать, общим чудилось, что они снова молоды, и только присутствие нас, детей, напоминало им, что время все-таки необратимо.

Когда отец ушел в правление, мама разбудила Магдалину.

— Проснись, дочка,— сказала она своим обычным мягким голосом.

Магдалина спустила ноги с кровати на глиняный пол и недовольно заворчала, потому что пол пока-

зался ей холодным. Все так же ворча, в одной сорочке, она прошлапала в сени, набросив по пути на плечи мамину стеганку, и вскоре я услышала плеск воды и уже привычные жалобы: дескать, она по горло сыта этой собачьей жизнью.

Теперь, когда все давно миновало, я начинаю понимать, в чем главная мамина ошибка: это она внушила Магдалине, что если та будет слушаться и хорошо учиться, то обязательно вырвется из нищеты и невежества.

— Что мы знаем? — вслух спрашивала себя мама.— Мы не знаем ничего. Трудимся, едим, спим, и так каждый день. Но поверь, Магдалина, есть другая жизнь, полная смысла, имеющая цель, за которую надо ежечасно бороться.

— А что потом? — спрашивала Магдалина.

Мама только вздыхала, не зная, что ответить. Собственно, у нее самой не было ясного представления о том, что такое цель жизни и как надо за нее бороться, но она чувствовала главное: эта цель величественнее и чище, чем идеалы благополучия и сытости. Но что она могла посоветовать Магдалине, когда сама всю жизнь билась именно из-за куска хлеба?

Тем не менее Магдалина свыклась с мыслью, что рано или поздно она уйдет от нас и проживет иначе. Ради этого она и училась так ревностно, день и ночь, как одержимая. У себя в школе она была первой ученицей, и ей казалось, что час счастливой перемены близок, да вот сорвалось. Болезнь отца разрушила все ее планы. Мама прекрасно видела, как тяжело Магдалине, отец тоже: потому-то они и были так снисходительны к ней. Но вряд ли мама понимала, что душа Магдалины просит безбрежности, слияния со всем миром, может быть, представляемым слишком отвлеченно. Зато мама хорошо знала себя и знала, что люди в конечном счете не так уж сильно отличаются друг от друга, и если она чувствовала порой потребность выйти среди ночи из дому, чтобы полюбоваться звездным небом, прогоняющим самые горестные мысли, то, значит, и Магдалина не могла вечно жить, закрывшись в себе самой, а если она все же замкнулась, яростно отвергая любую попытку достучаться до ее души, это, стало быть, происходило потому, что она готовилась к иной жизни и ее сопротивление не могло продолжаться бесконечно.

Магдалине в ту пору исполнилось шестнадцать лет, но она выглядела старше.

Бывало, отец смотрел на нее долгим взглядом и потом говорил маме:

— Слишком хороша.

— Так господь захотел, Миля. Что ж теперь делать?

— Не завидую я тому, кто на ней женится.

— Прикуси язык...

Часа через два отец вернулся из правления. Мы как раз доедали картошку, оставшуюся от вчерашнего ужина, и она казалась нам необычайно вкусной, потому что мы выголоднели за ночь. Магдалина ела вместе с нами, но аппетита у нее не было, она глотала точно через силу. Мама спокойно поглядывала на нее.

— Ты и так худая, Магдалина,— говорила мама.— Ешь досыта.

— Толстеть не хочу,— угрюмо отвечала сестра.

В эту минуту раздался шаг отца, и мама все так же спокойно перевела взгляд на дверь. Отец

снял свое ветхое пальто, повесил его на гвоздь и сел.

— Говорил с председателем, — сказал он. — Есть любая работа на выбор, и я решил пойти в полевую бригаду. По дороге встретил Ипата. Он посоветовал проситься в ту бригаду, где сам работает.

— Ты мог бы попросить Рэчилэ, чтобы тебя назначили сторожем в саду, — заметила мама.

— Знаешь, — ответил отец, — я бы не смог целыми ночами бродить в одиночку...

— Есть хочешь?

Помыв руки в сенях над ведром, отец уселся за стол, и я стала смотреть, как ловко он очищает вареные картофелины от кожицы и аккуратно, не просыпая ни крошки, жует. Поев, он улыбнулся.

— Давно у меня не было такого аппетита!

Потом он снова оделся и стал наводить порядок во дворе. Двор, как уже сказано, был большой, окруженный дощатой оградой, местами подгнившей, но, в общем, еще прочной. Отец и мама начали строить планы: где посадить картошку, где кукурузу, где фасоль. Оставили немного земли под зелень.

— Если будет удачный год, — сказала мама, — не придется ничего покупать на рынке.

Действительно, земля вокруг дома была очень хороша — черная, жирная, как выражался дядя Ипат, ее хотелось намазать на хлеб и съесть. У нас в селе тогда еще почти не было в заводе огорода, зелень покупали на рынке. Мама, однако, обладала практичностью горожанки и не понимала, почему должна платить наличными за помидоры и баклажаны, если у нее достаточно земли, чтобы самой выращивать их, и к тому же колодец под боком.

Я с нежностью вспоминаю эту первую пору нашей жизни в деревне. Все, что происходило со мной и вокруг меня, казалось удивительным и необыкновенно интересным. По утрам меня будили солнечные лучи, пробивавшиеся в чисто вымытое окно. Мигмом соскочив с печки, я вылетала в сени и, ополоснув лицо ледяной водой, искала, чем бы заняться. Воздух, еще прохладный и чистый, как хрусталь, обжигал мне грудь, а царившая вокруг тишина просто оглушала меня, так что я целый день бродила как ошалелая. Не слышно было на улице грубой ругани, к которой я успела привыкнуть в городе, никто не запрещал мне выходить со двора и даже, если мне хотелось, шататься по всему селу, из конца в конец.

Отец вставал затемно и уходил в поле. Мы купили необходимые в хозяйстве инструменты: вилы, три тяпки и лопату, топор, двуручную пилу, ножовку, рубанок, буров, молоток и прочее.

Мы с мамой и Магдалиной обычно оставались дома и вскапывали огород. Работа эта оказалась не такой легкой, как можно было думать сначала: землю давно, несколько лет кряду, никто не обрабатывал, и она была плотная, прибитая, к тому же дождями нанесло немало камней, и, кончив копать, мы еще долго выбирали их с грядок. Когда и эта работа была сделана, мама обвела пустой двор глазами и сказала:

— Чего-то не хватает. Думаю, деревьев у забора.

Вечером она посоветовалась с отцом, и он согласился с ней. Дядя Ипат выкопал в своем саду несколько маленьких побегов черешни, вишни и сливы — тех, что вырастают из случайно брошенной косточки. Я сама потом видела, как это бывает: мы бросали косточки в кукурузу или картошку,

а на следующую весну, словно из ничего, появлялись на свет хрупкие ростки будущих деревьев.

Дядя Ипат не только подарил нам саженцы, но и пришел помочь отцу управиться с ними. Стоял теплый весенний вечер, подсыхали первые тропинки, и люди, проходившие по ним, сворачивали к нашей ограде, чтобы перемолвиться с отцом словом-другим, и так постепенно сошлось довольно много народу, — я же в это время вышла вылить помой, — и все курили и спорили между собой и наперебой давали отцу и дяде Ипату советы, как и в каком порядке лучше разместить саженцы. Я отнесла пустое ведро в сени и снова вышла на двор посмотреть и послушать. Отец и дядя Ипат трудились, не разгибаясь, а остальные из всех сил старались утопить их в папиросном дыму, который, однако, быстро восходил вверх и таял в синем воздухе.

— Чем болтать, — сказал вдруг дядя Ипат, — принесли бы ведро вина кто поближе. Глядите, какая погода хорошая.

Мужчины сразу оживились, точно только и ждали, чтобы кто-нибудь подбросил им эту мысль, и один из них, самый молодой, отделился от группы.

— Смотри, жена увидит! — крикнул ему вдогонку дядя Ипат.

Парень повернул голову.

— Она к куме умотала, ее дома на привязи не удержишь.

Пока он бегал за вином, отец и дядя Ипат закончили дело. Саженцы красиво выстроились по прямой линии вдоль ограды.

— Вот так хорошо, — сказал дядя Ипат. — Теперь и по стаканчику можно принять.

Лишь много лет спустя я поняла, что предложение дяди Ипата не было случайным и что, отсоветовав отцу идти в сторожа, он не зря пригласил его в бригаду. На миру, как говорится, и смерть красна. Дядя Ипат понимал, что лучше отцу трудиться среди людей, чем оставаться наедине со своими тяжелыми думами. И когда он подучил мужиков принести вина, то это тоже было сделано ради отца, чтобы он чувствовал себя живущим общей жизнью.

С того вечера и повелось у наших соседей примерно раз в неделю, по субботам, собираться на завалинке нашего дома, чтобы выпить стакан вина и негромко попеть старые песни. У отца был от природы красивый голос, и он пел вместе со всеми, а когда около полуночи народ расходился по домам, отец возвращался в комнату возбужденный, покрасневший от удовольствия, и видно было, что ему очень хочется жить.

С чем сравнить эти весенние дни, первые дни нашей жизни в селе? Может быть, с лепестками синего василька? Ведь все рассветы и сумерки казались мне тогда синими. Всё вокруг — наш старый крестьянский дом, дощатый забор, изъеденный червем и подгнивший у основания, птицы и даже жуки, что вились и летали в воздухе, село, где тишину нарушали днем перекикавшиеся по-над оградой женщины, а ночью — потревоженные во сне собаки, которым пригрезился вор или волк, и петьухи, сообщавшие хозяевам, что до зари есть еще время поспать, а там надо будет быстро подняться и, бесшумно захватив ломоть хлеба, кусок брынзы и луковицу и взяв из-под навеса тяпку, идти на работу в поле, — все вокруг было озарено странным светом, таким нежным и умиротворяющим, что много лет спустя, уже студенткой в Кинешеве, когда, случалось, на душе скребли кошки, я вспоминала те дни и закрывала глаза, и этот свет обволакивал меня и успокаивал: я знала, что

есть еще в мире место, куда я в любую минуту могу вернуться так же просто, как крестьянин возвращается с поля, усталый, запыленный, и никто не потребует у меня объяснений, потому что незачем крестьянам спрашивать, где я была и что делала,—они знают, я была в поле, работала

Я вспоминаю ту весну, набухшие ручьи, бегущие по селу, налившиеся почки фруктовых деревьев и тот неповторимый сладостный трепет, перед которым я всегда склоняю голову, как дервиш склоняется перед черным камнем Каабы,—трепет зацветающих садов.

Я начала тогда понимать великие радости и горести крестьян. Весна наступала на село во всеоружии благоуханных песен жаворонка, тонущих в синеве неба. Помню старинную игру «медок», слышу веселые крики молодежи, вышедшей на майдан уже в легкой одежде:

**Где же у стакана дно!
Знать, не выпито вино!**

Пары менялись партнерами, и, господи, сколько мудрости, скромности и чистоты трепет в этой прелестной игре, словно нарочно изобретенной для того, чтобы руки парней смыкались с руками девушек в долгом пожатии...

Один день был похож на другой, и жизнь нашей семьи текла тихо и спокойно, в одном русле с жизнью всего села. Может быть, думаю я сейчас, и сама эта весна ничем особенным не отличалась от других весен, но нам, приехавшим из пыльного города, казалось тогда, что мы вступили в другой мир. И каждый из нас отнесся к нему по-своему.

Отцу стало гораздо лучше. Бывали дни, когда его лицо просто сияло, и все мы радовались его выздоровлению, и только мамыны глаза день ото дня делались все печальнее. Она чувствовала своим вещим сердцем то, чего мы, дети, предугадать не могли. А может быть, и наверняка знала, что улучшение обманчиво.

Однажды утром Магдалина проснулась раньше обычного и разбудила нас, младших. Мы не выпались и капризничали, но она помогла нам слезть с печки и сама одела Петрю и Анишоару. После того как мы наскоро умылись, Магдалина усадила нас за стол и покормила, запретив громко разговаривать: отец и мама еще спали в своей комнате. Потом она вывела нас на улицу и сказала:

— А сейчас мы все пойдем погулять.

Я теперь не помню точно, но, кажется, это было уже в апреле. Впрочем, весна в том году пришла очень рано.

Мы вышли на дорогу и пустились быстрым шагом по кривым улочкам села. Начинался воскресный день: кто спешил на базар, кто уже возвращался. На самом деле, конечно, это не был базар в полном смысле слова, а так, небольшой торжок на пустыре, где собирались люди из нашего и соседних сел с разным небогатым товаром — коровенками, овцами, кроличими шкурками, дрожжами, купленными у спекулянтов, и спекулянтской же синькой, ситцевыми платками, ношеной одеждой, зеленью, рассадой и даже тлячками и лопатами, выкованными расторопной рукой кузнеца-цыгана.

По дороге шагал пестрый люд, и мы со всеми здоровались, и мужчины и женщины отвечали нам солидно, не торопясь, как взрослым. Мне сперва было трудно свыкнуться с деревенским обычаем

приветствовать каждого встречного, но вскоре это стало для меня само собой разумеющимся делом.

Выйдя за село, мы увидели поле, разделенное на участки; одни уже вовсю зеленели, другие пока были черными: брошенные в землю семена еще не выпустили на поверхность зеленых ростков. Порывами налетал прохладный ветер. Магдалина шагала впереди, а мы поспевали за ней, стараясь идти след в след, как индейцы. Я видела ее узкую спину и прямые, блестящие, словно влажные от росы волосы, метавшиеся по смуглым плечам. Мы шли молча. Я думала о том, как хороша весенняя земля, и с наслаждением вдыхала запах молодой травы. По обе стороны дороги покачивались под ветром деревца, посаженные года два-три назад; у них еще не вытвердилась настоящая кора, а была такая тонкая бледно-зеленая кожица, что я не удержалась и погладила будущую вишенку, уронившую на меня несколько розовых лепестков. Видимо, я задержалась около нее дольше, чем думала, потому что услышала вдруг голос Магдалины:

— Догоняй, Вероника!

Я поспешила присоединиться к ней: боялась, что она заговорит со мной сурово, как обычно, но то, что она сказала, превзошло все мои ожидания.

— Эх, кисейная барышня! — сказала она. — Можешь быть уверена, из тебя не выйдет ничего путного.

Я молча опустила голову. Мне хотелось плакать. Магдалина всегда находила для меня самые обидные слова.

— И нечего хныкать, — продолжала она, — говорю для твоей же пользы. С твоими представлениями о жизни ты сломаешь шею на первой же колдобине. А если колдобины поблизости не будет, так обязательно найдется кто-нибудь, кто поставит тебе подножку.

Я разозлилась:

— Нечего поучать меня, я сама знаю, что делать. Минут через пять мы приблизились к подножию Циглэу, и так как все порядком устали, особенно Петря и Анишоара, то и растянулись, недолго думая, на прогретой солнцем земле. Темно-пепельная тень лежала на глинистых окрестных холмах, но трава и смутно зеленеющие рощи придавали им оттенки другого, неопределенного цвета, и дымчатые краски, казалось, переливались одна в другую. Может быть, солнце, бывшее нам в глаза, не позволяло разглядеть подлинный цвет земли, но я, глядя вдаль, опять размечталась. Думаю, что и нынешняя моя склонность к одиночеству и грезам объясняется тогдашним образом жизни — у меня не было друзей и подруг. Петря и Анишоара были еще слишком малы, Магдалина с высоты своих лет презирала меня, а отец и мама словно замкнулись в своем прощании друг с другом, да и неловко мне было бы делиться с ними своими незрелыми мыслями. Среди одноклассниц я еще не нашла никого, кому мне хотелось бы открыть душу. Вот почему я проводила свободное время за книгой или в мечтах, обдумывая чистое, виденное и слышанное. А тогда я, конечно, воображала себе всякую чепуху: мне мерещились турецкие сокровища, зарытые в глубине курганов...

Магдалина между тем вынула из взятого с собой школьного портфеля чистое полотенце, расстелила на земле и выложила на него большой кусок мамалыги и несколько лукович.

— Налетайте, — сказала она.

Мы усадились вокруг полотенца, и Магдалина разделила между нами мамалыгу и лук.

Все-таки непонятно, чего ради она потащила нас с собой на эту прогулку. Я, например, всегда меч-

тала взойти на вершину Циглезу, но не могла ведь Магдалина читать мои мысли.

Теперь, в эту минуту, когда я сижу и смотрю в окно, и мне уже столько лет, и я стала учительницей языка и литературы, и мне кажется, что я могу проанализировать, если не глубоко, то хотя бы тщательно, прожитые годы, глаза моей памяти пытаются шаг за шагом проследить развитие минувших событий. Иногда у меня появляется ощущение, что я сижу в кинозале единственной зрительницей, но нет, я не только зрительница, но и киномеханик и могу остановить на экране любой кадр, который мне понравится, и смотреть на него, сколько захочу. Но я не только зрительница и механик — я еще и артистка, исполнительница одной из ролей, пусть даже эпизодической, однако вся картина в целом согрета моей душой, которая, как я думаю, с тех времен почти совсем не изменилась...

Вот она, Магдалина, поднявшаяся в одиночку на вершину Циглезу и замершая там, в высоте, едва переводя дух, с волосами, развевающимися на ветру, в своем застиранном голубеньком платье, босая, откинувшая голову в невыразимо радостном хохоте и что-то кричащая нам сверху. Не осмелившись подняться вместе с ней, я смотрела снизу и безумно завидовала и знала, что никогда не буду такой красивой, как она.

Мы все на нее смотрели. А шестнадцатилетняя Магдалина, тонкая и легкая, как пар над полынью, уже бежала к нам, напевая, легко перескакивая с камня на камень, но до нее было еще далеко, и мы не могли расслышать ни слов песни, ни шороха и стука осыпающихся камней.

— По-моему, нам пора возвращаться, — сказала она, немного полежав на траве. — А ты не сердись, Вероника, ты еще мала. Ты же и сама не решилась подняться со мной. Вот скоро вырастешь, а меня здесь уже не будет, тогда приходи и забирайся на вершину, сколько вздумается.

— А село оттуда видать? — полюбопытствовал Петря.

— Оттуда много видно, — ответила Магдалина, — только каждый из вас должен подняться в одиночку, и тогда вы поймете, что мир гораздо шире, чем кажется здесь, внизу.

Мы вернулись домой той же дорогой и в том же порядке: Магдалина впереди, а мы за ней в затылок друг другу. Говорить было трудно: порывистый ветер относил в сторону обрывки фраз, и если мы все же сильно захотели бы обменяться какими-нибудь словами, нам пришлось бы до боли напрягать голос.

Магдалина оставалась такой же замкнутой, неразговорчивой; она записалась в сельскую библиотеку и все свободное время читала, лежа на кровати или усевшись на завалинке, под солнцем. А свободного времени у нее было много. Я до сих пор не понимаю, почему мама почти не загружала ее работой по дому. Впрочем, в мае Магдалина устроилась пионервожатой.

Надо сказать, да я уже и говорила раньше, что у нее появилась странная привычка: она целыми ночами бродила по полям. Наш дом находился почти на краю села, прямо за оградой начинался выгон, за ним тянулось кукурузное поле, потом подсолнухи или сахарная свекла, так что выйти «в поля», в сущности, было проще простого. Обычно она уходила из дому прежде, чем отец возвращался с работы, исчезала незаметно, так что никто не мог остановить ее или хотя бы задержать. И когда

мама посылала меня искать сестру, я никогда не находила ее.

Отец после ужина усаживался на скамеечку с газетой в руках и ждал Магдалину. Чаще всего это кончалось ничем. Не слышались ее легкие шаги во дворе или в сенях, ее рука не касалась щеколды, и вечно отрешенное, задумчивое лицо так и не появлялось в дверном проеме. Отец глубоко вздыхал, поднимался и шел спать.

Мама говорила:

— Магдалина, негоже девушке бродить одной целыми ночами бог знает где.

Но она пожимала плечами и отмалчивалась.

Отец никогда не упрекал ее, только пристально смотрел своими синими глазами. Однако Магдалина словно не замечала этого.

Помню, однажды утром она вернулась вся измученная, и в ее опустошенных глазах было столько боли, что мы с Петрей и Анишоарой невольно подались в сторону, давая ей дорогу. Она казалась выбившейся из сил, черты ее лица, и без того жесткие, стали еще суровей. Она села за стол и оперлась подбородком на ладони. Платье ее промокло, в волосах запутались травинки. Мама, увидев ее, опустила на стул и задрожала.

— Магдалина, доченька, что с тобой? — спросила она.

— А что со мной может быть?

— Да, но в таком виде...

Магдалина взорвалась.

— Почему вы со мной не посчитались? — закричала она. — Я для вас все равно что не существую! Или думаете, я овечка вроде Вероники, которая только и умеет, что блеять? Зачем вы привезли меня сюда, в это грязное село? Неужели всю жизнь пропадать здесь? Или прикажете мне идти за мужика и наплодить с ним полный дом детей? Кем же я стану тогда? Его тенью? Подстилкой?.. Вы этого хотите? По-вашему, у меня нет прав на себя?!

— Но, Магдалина... — Мама попыталась остановить ее.

— Могли бы оставить меня в Бельцах, дать хотя бы окончить школу! Я бы уж продержалась три месяца.

— Одна... в городе?

— Вы что, дурочкой меня считаете?..

Я сижу у окна, гляжу на улицу и жду, когда начнется дождь.

Я сгруппировалась, признавшись своим ученикам, что мне нравится сидеть у открытого окна и ждать дождя. Каролина Думитру, услышав это, приснула в кулак и стала что-то шептать на ухо своему другу Филипскому. Я заставила ее встать, и она выпалила без заминки:

— Я сказала Владу, что вы влюблены и притом самым банальным образом.

— Что значит быть влюбленной самым банальным образом?

— Не знаю, как объяснить, — ответила Каролина, — но в большинстве любовных романов, которые мы с Владом читали, любовь почти всегда сопровождается дождем. И в фильмах тоже.

Я подняла Влада.

— Ты тоже так считаешь?

— Да, но... я хочу сказать, что если вам нравится наслаждаться дождем, сидя в теплой комнате, это значит, что вы уже пережили любовное разочарование... понимаете? В романах и кинокартинах влюбленные обычно берутся за руки и бегут вдаль под дождем...

— А если я не влюблена, то мне уже и нельзя полюбоваться дождем?

— Тогда вы смотрите на него с точки зрения простой крестьянки.

— А разве я не крестьянка? Разве я не провела детство здесь, в селе?

— Это еще не значит быть крестьянкой. Вам нравятся у нас, потому что здесь тихо и... вы, Вероника Эмильевна, романтическая натура.

— А вы не романтики?

— Нет, и мы не можем быть романтиками. Нам совсем не нравится осенью и весной месить грязь, да и в поле ишачить под полуденным солнцем — удовольствие ниже среднего.

— Чего же вы хотели бы?

— Как минимум — вырваться отсюда.

Прозвенел звонок, и все заторопилось из класса. О ком я думала? О моих учениках Владе Филиппском и Каролине Думитру, уверенных, что их ждет блестящее будущее. Каролина, та прямо метит в актрисы. Кстати, почему именно в актрисы?

— Потому что красивая, — отвечает вместо нее Влад. — Но это, конечно, глупо. Тоже счастье — стать комедианткой! Что такое актриса? Безвольное оружие в руках режиссера. Я ей тысячу раз говорил, но она не понимает...

Я жду дождя и уверена, что он придет. Вот так, под ливнем осыпающегося вишневого цвета, бродила ночами Магдалина. Одна. А что говорили люди? Люди говорили, что она бродит ночами одна под ливнем вишневого цвета. Кому еще нравится любоваться опадающим цветом вишни?

Ответ Каролины Думитру:

— Цветение вишни часто созерцает ученик Влад Филиппский. Вывод отсюда следующий: Филиппский сентиментален и не рационален, хотя хочет казаться и должен быть именно рациональным. Ясно и другое: Филиппский не знает, чего хочет. Я не верю, что Влад мечтает стать физиком. На это у меня есть свои основания: я знаю, что он пишет очень плохие стихи.

Магдалина день ото дня становилась все более задержанной. Ей не нравилась ее работа. Она грезила об одиночестве... Была ли она одинока среди отцветающих вишен?

Влад Филиппский:

— Я не верю, что человек одинок. Идея одиночества возникла вместе с первыми городами. А здесь, в деревне, человек не может быть одиноким. Вот почему вы вернулись в наше село. Вы боялись одиночества. Но вы не настоящая крестьянка, следовательно...

Я сказала:

— Мне не хочется, чтобы вы меня обсуждали, ладно?

Он пожал плечами, совсем как Магдалина, а его подружка иронически улыбнулась и сказала:

— Никто не любит, чтобы его обсуждали. Даже дядя Ипат, который на вид совершенно равнодушен к тому, что о нем говорят, и у которого только одна забота — успеть обтесать свой камень раньше, чем придет смерть.

Филиппский силой усадил ее на место.

— Простите ей ее злость, — сказал он.

...Десятый класс валяет дурака. Директор не отрывается от шахматной доски. «Шахматы», — говорит он, — это то, что держит меня на плаву».

Я сказала ему:

— На вашем месте я занялась бы чем-нибудь другим.

Он удивленно поднял глаза.

— В моем возрасте? А чем именно? Предложи что-нибудь стоящее, и я тут же положу заявление на стол. Я даже попрошу, чтобы тебя назначили на мое место. Но, Вероника, серьезно, я уже не могу искать место в городе. И потом... если ты станешь директором, то с твоими либеральными методами школа через неделю превратится в бедлам. Ты должна быть довольна уже тем, что я позволил тебе распустить твой десятый «А».

— Я делаю что-нибудь не так? — спросила я.

— Никто тебя не обвиняет — если не считать разговоров в коллективе, — но ты вздумала воспитать целый класс героев нашего времени, а это, прости меня, утопия. Не будем спорить, давай лучше сыграем партию.

Я села за доску и, конечно, проиграла. Мы расстались как добрые друзья, я и старый директор Ротару.

Каролина Думитру подняла руку.

— Слушаю тебя.

Она выпалила:

— Влад Филиппский читает у Маркса «Капитал»! Именно так и выразилась: у Маркса «Капитал». Точно наябедничала.

Затем она продолжала:

— Может быть, он разъяснит и нам, невеждам, так, в двух словах, в чем там дело?

Влад молча встал и вышел из класса. У него хватило вкуса не хлопать дверью.

— Зачем ты сделала это, Каролина?

— Затем, что он невыносим. Затем, что, гуляя со мной, он надоедает мне всякими теориями. Скажите ему, чтобы не читал то, чего не понимает.

В ушах у меня звучит голос Ротару:

— Вероника, придется запретить тебе... Ты знаешь, о чем я говорю?

— Догадываюсь.

— Твой Филиппский на днях явился ко мне весь черный и сказал: «Я узнал о телефонном разговоре между Буфтей и еще одним человеком. Буфтя обещал тому человеку, что все будет в порядке, ждут важных начальников, готовят вино и прочее. Начнут к вечеру, когда люди уже разойдутся по домам, но надо позаботиться, чтобы были только свои». Филиппский спросил: кого в данном случае считают чужими?

Я сказала:

— Надо было ответить: чужие — это люди, которые после трудового дня не идут на банкет, а ложатся спать.

Он вздохнул.

— Сколько тебе лет, Вероника?

— Двадцать девять, — сказала я. — А через три дня будет тридцать. Я открыла вам тайну, замечаете? Это значит, что я откровенна, как и мой ученик Филиппский, который плакался вам в жилетку, хотя вам нет никакого дела до его проблем. Сыграем партию?

— Ты слишком молода. Я переведу Филиппского в десятый «Б».

— Все равно я буду сражаться за него.

— В таком случае я вынесу вопрос на педсовет.

Ты знаешь, как к тебе относятся, и незачем объяснять, что ты проигрываешь.

— Вы этого не сделаете.

— Сделаю. У меня нет другого выхода. Твой максимализм начинает меня раздражать. И я хочу спать спокойно. И не надо говорить, что я трус: такие определения меня не трогают. Тем более что это неправда. Просто я не хочу, чтобы Филиппский ставил трудные проблемы раньше, чем смогу понять, что он их решить не в состоянии. Пойми же в конце концов — он сломается. Ему надо набраться сил, он слишком чувствителен. Пусть оглядится вокруг, пусть свыкнется с миром, в котором ему предстоит жить. Ты так и не поняла ничего? Вспомни о своей сестре Магдалине.

Удар был настолько неожиданным, что я как подкошенная рухнула на стул. Потом, конечно, я пришла в себя, приняла стакан воды из рук Ротару и даже улыбнулась. Да, кажется, мне удалось улыбнуться.

— Это недозволенный прием, — сказала я.

Он только невесело засмеялся.

— Допустим, я все поняла. Что же теперь делать?

Он покачал головой: откуда мне знать? Я вышла из учительской.

На уроке Филиппский сказал:

— Чему нас надо учить прежде всего, так это чтению. Мы еще не умеем по-настоящему читать. Большинство читает залпом, как, например, Каролина. А, скажем, Эминеску так читать нельзя.

Каролина оборвала его:

— Ей-богу, я тебя брошу! Этот наставительный тон просто противен. Подумаешь, патер ностер нашлся!

— Ты не знаешь, что говоришь, — спокойно заметил Филиппский. — Ты не знаешь, что такое «патер» или хотя бы что такое духовный отец. Ты отождествляешь его с попом, а это не одно и то же.

— Если бы ты сказал это лет сорок назад, тебя отлупили бы, как дядю Ипата, и ты бы не болтал больше.

— Ну и что из того, что его отлупили? Он все равно продолжал смеяться над отцом Даниилом...

Магдалине удалось каким-то образом окончить заочную школу. Она объявила нам об этом в последний момент, перед отъездом на выпускные экзамены. Мы собрались всей семьей — отец как раз вернулся с прополки кукурузы до смерти усталый, но просветленный и благожелательный; мама сидела рядом с ним и гладила его по руке. Я весь день работала вместе с отцом и засыпала на стуле. Петря и Анишоара уже спали. Магдалина сказала с вызовом:

— Завтра я уезжаю. Я бы не стала вам ничего говорить, но пешком мне не добраться до бельцкого шоссе. Как-никак, тридцать километров.

— Двадцать, — уточнил отец, продолжая улыбаться.

— Пусть двадцать, — согласилась Магдалина. — Но я бы хотела, чтобы ты попросил председателя дать мне подводу до шоссе. Там я сяду на попутную машину или на автобус. Меня не будет месяц. Надеюсь, что я выдержу экзамены: все-таки не романы читала, а учебники.

— Кто бы мог подумать, — засмеялся отец. — Ладно, я схожу сперва к Ипату, а там увидим...

— Ты без Ипата шагу не ступишь, — пробормотала Магдалина.

Отец внимательно глянул на нее, но смолчал. Надел шапку и вышел из дома.

Старый директор Ротару сказал:

— Вероника, я помню тебя еще школьницей. Ты была скромница, даже нелюдимка. И когда я ходатайствовал за тебя перед районо... Неужели город так изменил тебя? Ты сваливаешься на меня, как снег на голову, воюешь, сердисься... Да, кровь не водица. Твоя сестра...

— Я похожа на нее?

— Не так чтобы... но... эта ярость.

— Ярость?

— Ну да. Ты воображаешь, что противостояшь жизни, а на деле противостояшь мне, педагогическому коллективу, всему селу.

— Я не против села...

— Нет, с тобой нельзя говорить по-человечески!

Старый директор Ротару насмешливо смотрит на меня, и его черные выразительные глаза, смуглость лица, резкие черты делают его похожим на мудрого цыгана, уставшего от дорог, скитаний, от всего, что он знает о мире. Его ничем не удивить, даже моим возможным уходом с учительской работы. Когда я заговорила о чем-то таком, он только и сказал:

— Учитель в конце концов должен свыкнуться... понимаешь? Если хочешь знать, все мы на одно лицо, то есть мы как бы должны носить одно форменное платье... Это давно так, еще с древних времен заведено, с Славяно-греко-латинской академии. Никто не имеет права нарушать законы игры. Даже ты... Может, и лучше было бы, если б ты избрала другую специальность.

Филиппский остановил на дороге дядю Ипата и сказал ему:

— Дядя Ипат, вы — чужой.

— Почему? — спросил тот.

— Потому что вы не были на вчерашнем банкете.

— Я был, — ответил дядя Ипат, к огромному удивлению Влада. — Я им принес свежей рыбы, за деньги, конечно.

— И они купили? У вас?

— Да. Буфтя заплатил.

И дядя Ипат пошел своей дорогой, а Влад только свистнул, проводив его взглядом. Потом он спросил меня на очередном уроке:

— Что такое компромисс?

Я объяснила, как могла. Он слушал рассеянно — видимо, суть слова была ему ясна, но он хотел, чтобы поняли и другие.

Отец тогда вернулся поздно, сияя от радости, как мальчуган, которому удалось починить сломанную игрушку.

— Магдалина, завтра можно отправляться!

— Очень хорошо, — ответила Магдалина и начала разбирать постель.

Прежде чем уйти в свою комнату, отец все-таки спросил ее, колеблясь:

— Может, денег тебе дать?

Магдалина — она как раз снимала сандалии — поглядела на него снизу вверх и сказала с усилием:

— Если бы я нуждалась в чем-нибудь, я бы просила...

Каролина Думитру как-то задержала меня в коридоре и сказала разговорческим тоном, оглянувшись по сторонам:

— Я хочу бросить Владика. Что вы об этом думаете?

— Бросить? Почему? — удивилась я.

— Он мне надоел. Я должна целыми часами выслушивать его глупости о Плутархе и Древнем Риме. Он даже Дарвина критикует, говорит, что не может человек происходить от обезьяны. Вот я и...

— Да, понятно, — сказала я, приняв самый озабоченный вид. — Думаю, что тебе действительно лучше его бросить.

— Вы правда так думаете?

— А ты этого хочешь?

— Да, только не так, не сразу... Может быть, он переменится...

Филипский, выслушав мой рассказ о «Лучафэре»¹, встал и сказал:

— Эминеску был одним из величайших философов Европы и даже всего мира, но мы еще не научились его понимать.

Мне пришлось сказать остальным ученикам:

— Не слушайте его... Это пройдет.

Потом я продолжала урок, в подробностях объясняя мнения критиков о поэте, в том числе и авторов учебника литературы для десятого класса. Слушали внимательно.

Как заметил старый директор Ротару: «Это поколение не признает трудностей... Ты понимаешь? Они считают, что могут всё... как твоя сестра Магдалина...»

А Филипский спросил:

— Вам не кажется знаменательным, что Данко — наш земляк?

— Но это же легенда, — сказала я.

— Всякая легенда основывается на реальном факте, — возразил он. — Магдалина...

Ротару говорил:

— Конечно, твой Филипский прав: литература, история, физика, астрономия, все науки... ты понимаешь меня?... Они создают свою реальность, и ее не надо бы разрушать... Доходит?

— Нет, — сказала я, — не доходит. Получается, что у нас две школы, одна — реальная, а другая... два образа мысли...

— Ошибаешься. Если бы мне не приходилось ежедневно решать проблемы математики, физики, химии... если бы я не интересовался, ну, скажем, философией, биологией и особенно музыкой... думаю, я бы давно... Наверно, самым страшным наказанием для мыслящего человека было бы запрещение думать... Кажется, у Цвейга есть новелла об этом, помнишь? Ну вот. Филипский прав... то есть нет, он неправ, он должен быть правым. И ты тоже неправ, и я прошу тебя вправить ему мозги. Учебник литературы не дураки писали. И у нас тут еще никто не провозглашал независимой педагогической республики...

— Ладно, я буду поддерживать с коллегами беседы о чулках, платьях, старых тряпках, курах, коровах, мужьях, буду сплетничать вместе с ними и...

— Заруби себе на носу... — начал Ротару и вдруг спросил: — Кстати, почему ты не замужем?

— Не берет никто.

— Уж кто-нибудь да нашелся бы.

— За кого-нибудь я не пойду. Вы ведь не женились... на ком-нибудь.

— Я мужчина... Это совсем другое. У меня призвание.

Я усмехнулась.

— Ничего у вас не выйдет. Вам не удастся меня оскорбить.

— Твой Филипский сопляк. Он принимает слишком близко к сердцу, ты понимаешь?..

— Боли других? Боли мира, который заставляет его страдать?

— Вот именно...

На следующее утро Магдалина встала одновременно с отцом. А вот я никак не могла пробудиться, и мне с трудом удалось разлепить веки и увидеть, как они уходят. За воротами заржали кони и раздался веселый голос дяди Ипата:

— Готовы?

Меня ничуть не удивило, что дядя Ипат взялся сопровождать отца и Магдалину, я привыкла к тому, что этот человек всегда находится рядом с нами. Он как-то очень сдружился с нашим отцом, думаю, что они были настоящими друзьями, такими, как бывают только мужчины, открытыми, честными, всегда готовыми прийти на помощь друг другу...

Мы стремительно приближаемся к выпускным экзаменам. Мой класс лихорадит. Все чем-то заняты, а на лице Влада Филипского попеременно сменяются выражения скуки и решимости. Что бы это значило?

В зале сельского Дома культуры мои ученики Влад Филипский и Каролина Думитру танцуют шейк. Какую бы музыку ни крутили, они танцуют только шейк. Я подхожу к ним.

— Что случилось, Влад?

— Ничего... Вот я и моя чувиха... танцуем шейк.

— На вас люди смотрят.

— Пускай.

Они проводили меня до ворот, а на прощание Влад сказал:

— Знаете, мы никуда не будем посылать документы.

— Может быть, хоть объясните — почему?

— Вы что, радио не слушаете, телевизор не смотрите, газет не читаете? Нас, молодежь, призывают оставаться в селе, осваивать сельскохозяйственные профессии... трактористов, доярок. Вот мы с Каролиной поженимся и выдадим на-гора ровно троих детей для расширенного воспроизводства населения. Все по науке!

Старый директор Ротару назавтра спросил его:

— Да, Филипский, все верно... Но почему ты, именно ты... понимаешь меня?

Филипский насмешливо покосился на него:

— А вы... именно вы... почему?

После чего Ротару ушел в учительскую и начал расставлять фигуры на шахматной доске. Я опять проиграла.

— Вам бы надо участвовать в соревнованиях. Стали бы чемпионом...

— А что ты думаешь!

Каролина Думитру заявила недавно (в который раз):

— Не могу больше выносить разглагольствований Влада про пастушество, волшебных овечек!... Он

¹ «Лучафэр» — прославленная романтическая поэма классика молдавской и румынской литературы Михаила Эминеску (1850—1889 гг.).

¹ Речь идет о народной балладе «Миорица», в которой вещая овечка предупреждает пастуха о грозящей ему смерти.

совсем спятил: читает специальные книги по овцеводству, говорит, что Тяпа — герой нашего времени! Думаю, мы крепко поссоримся.

Я отмахнулась и поспешила уйти. Она проводила меня недоуменным взглядом, а мне хотелось смеяться: детские игры, право!..

Из-за облаков выглянуло солнце, веселое, как молодой крестьянин. Господи, сколько лет я не могу справиться со своей неистребимой сентиментальностью, развеять и стряхнуть ее с себя, как ветер сдувает снег, оставляя на виду суровую, голую землю. Но нет, ничего не выходит: самые рациональные мои побуждения заведомо отравлены дамской чувствительностью, не подвластной никакой логике.

Одолев первый том «Капитала», Филипский сказал мне:

— Потому-то вы и не крестьянка, что сентиментальны. Ваш материализм созерцателен. Вы смотрите на вещи поверхностно, не вникая в их экономический смысл...

— А как ты смотришь на вещи? — спросила я.

— Во всяком случае, я не желаю быть созерцателем. И я останусь здесь, в селе, чтобы сохранить и развить в себе способность к здравым суждениям. Ваша сестра Магдалина...

— Прекрати! — резко сказала я. — Прекрати!

С некоторой мстительностью сообщу здесь, забегая вперед, что, разумеется, ни Влад, ни Каролина в селе не остались.

Магдалина вернулась из Бельц в начале лета. Она не рассказывала, как ей удалось добраться домой, но думаю, что от шоссе она шла пешком. Увидев ее в воротах, мы бросились ей навстречу, а отец едва не прослезился. Магдалина сказала:

— Теперь я могу поступать в любой институт.

Она помахала перед нами аттестатом зрелости, правда, никому не позволив дотронуться до него.

— Куда же ты хочешь поехать? — спросил отец.

— Я еще не решила, но хорошо было бы поступить в Кишиневское училище.

Мама попробовала возразить:

— В Бельцах есть педагогический институт, и ты могла бы...

Взгляд Магдалины заставил маму проглотить конец фразы.

— Я не хочу быть учительницей, не гожусь для этого.

Мы легли, и я хорошо помню, что засыпала с чувством гордости за сестру.

А июнь того года был прекрасен. Пали грозы, перемежавшиеся воровьями ночами, а я и тогда очень любила летние ливни, когда небо, кажется, обрушивается на землю в слепящем обмороке молний и ты поневоле сжимаешься от божественного ужаса и закрываешь глаза, а потом со стрехи еще долго падают, соскользнув по камышовой кровле, тяжелые, горячие, точно дымящиеся капли воды. Магдалина однажды сказала:

— Жизнь похожа на такую грозу, и вы должны понять, что тут надо не прятаться под уютный навес, а выйти в поле навстречу грому и бежать, бежать вперед...

В один из первых дней июня отец послал меня к дяде Ипату занять тыквенных семян, потому что у нас высвободился после редиски уголок огорода. Дяди Ипата дома не оказалось. Я поступала в ворота и подождала, пока появится на крыльце тетя

Настика и отгонит собаку, здоровенную, как теленок. Потом она сделала мне знак войти. Я отворила калитку и шагнула во двор, осторожно, боясь поранить ноги об острые камни: дорожка к дому была усыпана речной галькой, которую дядя Ипат привез на подводе, еще когда у него был свой конь, а среди безупречно гладких голышей попадались иногда и обломки ракушек. Тетя Настика ждала меня, подобрав руки под фартик, спокойная, почти монументальная, точно вылепленная из белой глины. Похоже было, что ее тело живет само по себе, независимо от хмурых глаз хозяйки, живет, разливая вокруг свежесть и силу, подобно мощному дереву, глубоко укоренившемуся в почве.

Теперь, когда миновало столько лет, мне чудится порой, что не только в тете Настике, но и во всех людях, знакомых мне с детства, было что-то общее с деревьями, которые зеленели на окраине села и образовывали нечто вроде неухоженного парка, а лучше сказать — рощи, купы. Да и не только на окраине. Акации, например, совсем не боялись людей и захватили всю территорию села, иной раз вырстая прямо посредине проезжей дороги, так что возницам волей-неволей приходилось оглядывать их, как лодки оглядывают островки на реке.

Хозяйство дяди Ипата было крепче нашего. Дядя Ипат был полон сил, да и тетя Настика брала на каждый год чуть не полторы нормы табака, который надо было посадить, вырастить, прополоть, обломать, высушить на шнурах под навесами, а потом, разгладив каждый лист, увязать в кипы, что они обычно делали все вместе в долгие зимние вечера — тетя Настика, дядя Ипат и сын их Григоре, сверстник Магдалины, который тоже окончил заочную школу и готовился поступать в институт.

Когда Григоре показал дяде Ипату свой аттестат, тот будто бы похлопал его по плечу и сказал:

— Иди, Гриша, в агрономы.

Почему именно в агрономы?

Я подошла совсем близко к тете Настике, собака успокоилась и забралась в конуру, выставив наружу громадную морду и свесив на сторону язык.

— Ох, дожди эти — наказание божье, — вздохнула тетя Настика.

Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга: мне всегда было неловко заимствовать у соседей, даже если речь шла всего-навсего о тыквенных семечках. Я все же набрала воздуха в грудь и обратилась к ней голосом прилежной школьницы, отвечающей вызубренный урок:

— Мама послала меня попросить вас одолжить нам немножко семян тыквы, потому что редиску мы уже съели и... То есть не мама, а папа...

Тетя Настика усмехнулась.

— Дети Эмилия... Все у вас не как у людей...

Я опустила глаза и уставилась в землю: мне не впервые приходилось слышать такое. «Дети Эмилия...» Это явно должно было что-то означать, но что именно, я тогда своим детским умом еще не понимала.

— Идем, деточка, идем... — поманила меня тетя Настика.

Я пошла за ней, исподлобья поглядывая на ее толстую сильную спину, на толстые темные косы, спадавшие на плечи, как у невесты. Мы остановились возле дверей сарая, тетя Настика вошла внутрь и вынесла мне горсть семян, которые я приняла в сложенные ковшиком ладони и ссыпала в карман своего потропанного платяшка.

— Что мамочка делает? — ласково спросила тетя Настика.

— Шьет, — ответила я.

— Да, да, шьет, бедная... А не хворает?

Я разинула рот от удивления.

— Мама? Нет.

— И слава богу. А то у нас народ знаешь какой... Говорят, она жары боится. Да и рук не хочет пачкать — ведь они, горожанки, все неженки. А я бабам так и сказала: больная она, да и Эмиль не жилец, чего ей с нами корячиться?.. Только ведь как посмотреть: за шитье трудней не дают, а тряпками будешь ли сыт? Вот Эмиль и надрывается один за всех...

У меня вдруг отнялись ноги, я чувствовала, что не могу ступить ни шагу.

— Ну да, а то как же?.. Это что за платье на тебе? Мать шила?.. Как голод кончился, все портнихами заделались, по докторам ездят за справками. У той сердце, у той еще что-нибудь, а та просто народом брезгует. Вот сестрица твоя — тоже на-стурция голландская! На дворе каникулы, а хоть бы раз на прополку с отцом вышла. Он, бедолага, уже на ногах не стоит, кровью харкает, а все туда же: «Моя Магдалина учиться будет, в студентки поступит!» А я так думаю, что она нашему Гришеньке не чета. Говорила я мужу и еще скажу: нечего за Эмиля полоть, теперь не старый режим, ты к нему в батраки не нанимался...

Словно проснувшись, я поспешно выгребла семечки из кармана платья, и они посыпались на землю. Тетя Настика стояла, уперев руки в боки, и в глазах ее было столько отвращения ко мне, и к Магдалине, и к нашей маме, и к нашему отцу, что я заплакала и бросилась к воротам. Собака судорожно залаяла и кинулась за мной, обрывая цепь, а тетя Настика громко, чтобы слышали соседи, кричала мне вслед:

— Что же, Вероника, не будете сажать тыкву?

Пробежав сколько хватило духу, я остановилась и с трудом выцарапала из кармана вместе с серыми мягкими окатышами зацепившееся за нитки семя. Я машинально раскусила его. Оно было горьким. Домой я пришла, крепко стиснув зубы. Отец между тем уже расчистил землю и сделал на грядках гнездышки для семян. Когда я приблизилась к нему, он распрямился и вопросительно поглядел на меня. Видя, что я напряженно молчу, он притянул меня к себе и положил руки мне на плечи. Я прильнула щекой к его руке. Он вытер ладони об штаны и улыбнулся:

— Ты у меня совсем невеста, Вероника.

Он опустился на колени, так что его бледное, худое, давно не бритое лицо пришлось чуть ниже моих глаз, и осторожно погладил меня по волосам.

— Погоди минутку, — сказал он.

Он ушел в сени и крикнул там:

— Мы на реку идем! Кто с нами?

Из дому вихрем вылетели Анишоара и Петря, потом послышался голос мамы:

— Миля, а как с тыквами будет?

— Я раздумал, — ответил отец. — Что от них толку! У нас ни свиньи, ни коровы...

И он повернулся к нам, по-детски сияя своим синим взором из-под выгоревших на солнце бровей.

Я взяла за ручки Петрю и Анишоару, и мы все вместе пошли к реке. У нас было там излюбленное местечко под старой развесистой ивой.

Отец устроился на траве, опустив босые ноги в воду, прислонился к корявому стволу ивы и сказал:

— Когда я был маленький, как вы, мой отец, а ваш дедушка Илларион, катал меня в лодке. Теперь-то особо не поплаваешь, река обмелела, а тогда она текла быстро и вода в ней была такая прозрачная, что можно было разглядеть все камни на дне.

Он замолк и опустил потемневшие глаза на мутную медленную воду, а мы стали заглядывать в реку, пытаясь увидеть донные камни.

Когда мы, уже на закате, вернулись с реки, у наших ворот сидел на камне дядя Ипат, покуривая сигарку. Мы подошли ближе, и отец велел нам идти в дом, а сам сел с ним рядом и тоже закурил. Так они долго курили и молчали, а потом я услышала их негромкие голоса:

— Спокойной ночи, Эмиль.

— Спокойной ночи, Ипат.

Когда Магдалина навсегда покинула наше село (я снова забегаю вперед, но именно потому, что мысль снова и снова уносит меня в прошлое, не считаясь с законами повествования), дядя Ипат надорвался. Он стал похож на птицу с поломанными крыльями. Ковыляет такая птица по земле и напрасно пытается взлететь, и смотрит все вверх, вверх, туда, где ей уже не бывать.

Я однажды встретила его. Он плелся, едва волоча ноги, и, заметив меня, остановился. Глаза у него были какие-то отрешенные, словно невидящие, и я спросила:

— Вы меня не узнаете, дядя Ипат?

— Почему же, Вероника? Я тебя еще узнаю. Только я сперва подумал, что ты — ее тень, а ее тень приходит ко мне лишь ночью, и вот мне помешалось, что уже ночь, а ведь, по правде говоря, сейчас день, и ты — это ты, а не она...

— Ох, дядя Ипат, — сказала я, невольно кусая губы, — лучше бы вам не пить, это не доведет до добра.

— Не доведет, говоришь? Ты, стало быть, считаешь, девочка, что лучше не пить?

Он, покачиваясь, отошел к обочине и сел прямо на пыльную траву.

— Присядь и ты, Вероника. Или брезгуешь мною?

Чуть не плача, я села с ним рядом. Господи, думала я, что осталось от прежнего дяди Ипата! Лицо его пожелтело, а блуждающий взгляд потерял блеск и проницательность.

Мы долго сидели на обочине, и люди, проходившие по дороге, мужчины и женщины, старые и молодые, спрашивали нас все одно и то же:

— На солнышке греетесь?

И мы отвечали, то есть отвечала я одна, потому что дядя Ипат, казалось, ничего не видел и не слышал:

— Да, греемся на солнышке.

В конце концов он очнулся от дремоты или от своих далеких мыслей и сказал:

— Вероника, зачем человеку дается жизнь? Знаешь? Ведь он за нее ни гроша не заплатил, бесплатно взял, и только дурак или осел пускает ее на ветер, вместо того чтобы радоваться и жить красиво, а главное — осмысленно. И если жизнь уйдет, с чем останется человек?.. Что он себе думает? Что Ипат кончился, сгинул? Является ко мне лощеный... сытый... И зачем, боже ты мой? Поглядеть на меня, мертвого заживо, и порадоваться моей смерти?

— Гриша не затем приезжал, дядя Ипат. Он хотел с матерью повидаться...

Он резко поднялся и пошел в сторону своего дома. Я осталась где была, только встала из травы. Казалось, дядя Ипат весь ожил, его тело снова обрело силу и упругость, и когда он обернулся ко мне, чтобы помахать рукой, в глазах у него было выражение решимости. Он удалялся, высокий, немножко сутулый, и с каждым шагом его походка набирала уверенность, и он становился похожим на тополя,

что растут у нас вдоль дороги, и сливался с ними, но я еще успела разглядеть, как он вдруг пустился бегом, словно мальчишка, радостно подпрыгивая. Что с ним случилось? Если бы теперешний Влад Филиппский присутствовал при этом, он сказал бы своим всегдашним категорическим тоном: «Когда человек не хочет умирать, он не умрет. Человек подобен народу. Французский поэт Ален Боске говорит: «Быть, умереть, не быть!» И вот сейчас дядя Ипат выбрал быть и не умирать, и надо вам заметить, что быть гораздо труднее, чем умереть или не быть, потому что назначение человека на земле именно в том и состоит, чтобы быть и вечно бороться за это бытие, ибо все живое прекрасно и обладает правотой...»

А его приятельница Каролина Думитру топнула бы ногой и закричала: «Прекрати сейчас же!»

Но если бы она не прервала Влада, он бы сказал еще вот что: «Ален Боске ошибается, поскольку человек не ставит перед собой проблему быть и умереть — или не быть, а только быть — или не быть, причем не быть не обязательно значит умереть: Гамлет выбрал именно быть, хотя и погиб. Все гораздо проще: не быть означает не отбрасывать тень на землю... Я, конечно, имею в виду такую тень, которую никто не посмеет топтать ногами».

Я думаю, что всякая женщина, прожившая много лет за спиной мужчины, в его тени, превращается в тот миг, когда мужчина сдает позиции, а это бывает почти со всяким мужчиной, — так вот, она превращается, словно в сказке, из возлюбленной и служанки в товарища, в подругу, готовую ради него пожертвовать собой, особенно если он, ее храбрец, никогда не поступался своей совестью. И мой отец был именно таким храбрецом, и мама была именно такой женщиной, и отец знал, что есть на свете женщина, способная заслонить его от смерти ценой собственной жизни, так же как мама знала прежде, что у нее есть муж, на которого она всегда может опереться, а не какой-нибудь потаскун или лодырь.

И теперь, обдумывая характер моего отца, я понимаю, что он приблизил смерть именно своим упрямством. Он не хотел ни на минуту допустить мысль о том, что его силы могут иссякнуть, и искал для себя самую трудную работу, чтобы доказать прежде всего себе, а потом и остальным: мол, он совершенно здоров и приехал в село только потому, что ему нравится жить здесь, а не в городе. Он говорил:

— Кто знал меня там, в Бельцах? Никто. А здесь — все село.

Но эти слова звучали не настолько убедительно, чтобы люди могли им поверить, и тогда он придумывал что-нибудь другое.

Что по-настоящему радовало отца в селе, так это река и плодовые деревья. Он питал к ним подлинную любовь, считая их живыми и способными на человеческие чувства. Я думаю, он даже приравнял их к членам семьи.

Однажды за ужином он сказал:

— Если б у нас было довольно овощей и картошки, я посадил бы возле дома сад.

Помнится, Магдалина метнула в него быстрый взгляд исподлобья и спросила:

— Вишневый?

Отец ответил:

— Почему же только вишневый? Мне нравятся всякие деревья — и вишни, и черешни, и абрикосы, и сливы, и орехи. Когда я был молод и собирался

жениться, я мечтал, что у меня будет дом здесь, в селе, и столько земли, что я смогу посадить большой сад, и дети, то есть вы, будете играть в нем и лакомиться разными фруктами.

— Что ж ты молчал, Миля? — сказала мама. — Ведь это можно сделать. Бог с ним, с огородом, — овощи я могу и на рынке покупать.

Отец обрадовался, словно только этого и ждал.

— Ты правду говоришь, Докица?

— Конечно.

— Что ж, тогда года через три, когда войдем в силу, мы так и сделаем. Кто из вас будет мне помогать?

Все мы ждали, что Магдалина поднимет руку первой, но она молча продолжала есть. Тогда встала я, а за мной — Анишоара и Петря.

— Хорошо, — сказал отец, словно не заметив безучастности Магдалины, — садитесь. Итак, мы договорились: у нас будет сад.

И мама, красивая и загадочная, улыбнулась нам всем и порадовалась надеждам отца.

Я так и вижу его худую смуглую руку, протягивающую мне большое красное яблоко. Отец вытер его сперва об штаны, потом — о лацканы пиджака.

— В нашем саду будут только такие яблоки — большие и красные.

Я улыбаюсь ему и кусаю яблоко. Оно хрустит у меня на зубах и рассыпается во рту, и я чувствую его неопишимо-яблочный запах.

Когда в руке у меня остался один огрызок, я бережно собрала семена и подала их отцу.

— Это домашние яблоки, — пояснил он, — сорт такой. Но чтобы посадить сад, мы должны иметь питомник.

— Что такое питомник?

— Это участок хорошей, ухоженной земли, где сажают семена и выращивают из них саженцы.

Тут он тронул меня за руку и спросил, хочу ли я помочь ему, и я закивала головой в знак согласия. Мы пошли под навес, где у нас хранились разные инструменты, и отыскили там тяпку и заступ. Отец взял заступ, а я тяпку. Потом мы отправились на огород, и отец остановился и попробовал заступом землю.

— Вот здесь, — сказал он, указав мне место посуше, — здесь у саженцев будет достаточно солнца, а твоя забота — поливать и разрыхлять землю. То есть это будет наша общая забота.

— Я одна займусь! — объявила я. — У тебя и так много работы в колхозе, а мне нечего делать, кроме как помогать маме по дому, так что времени много.

— Тебе же и поиграть надо...

Отец взял у меня тяпку и очистил выбранное место от бурьяна. Неделию назад мы убрали картофель, и там остались одни сорняки. После того как земля была очищена, отец перекопал ее заступом, но не очень глубоко. Он сказал:

— Главное — начать, а там семена прорастут и хочешь не хочешь придется за ними присматривать. Настоящий хозяин всегда доводит работу до конца.

Он сделал в земле ямку, бросил в нее яблочные семена и снова присыпал их.

— Теперь будем ждать, — сказал он. — Если бы у тебя был дневник, ты могла бы записать в нем, что сегодня заложила питомник.

Мы отнесли заступ и тяпку на место, и отец погладил меня по голове.

— Доброе дело сделали. Теперь ты не просто девочка, а смотрительница питомника.

Я побежала домой, взяла чистую тетрадку и написала на первой странице: «Сегодня мы посадили в землю семена домашних яблок». И расписалась: «Вероника Груя». Потом я стерла подпись и написала на обложке: «Дневник ученицы шестого класса школы-семилетки села Безены Флорештского района Вероники Груя». Немножко подумав, я добавила: «Молдавская ССР».

Помню, с каким нетерпением я ожидала в те дни, когда вернется отец с работы. Сперва я выходила к воротам, а потом тихо пускалась по дороге навстречу мужчинам и женщинам, что возвращались с поля. Шли они по десять — двенадцать человек, с тляками и лопатами на плечах, мужчины впереди, обычно в ряд, а женщины чуть поодаль, стайками, громко разговаривая и смеясь, и их лица, бронзовые, почти медные от загара, сияли радостью. А иногда они пели песни, чистые, протяжные, многие из которых я не знала.

Я шла им навстречу, стараясь попасться на глаза тем, которые выглядели особенно радостными и веселыми, хотя, конечно, у каждого из них было не меньше печалей и огорчений, чем у прочих людей, только они лучше умели скрывать их.

Случалось, отец запаздывал: он работал медленнее других, а нормы были одинаковые для всех. Он пока не свыкся заново с крестьянским трудом, ему не хватало сноровки. Я останавливала встречных и спрашивала: «Отец еще не идет?» И все мне всегда отвечали: «Идет, идет уже!» — но я чувствовала в их словах какую-то неправду. «Идет, он уже на дороге!» — успокаивали меня. До захода солнца я старалась верить своим утешителям, но когда солнце скатывалось за гребень холма, а отца все не было, я садилась на обочину и начинала плакать. Там меня и находили отец и дядя Ипат — обычно они возвращались вдвоем, — и отец брал меня на руки и целовал в глаза, в щеки, в губы, царапаясь недельной щетиной. Я прикивала к его груди и всхлипывала.

— Ну, Вероника, — смущенно бормотал он, — ты уже взрослая девочка, так некрасиво. Вот и дядя Ипат говорит...

Он ставил меня на ноги и вытирал мои слезы шершавой косялявой рукой. Рука отца казалась мне прекрасной. Я любила пить воду из ковша его ладоней, и иногда, когда он гладил меня по голове, я украдкой целовала его пальцы. И вот он вытирал мои слезы, и мы, взявшись за руки, вместе шли домой. Думается, ни разу в жизни я не была так счастлива, как в эти сумеречные, на склоне дня, минуты, когда я крепко держала отца за руку и мама, увидев нас из окна, кричала мне:

— Поймала гулену? Домой ведешь?

И тогда отец легонько высвобождал свои пальцы из моей руки, чтобы обнять Аншоару и Петрю. Потом, усевшись на порог, он разулся, подвертывал штанины до колен, скидывал рубаху и шел к колодцу умываться. Я слышала, как он там фыркает от удовольствия. Потом мы ужинали, чаще всего без Магдалины, и долго разговаривали перед сном.

Отец не любил рассказывать о войне. Он воевал целый год, был ранен, и у него остался в правой ноге осколок снаряда. Так он и вернулся домой — с осколком и двумя медалями, которые Петря цеплял себе на рубашку, когда играл с мальчишками в войну. Благодаря медалям ему всегда удавалось быть в числе «наших», вместе с другими ребятами,

которые могли похвастаться отцовскими наградами. Те, у кого медалей не было, считались «ихними», то есть немцами.

Когда в селе узнали, что отец задумал устроить питомник для будущих саженцев и что он собирается сажать их вместо картофеля и подсолнуха, все решили, будто эту идею подал ему дядя Ипат, и начали смеяться над обоими.

Но дядя Ипат сказал отцу:

— Пусть смеются.

Только это он и сказал. И отец согласно кивнул.

— Пусть смеются, — сказал он.

— Они смеются, потому что не знают над чем.

И хорошо, что не знают. Я и сам бы рад смеяться вместе с ними, и показывать на тебя пальцем, и говорить, что ты глуп.

— Почему же не смеешься? — спросил отец.

— Потому что у меня самого был вишневый сад. Правда, он теперь не мой, а колхозный, но все равно мой. Колхоз убирает вишни, а сад остается. Ведь я не ради фруктов посадил его когда-то, а ради самого сада, ради весеннего цветения, ради желтой осенней листвы — ее сбивает с веток ветром, и она ложится под ноги, как чудный ковер. Идешь по нему, а он шуршит. Знаешь, когда я посадил сад? Когда они отколотили меня из-за попа. Понятно?

— Да.

— Вот и мне понятно, почему ты завел питомник.

Но отцу уже не суждено было увидеть цветения своего сада.

Надев черный костюм, он вышел однажды во двор и отправился к молоденьким саженцам вишен, черешен и слив. Долго-долго смотрел он на них, не говоря ни слова. Потом повернулся и вышел на дорогу. Там он опять остановился и внимательно осматривал серую пыль у себя под ногами. Он даже подобрал горсть пыли, помял ее в пальцах и сказал: «Хорошо сделано», — и разжал пальцы, и пыль вытекла между пальцев обратно на дорогу. В детстве он любил воображать себя мельником, и дорожная пыль была для него пшеничной или кукурузной мукой. Он двинулся дальше, спустился в долину к реке, подошел к большому валуну и погладил его своей черной исхудалой рукой, как если бы это было существо, способное понять ласку.

Такое отношение отца ко всему, что его окружало — к камням, цветам, деревьям, травам, — ясно проявлявшееся в последние месяцы его жизни, многие воспринимали как дурной знак. Но отец объяснил мне:

— Чтобы видеть вещи по-настоящему, человек сначала должен примириться с собой и с миром. Вряд ли его слова показались бы понятными всем. Я и сама их не понимала, когда порою подолгу стояла рядом с ним, пока он, опустившись на колени, пристально разглядывал какой-нибудь полевой цветок.

У реки отец сел на прибрежную траву. Его бледное лицо дрожало в текущем буре зеркала. Вода становилась все чернее и чернее... Близился вечер.

Глава третья

Мой отец гораздо моложе дяди Ипата. Несмотря на это, люди долгое время считали их хорошими друзьями. Они и теперь уверены, что Филимон Филипский, бывший конюх, а ныне бригадир, в течение многих лет находился под дурным влиянием дяди Ипата, переняв у него слабость к отдельной «философии», резко отличающей-

ся от традиционного крестьянского мировоззрения. Не буду спорить с этим, а должен лишь пояснить, что все мои разыскания, касающиеся прошлого дяди Ипата и еще нескольких лиц, ни в коем случае не происходят от моего общего интереса к историческим дисциплинам и носят сугубо частный характер... И только моя одноклассница Каролина Думитру, которая с некоторых пор потеряла всякое сходство с Элизабет Тейлор, может думать иначе.

Но начну с начала.

Это было в пору созревания вишен. В тот день мы — я и мои двоюродные братья Ликз и Костаке — решили совершить налет на вишневый сад, который когда-то принадлежал дяде Ипату, а потом стал колхозным; и хотя дядя Ипат при всяком удобном случае называл его своим и люди по привычке повторяли: «Ипатов сад», — в этом наименовании не было ни грамма вызова или обиды, тем более что дядя Ипат вступил в колхоз совершенно добровольно, сразу после того, как инструктор из района на пальцах растолковал ему, что его ждет в колхозе и что с ним может статься, если он и дальше будет валять дурака, и тут, говорят, дядя Ипат почесал в затылке и объявил, что его осенила светлая мысль, а именно — что лучше идти в ногу со всем прогрессивным человечеством, чем копать в своем противном индивидуальном хозяйстве; короче говоря, дядя Ипат, человек в общем сообразительный, тотчас накатав заявление, отнес его в правление и вернулся домой полноправным колхозником, правда, запыхавшись и понурясь, как загнанный конь; говорят даже, что за один этот день у него отросла борода, а шляпа, которую он носил добрых лет десять и она все была как новая, как-то сразу измялась и обветшала, так что он сам не мог узнать ее, по какой-то причине, уже войдя в родные ворота, шваркнул ее оземь и начал топтать ногами, приговаривая: «Эх ты, шляпа, шляпа!» И еще что-то неразборчивое, а что именно, никто и не пробовал разбирать, только иные очевидцы усмехались в усы.

Отец рассказывал, что еще до войны в селе не широко любили дядю Ипата по причине его дикого нрава и проистекающей отсюда гордыни. Как у нас говорят, до его носа шестом было не дотянуться. Особенно гордился он тем, что выучился грамоте и умел читать церковные книги, и даже воображал, что понимает их, так что, встречая на улице сельского батюшку Даниила, не только не целовал ему, как полагалось благонамеренным прихожанам, руку, но, напротив, скалился прямо в лицо: «Все обманываешь народ, батюшка, все морочишь людей, а?» — и, расхохотавшись так, что окрестные акации начинали осыпать листву, с нахальным свистом шел своей дорогой. Отец Даниил не удостоивал его ответом, а лишь провожал убийственным взглядом, что, впрочем, ничуть не смущало дядю Ипата, и он еще тыкал в сторону батюшки нечестивым пальцем и кричал: «Приходи ко мне, святой отец, я тебя заместо пугала в огороде поставлю — воробьев гонять, все-таки польза будет...»

Сельские мужики попробовали проучить дядю Ипата, чтобы не смел глумиться над священнослужителем и матерью нашей церковью, и жестоко отделили его кольями, какими коровьют. Когда они наконец утомились его дубасить и, став тесным кружком, потребовали, чтобы он покаялся не трогай больше батюшку, дядя Ипат, рассказывал мой отец, собрал себя по частям из дорожной пыли и, пристально поглядев каждому из обидчиков в глаза своими заплывшими гляделками, сплюнул зуб изо рта, вытер рукавом разбитые губы и пошел, по-

шатываясь, прочь, высокий, прямой, со странной улыбкой на окровавленном лице.

Тогда, говорят, один из тех, кто его мутузил, предложил вдогонку и вовсе убить упряма, да побоялись жандармов. Дядя Ипат после этой таски слег, начал чихнуть и был скорее похож на свою тень, чем на самого себя. Целое лето пролежал он, завернутый в байковое одеяло, на завалинке своего дома, плюя кровью и матерно браня село и сельчан, которых-де «побросать в колодезь — и то мало». К осени, однако, он помаленьку отплывался. Тетя Настика сама обрабатывала землю — помощи ждать было неоткуда. Правда, в страду да еще на уборке винограда соседи подсобили ей. То ли дяде Ипату пошло на пользу молодое вино, то ли солнце выгнало болезнь у него из груди, так или иначе, он стал поправляться и к зиме выглядел совершенно как прежде, только никто уже не слышал его смеха — он теперь ходил хмурый и насупленный. Но главное, не успел он прийти в себя, отец Даниил снова потерял покой. При первой же встрече дядя Ипат опять заорал на все село: «Морочишь людей, жеребьяе семья! Не стыдно тебе?» Впрочем, на этот раз отец Даниил не очень расстроился, а даже поглядел на дядю Ипата этак свысока: дескать, мало тебя били — еще схлопочешь, народец-то на моей стороне...

Я уже рассказывал, что в тот день, когда дядя Ипат вступил в колхоз, он растоптал прямо перед воротами свою знаменитую шляпу. Войдя во двор, он дико огляделся и закричал изо всех сил:

— Настика! Жена! Сюда!

Тетя Настика вытерла руки о фартук и стала на пороге, вглядываясь в искаженное лицо мужа. Только и сказала она:

— Господи, Ипат!.. Записался!

— Записался; — жестко ответил дядя Ипат, — записался, и гони-ка мне рубль с копейками: пойду куплю себе шапку с ушами, как у всех людей. А шляпу я выбросил: чего еще спесивиться, я теперь лишь под ушанку гожусь...

— А чем же шляпа плоха была? Носил бы...

— Тыфу, баба! Я теперь кто?

— Кем с утра встал, тот и есть.

— Тот, да не тот. Пораскинь своим умишком: кто у нас в селе носит шляпу по будним дням? Рэчилэ. И я носил. А теперь я ему уже не ровня...

Или тетя Настика ничего не поняла, или не захотела понимать, потому что уже привыкла к выходкам мужа, только она его не стала больше слушать, а сходила в дом и, поджав губы, вынесла рубль с копейками. Дядя Ипат принял деньги, подержал их на ладони и медленно сбрасывал в карман.

— Так-то, — задумчиво сказал он при этом.

И, словно отыскав в памяти что-то очень важное, дядя Ипат широким шагом двинул в конюшню. В ноздри ему ударил запах навоза и конского пота.

— Дурак я, дурак, — забормотал он. — В самое лето держать коня дома... Все равно отдать пришлось бы.

Он вывел его из денника, и конь, ослепленный ярким светом дня, заржал и ударил копытами, затанцевав на месте, как в цирке.

Дядя Ипат заорал на него:

— Цыть, болячка! Сбесился?

Он ласково провел ладонью по крупу коня, и тот разом унялся. Повернул голову и посмотрел на дядю Ипата внимательно и грустно, точно понял, что радости ему больше не будет, а будет неизвестно что, и, кто знает, суждено ли им с хозяином когда-нибудь снова погулять на воле?

Дядя Ипат шмыгнул носом и нахмурился.

— Какого черта... Я ведь не баба! — молвил он вслух, надеясь, что собственный голос ободрит его. — Седло не отдам! — сказал он и бросился на спину коня, который, не ожидая понуканий, понес его ровным шагом к воротам.

Проходя мимо распахнутых окон дома, они услышали громкие всхлипывания тети Настики, и дядя Ипат в бешенстве крикнул:

— Эй, баба, матушку твою туда и сюда, чтобы я не слышал больше этого! Понятно? Развилась, как кошка на чердаке... А ну, выходи!

Женщина вышла, еще утирая слезы, с распухшим лицом, и дядя Ипат гневным жестом велел ей отворить ворота. Она босиком прошлепала по двору к огромным деревянным воротам, почерневшим от солнца, ветра, дождей и морозов, со скрежетом отодвинула засов и толкнула ногой один из тяжелых створов. Дядя Ипат ударил коня пятками в брюхо. Женщина успела лишь спросить:

— Что ты задумал, человек? Куда ты?

Дядя Ипат глянул на нее сверху и ничего не ответил.

— О господи... — забормотала она, — не натворил бы...

Она не успела кончить фразу — слезы перехватили дыхание. А хотела сказать: «Не натворил бы ты бед или дуростей», — потому что тетя Настика хорошо знала мужа, скорого на руку и быстрого на душу, только она не понимала, что в эти минуты дядя Ипат несколько не расположен был злобствовать. Напротив, он казался веселым сверх меры и чуть ли не хохотал во все горло. Так, во всяком случае, рассказывают люди, видевшие его в тот день. С непокрытой головой, босой, он восседал на бывшем своем коне, который стал бывшим именно в ту минуту, когда дядя Ипат положил на стол председателя Рэчилл заявление о приеме в колхоз. Буфтя, что нынче заведует складом, а тогда был просто праздничатыйка и лоботряс, врет, будто бы широкая, до ушей, ухмылка дяди Ипата все-таки таила в себе нечто злобное и даже, в уголках губ, волчье. Я этому не верю, потому что Буфтя всегда ненавидел дядю Ипата, и у него для этого были причины — всякий раз при встрече дядя Ипат кричал еще издали:

— Что, Буфтя, не надоело небо коптить?

Наверное, Буфтя, будь у него такой случай, затоптал бы дядю Ипата ногами. Но дело в том, что при всей своей бычьей силе Буфтя был и остается заурядным трусом, шарахающимся от собственной тени. У него душа мокрой курицы, и боятся его только малые дети и цепные собаки. К тому же Буфтя имел возможность убедиться, что дядя Ипат упрям: всех поразило, что после зверских побоев из-за отца Даниила дядя Ипат не убоился и продолжал дразнить батюшку.

Многие видели его в тот день, в те ясные после-полуденные часы, когда он медленным шагом ехал по селу на своем буланом коне, широко улыбаясь встречным и сумрачно опуская голову на грудь, когда встречные оставались позади. Тот же Буфтя говорит, что мой отец, первый колхозный конюх, будто бы закричал дяде Ипату:

— Скоро ли коня приведешь?

И тот вроде бы вздрогнул, натянув поводья, и улыбка его померкла, хотя он изо всех сил старался удержать ее на лице.

— Скоро, Филимон.

Он тронул коня, и конь зашагал дальше, горделиво поднимая свои красивые ноги с сухими бабками, и дядя Ипат опять вскинул голову, словно отгоняя черные мысли.

Еще Буфтя говорит, что люди нарочно выходили из своих домов поглядеть на дядю Ипата, босого, как уже сказано, и с обнаженной головой, потому что до того дня еще никогда не забывал он надеть свою шляпу и обувь, хотя и шляпа и обувь были совсем старые, — он и сам не помнил, когда их купил.

Дядя Ипат, сидя на коне, поневоле смотрел на людей свысока, однако здоровался со всеми самым вежливым образом, наклоняя голову то направо, то налево, правда, молча. И, говорят, люди отвечали ему такими же молчаливыми поклонами. Понимали ли они, что происходило в его душе? Буфтя считает, что нет, что они просто-напросто не желали унижать себя, отвечая словами на немое приветствие, но мой отец утверждает, что Буфтя дурак и балбес, а что он, отец, в тот самый день набрался, как зюзя, и бегал по дорогам, крича:

— Эй, люди, кто не видал глупца, идите и полюбуйтесь на меня!

Он называл себя глупцом, потому что сдуру сунулся прямо в душу к дяде Ипату со своим вопросом: скоро ли тот приведет коня в колхозную конюшню?

Кончилось это тем, что отец пришел к дяде Ипату и постучал в окно, и тот вышел на крыльцо и спросил:

— За конем?

И отец, услышав такие слова, стал рвать на себе рубаху, потому что она теснила его, не давала дышать.

— Прости меня, дядя Ипат, — попросил он.

— За что, Филимон? Разве ты причинил мне какое-нибудь зло?

Той он был человек, дядя Ипат. Всегда прикидывался, чтобы оскорбивший его не подумал, что оскорбление достигло цели.

— Прости меня, — повторил отец.

— Не за что, — безжалостно ответил дядя Ипат. — Ты славный парень и хороший хозяин... Иди с богом, чего пристал?

В конце концов дядя Ипат пригласил отца в дом, и они вместе пили цуйку и вино и пели песни до рассвета, но прощения мой отец так и не вымолил: дядя Ипат отвечал, что он не был обижен, а значит, и прощать нечего.

Итак, дядя Ипат медленно ехал по главной улице, направляясь прямо к буфету. Против буфета он остановил коня и закричал своим ужасным голосом на всю округу:

— Эй, Севастина!

Молоденькая буфетчица пролезла под стойкой и вышла на улицу, а дядя Ипат, не сходя с коня, протянул ей деньги, рубль с копейками, и попросил принести ему шапку с ушами и кружку пива. Ошеломленная невиданным нахальством дяди Ипата, который даже не счит нужным самолично войти в буфет, бывший также и магазином, Севастина взяла деньги и не нашлась, что сказать.

— Шапку я тебе дам, дядя Ипат, — сообразила она уже в дверях, — а пиво... Ты же прекрасно знаешь, что у нас не бывает пива.

— Не может быть, чтобы не было пива, — убедительно ответил дядя Ипат. — Как же это, буфет да без пива?

Севастина даже рот раскрыла от такой старорежимной наглости и пошла к себе. Человек, который вынес дяде Ипату шапку и бутылку сладкой водички, был все тот же Буфтя, и вот именно это я откликаюсь понимать. Дядя Ипат принял из рук Буфти то и другое, шапку нахлобучил на голову и усталился на Буфтю, открыто посмеиваясь.

— Если нет пива, и водичка хороша, так, Буфтя? Ты что пьешь?

— Я пью вино, Ипат.

— Что ж, дело доброе, но, знаешь ли, в такую жару кружка пива со льда лучше бочки вина. Я только удивляюсь, почему в нашем буфете нет пива.

— Да когда ж оно было? — удивленно воззрился на него Буфтя.

— То есть как? Неужто никогда не было? В этом доме, который называется буфетом, так-таки никогда не продавали пива?

— Продавали... В корчме у Никанора. А теперь?.. Не знаю.

— Видишь, Буфтя, как оно получается... Во времена Никанора человек, если ему было жарко, мог побаловать себя кружкой пива, а теперь, во времена Севастины, не может. Почему же он не может, позволь спросить тебя? Может быть, не хочет, а, Буфтя?

— Как же хотеть, если его нет? — совсем потерялся Буфтя, глядя на дядю Ипата снизу вверх. Оба помолчали.

Потом дядя Ипат продолжал:

— И еще кой о чем я спрошу тебя, Буфтя. Вот если бы, допустим, пиво было, выходит, что встретиться здесь, в буфете, мы бы с тобой обязательно пропустили по кружечке, так?

— Откуда мне знать?

— Ясно, неоткуда. Но почему же во времена Никанора, столько раз натыкаясь на тебя здесь, я с тобой ни разу не пил?

— Важничал, значит... Ты богаче был.

— Разве у меня было больше земли?

— Да нет, не в том дело...

— Вот я и спрашиваю: почему тогда я с тобой пить бы не стал, а теперь, пожалуй, пришлось бы?

Дядя Ипат пользовался в селе репутацией человека себе на уме, и случалось, что его не понимали, и уж Буфтя на этот раз точно не понял, что хотел сказать дядя Ипат, однако до него все-таки дошло, что ему пора обижаться, и он обиделся, и, люди говорят, именно с того дня он решил рано или поздно доконать дядю Ипата. Впрочем, он взял у него пустую бутылку и вернулся в буфет, а дядя Ипат поехал своей дорогой. Конь по-прежнему шел шагом.

Другие говорят, что Буфтя обождал, пока дядя Ипат уедет достаточно далеко, и потом бросил бутылку ему вслед, ругаясь по-черному:

— Погоди, попадешься мне, кулацкое отродье! Я тебя заживо съем! Слыхали? Он со мной пива не станет пить! Так, значит? Еще посмотрим, кто с кем пить не станет!..

В конце концов вышло по-буфтиному, потому что дядя Ипат стал ничем, а Буфтя выбился в кладовщики, и теперь он, конечно, с дядей Ипатом пить не может. Он даже с бывшим председателем Рэчилэ не пьет, хотя именно Рэчилэ при всех его ошибках поставил в свое время колхоз на ноги.

Оставив Буфтю возле буфета изрыгающим мерзкую ругань, с поднятым кулаком и пустой бутылкой в другой руке, дядя Ипат направил коня к околице, а оттуда еще дальше, к своему вишневому саду. Я уже говорил, что дядя Ипат всегда был человеком со странностями. Вот и с садом та же история. Прочие крестьяне возделывали на своих гектарах пшеницу и кукурузу, ну, еще виноград, и только дядя Ипат занял большую часть своего надела вишневым садом. Бог его знает, почему ему так нравились вишни, но он, бывало, дневал и ночевал там, переходя от деревца к деревцу, поглаживал молодые стволы своей корявой ладонью с

потрескавшимися мозолями, вечно серой от возни с землей; временами он принимал к молодым вишенкам ухом и словно что-то подслушивал. Люди, случалось, спрашивали с насмешкой:

— Что они говорят, Ипат, твои вишни?

И дядя Ипат, оторвавшись от дерева и распрямившись, отвечал:

— Говорят, что ты дурак, братец, потому что вместо дела болтовней занимаешься. И знаешь, я с ними согласен...

В те ясные послепополуденные часы, которые бываю только в начале лета, почти все крестьяне работали в поле, так что многие видели своими глазами, как он медленно ехал в сторону сада, и одни, приложив ладонь козырьком ко лбу, сразу узнавали его, а иные издали не узнавали и спрашивали друг друга, что за человек едет по дороге в шапке-ушанке, точно его не палит безжалостный зной и торопиться ему некуда.

Конь шел посередине дороги, и за ним катилось желтое облачко пыли, которая, витая в воздухе, оседала на ситцевой в клеточку рубашке дяди Ипата, выцветшей от солнца, но чистой и почти нервной, разве что на локтях в дырах: у него была привычка опираться на локти за столом и опускать тяжелую голову на ладони, уставя глаза в невидимую точку. Тетя Настика, бывало, спросит:

— Что там новенького?

— Где, баба?

— Как где? Там, на том свете, где ты сейчас был.

В таких случаях дядя Ипат отвечал ей улыбкой, немножко вымученной, отчего лицо его приобретало выражение доброты и грусти, слившихся воедино.

— Смотрю на тебя, Ипат, и никак не пойму, что с тобой, о чем ты думаешь. Бог тебя разберет... Все люди как люди, и только ты... Ну вот скажи мне: что на тебя напало с твоим вишневым садом?

Сад вечно служил им поводом для препирательства, с той самой минуты, как дядя Ипат задумал посадить его у себя на холме. Тетя Настика спрашивала в упор:

— Как же так — полтора гектара под сад? Да еще под вишневый! Мало места вокруг дома? Это ж сколько земли пропадает без пользы!

Дядя Ипат хмуро поглядывал на жену и ничего не отвечал. Ишь, думал он, мозги бабы! Он сам купил саженцы, сам отвез их в поле на телеге и сам посадил. По-хозяйски, не торопясь, обстоятельно; ямы выкопал осенью, а сажал весной.

Закончив работу, он перевел дух, закурил и сказал только два слова:

— Так-то, детки...

Не знаю, слышал ли кто-нибудь эти слова и могли ли кто-нибудь слышать, потому что никого поблизости вроде не было, но разговоров вышло много. А может, он и не говорил ничего, просто люди сами придумали это, чтобы объяснить себе странное поведение дяди Ипата, ибо в селе ничто не может оставаться тайной, все должно быть понято и объяснено.

В тот весенний день дядя Ипат вернулся с холма веселее обычного, притом он пел во весь голос так ретиво, что собаки завывали во дворах и люди решили было, что он напился или вконец свихнулся после тех знаменитых побоев, которым приписывали, между прочим, и возникновение самой идеи насчет вишневого сада.

А дядя Ипат будто бы сказал:

— Если я умру, останется кое-что после меня на земле.

И опять те, кто слышал его, разделились на две стороны: одни услышали слово «если», а другие —

«останется». Первые вздохнули, а вторые усмехнулись. И вертешийся там же Буфтя заметил, как бы вспыхивая и возгораясь:

— Глуп ваш Ипат. Потому что если не он, тогда все мы, вместе взятые, дураки, но раз нас больше, мы не можем быть дураками. Какого же черта: он смеется нам в лицо? Кто он такой в конце концов, этот Ипат?

Дядя Ипат внимательно выслушал Буфтя, все так же улыбаясь уголками губ, и только прищуренные глаза выдавали его презрение, так что Буфтя не снес молчания и заговорил снова, обращаясь уже прямо к своему обидчику:

— Почему ты смеешься над нами, Ипат? Или думаешь, что тебя можно считать нормальным человеком, после того как ты лучшую землю загубил под сад, который будто бы останется после твоей смерти? Кому ты хочешь заморочить голову?

— А ты-то чего кипятиться, пузан?

— Я не желаю, чтобы ты называл меня пузаном!..

— Ладно, не буду. Но я хочу понять, почему ты, пузан, сердишься. Да, эти вишни останутся после меня, и люди, проходя по дороге, вспомнят обо мне и скажут: «Вот Ипатов сад...» Что же в этом дурного? Я посадил его, потому что люблю вишни. Не имею права? Или моя земля уже не моя?

— Признай перед всеми, что ты дурак! Зачем тебе столько вишен? Что ты будешь с ними делать? У каждого из нас есть по два-три ствола — кому ты продашь урожай? А если сад не окупится, чем ты будешь жить?

— Но у меня есть еще земля, Буфтя.

— Ладно, а вишни куда? Воробьям отдашь?

Перебранка, верно, продолжалась бы до бесконечности, если б не проходила мимо Никаноровой кормы тетя Настика. Услышав мужнин голос, она врзлась в толпу мужиков и, ухватив дядю Ипата за руку, потащила домой.

— Образумишься ли ты когда-нибудь? Со всем селом ссориться! Хочешь, чтобы опять тебе юшку пустили, как тогда, с попом! Снова целое лето будешь валяться, да?

— Ты пойми, Настика, — пытался втолковать ей дядя Ипат, — они глупы. Они думают, что у человека, кроме брюха, ничего нет. И больше ему жить нечем... Дался им мой сад!

Отец рассказывает, что однажды в юности, когда он пас корову на выгоне, дядя Ипат зазвал его в сад, где некоторые деревья уже плодоносили, набрал горсть вишен и угостил отца, внимательно, с волнением глядя, как он ест.

— Хороши ли, Филимон, вишенки? — спросил он.

— Хороши, дядя Ипат.

— Еще хочешь?

— Если вам не жалко...

Дядя Ипат поднялся с прогретой солнечной земли и, отряхнув штаны, нарвал еще пригоршню вишен, и отец проглотил их за милую душу. А дядя Ипат смотрел на него и ухмылялся.

— Еще хочешь? — спросил он снова.

— Как вам сказать...

И дядя Ипат снова пошел к вишням и на этот раз набрал полный подол рубахи, и отец, управившись и с этой порцией, сказал наконец: «Спасибо, дядя Ипат, хватит». А тот засмеялся и похлопал его по плечу.

— Знаешь, Филимон, когда я был таким же молокососом, у нас на дворе не было ни одного деревца, а у соседа...

Если быть до конца искренним, то я думаю, что дядя Ипат сочинил тогда всю эту историю про вишню соседа и про то, как он мальчишкой мечтал

хоть раз полакомиться до отвала, но это ему никак не удавалось, потому что вишню охраняла здоровенная собака. Я думаю, что таким образом дядя Ипат хотел объяснить людям и самому себе, зачем ему вдруг понадобилось сажать целый вишневый сад, только вишневый и такой большой, и когда много лет спустя мой отец рассказывал эту историю, он рассчитывал поймать сразу двух зайцев: во-первых, убедить слушателей, что дядя Ипат добрый человек, потому что угостил его вишнями, а во-вторых, оправдать его тем, что он мечтал о вишнях с самого детства. И еще он рассказывал, что, когда пришла пора варить варенья, все село кинулось покупать вишни у дяди Ипата, и он торговал ими у себя дома, во дворе, взгромодив на стол весы и несколько килограммовых гирь. Не знаю, говорил отец, дорого или дешево он брал, но раз женщины покупали, стало быть, цена их устраивала.

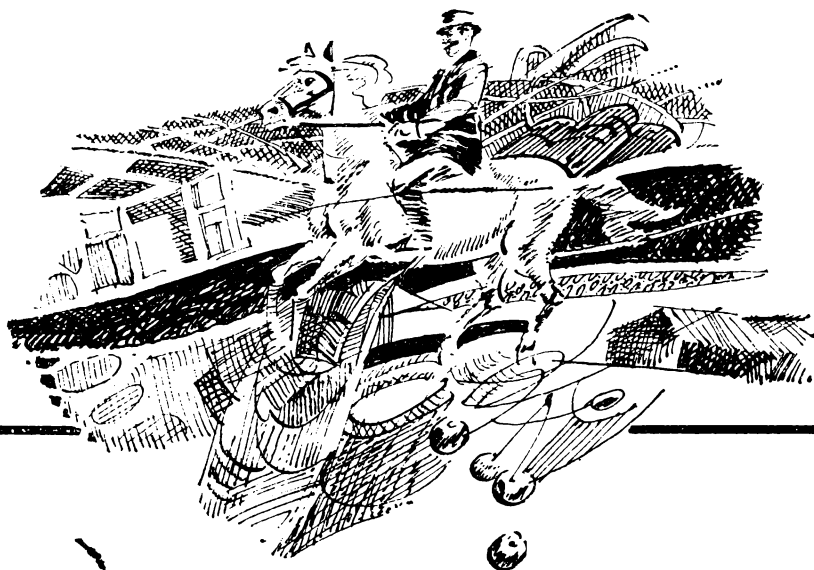
Подлинная же правда состояла в том, что дядя Ипат происходил из довольно богатого рода, у его родителей, по словам знающих людей, было гектаров десять отличной земли, и их вишневый сад занимал чуть ли не треть этой площади, так что навряд ли маленький Ипат мог грезить о соседских вишнях — у него, наверное, и свои поперек горла стояли...

Дядя Ипат, как рассказывают, появился в нашем селе в один прекрасный воскресный день. На нем были черный костюм и новенькая фетровая шляпа, так что иные приняли его за приезжего чиновника или даже барчука, хотя его большие мозолистые руки — ни дать ни взять два черпака, какими выгребают золу из печи, — и загорелое, с резкими чертами лицо никак не выделяли его из множества коренных крестьян. Итак, он прогуливался по нашим улицам, высматривая что-то или кого-то своими прищуренными зоркими глазами, а потом вышел прямо на майдан, где уже разыгрывался оркестр: две скрипки, труба и барабан. День клонился к вечеру, и молодежь сходилась на танцы.

Говорят, что именно в тот вечер дядя Ипат впервые увидел тетю Настикку, и она пришлась ему по сердцу: он не сводил с нее глаз все время, пока играли две скрипки, труба и барабан. Однако танцевать не пригласил. Тетя Настика в девушках была так, ничего особенного: ни блондинка, ни брюнетка, ни красавица, ни дурнушка, с большими темными, как небо перед грозой, глазами, добрыми и точно прячущими свой блеск под ресницами. И еще она носила длинные косы. По-настоящему хорошенькой тетя Настика становилась, когда улыбалась, и то ли ей кто-то сказал об этом, то ли она и сама знала, но улыбалась она почти всегда. Собственно, ее улыбка и очаровала дядю Ипата.

Но, повторяю, в то воскресенье он ни разу к ней не приблизился.

Родное село дяди Ипата лежало на другом берегу реки, но, поскольку река называлась рекой больше для солидности, чем всерьез, соседи встречались довольно часто и считались скорее односельчанами, так что дядя Ипат был для наших не совсем чужак. И все-таки то, что он явился на танцы именно к нам, хотя такой же оркестр и в эти же часы играл в его родном селе, несомненно, должно было нечто означать. Одни знали, в чем завывка, другие только догадывались, но так или иначе на следующий день всему селу было известно, что старый Теринте собрался женить единственного сына и уже нашел ему невесту с приданым, довольно славенькую, на его вкус. Да, в те времена так и женили молодых — по расчету. И еще выбирали по породе и славе, потому что если в роду у невесты случались непутевые бродяги или преступни-



ки, то даже богатство ее не красило. Как говорит старая присказка: и у конокрада деньги водятся, только люди с ним не водятся...

Словом, старый Теринте объявил своему сыну, что пора жениться и уже невеста наготове, не то чтобы царевна-лебедь, но ведь не с лица воду пить и жить не с красотой, а с гектарами, и в этом смысле лучше девушки не найти, потому что за ней дают много земли. На это дядя Ипат ответил презренной прозой:

— Нет, она мне не нравится.

И так дерзко ответил, что старик вскипел. Но на первый раз сдержался.

— Дубина,— сказал он и стукнул кулаком об стол.

И вот родители жениха и невесты сговорились между собой и до того ловко сговорились, что дядя Ипат и оглянуться не успел, как увидел девушку у себя на печи, а по нашим обычаям в таких случаях дело кончено — женись и не валяй дурака.

Именно эта военная хитрость и вывела из себя дядю Ипата. Он прыгнул с печи и, став ногой на порог, повторил: «Нет». После этого он пошел к дому родителей невесты и закричал с дороги:

— Забирайте вашу мурку домой! Мне кошка не нужна — у нас мышей нет!

Выслушав такое надругательство, отец невесты помчался к старому Теринте, плюнул ему в лицо и забрал дочку домой. Ясное дело, старик рассвирепел и принялся бегать по улицам, крича, что немедленно прибудет до смерти своего идиота сына и вообще оставит его нищим. Но дядя Ипат не был бы самим собой, если б испугался угроз и явился домой, посылая голову пеллом. Они столкнулись в каком-то переулке, и старый Теринте поднял руку на сына, а тот возьми да и заломи ее. Большой был шум, но в конце концов старик сдался и позволил дяде Ипату вернуться под родную крышу. Да и что ему оставалось делать?

Однако на одном уперся:

— Земли не получишь.

К тому же у него были две дочки на выданье, а это по тем временам не шутка.

— Не надо мне вашей земли,— ответил дядя Ипат.

Вот почему в тот воскресный день он пришел на танцы к нам в Безенях: решил сам выбрать себе невесту. Кто знает, отчего он положил глаз именно на тетю Настикку. Кому делать нечего, говорят: оттого, что она одна у родителей и, стало быть, все наследство отходило ей. Я не очень верю, ведь тогда ему проще было жениться на первой невесте, она еще и богаче была.

Не дождавшись, когда закончатся танцы, дядя Ипат повернулся и пошел через мост к себе домой.

А, надо заметить, девушка, отвергнутая дядей Ипатом, вообразила, что любит его, и не захотела от него отказываться, тем более что он выставил ее на посмеяние перед всем селом. Конечно, в девках она бы так и так не засиделась, потому что смех смехом, а гектары гектарами, но я представляю себе, как противно, когда на тебя всю жизнь показывают пальцем и шепчутся за спиной: это, мол, та самая, которая в молодости побывала на печке у парня и до того не приглянулась ему, что он удрал из дома. Поэтому, услышав, что говорят люди об Ипате и Настике, она надела лучшее платье и явилась в дом соперницы, начав плакать уже у ворот. Рассказывают, что она голосила, как по мертвому, никого не стыдясь. И отец тети Настики, старый дед Козма, который как раз в эту минуту задавал корм свиньям, выскочил из хлева как ошпаренный.

— Ты что, девушка? — спросил он бывшую невесту дяди Ипата.

Тут она зарыдала еще громче.

— Где ваша Настика, дедушка? — пролепетала она сквозь слезы.

— Дома, где же ей быть?

— Я к ней...

Так, причитая и завывая, она вошла в дом, где Настика возилась у ткацкого станка, и упала на колени перед соперницей и стала умолять ее, чтобы та не шла за дядю Ипата, а иначе — я уж не знаю, что будет — она убьет ее или себя, что ли.

— Но между нами ничего нет,— успокоила ее тетя Настика.— Мы даже слова друг другу не сказали, истинный Христос!

И тетя Настика подняла девушку с пола и поклялась ей, что ни за что на свете не станет дяде Ипату женой.

Теперь об этой истории болтали сразу в двух селах, но дядя Ипат не обращал на сплетни внимания, точно они и не его касались. Каждое воскресенье к вечеру он с ясным лицом являлся на танцы и, по-прежнему не подходя к тете Настике, так и ел ее глазами. Из недели в неделю он бродил по майдану, временами останавливаясь возле музыкантов, но где бы он ни стоял, его упрямые глаза, из которых проливались лучи терпеливой любви, были так неотступно устремлены на тетю Настикку, что однажды она, еле сдерживая гнев, первая подошла к нему.

— Ипат,— сказала она,— ты разве не знаешь, что я поклялась? Не слышал об этом?

— Слышать слышал,— спокойно ответил дядя Ипат, не опуская перед ней глаз,— но, по правде говоря, я не верю.

— Ипат, ищи другую,— сказала тетя Настика и отвернулась от него.

Но он так и остался стоять, где стоял, и выражение его лица ничуть не изменилось — даже тень сомнения не омрачила его. Тогда-то все и поняли, что никуда тетя Настика не денется, а рано или поздно пойдет за него.

Когда к деду Козме явились сваты из дальнего села, она было решила принять предложение со стороны, лишь бы избавиться от настырных глаз самозванного заречного жениха. Дядя Ипат как раз в тот день был в Безенях — старый Теринте послал его к Игнату-ковалю починить плуг или борошу: на дворе уже стояла зима, а сани хороший хозяин, как известно, готовит летом. Буфтя утверждает, что он лично принес на хвосте эту интересную новость в кузницу, чтобы попортить дяде Ипату кровь. И дядя Ипат глянул в его ехидные буркалы и спросил:

— Правда?

Буфтя ответил:

— Лопни мои глаза!

— Убирайся,— промолвил тогда дядя Ипат и, подумав несколько времени, закричал: — Что, Игнат, готов плуг?

А коваль ему:

— Куда спешить, Ипат?

— Я спрашиваю, готов плуг или нет?

— Нет, Ипат, не готов. Я простой цыган, и у меня не десять рук, а только две...

— Ха, две! Работал бы, как я, волынить некогда было бы.

— Нет, Ипат,— с достоинством ответил кузнец,— я не раб никому, тружусь по своей силе и в свою охоту...

Цыган знал, что говорит, когда произносил слово «раб», потому что дядю Ипата кое-кто называл рабом старого Теринте. Он и впрямь работал за семерых, и его отец, нанимая людей на прополку

или косовицу, ставил Ипата впереди и говорил наймитам:

— Держитесь за ним. Сколько сделает он, столько и вы должны сделать.

И многие возмущались, потому что редко кто мог угнаться за дядей Ипатом.

Но в тот день он даже не заметил намеков кузнеца, у него появились свои планы.

— Так я завтра приду за плугом?

— Ладно, Ипат, завтра,— ответил цыган и белоzubо ухмыльнулся: он тоже понимал, куда торопится дядя Ипат.— Завтра...

И дядя Ипат вышел из кузницы и побежал, проваливаясь в глубоком снегу, и когда он прибежал к воротам деда Козмы, лицо его пылало и дыхание пресекалось. Дрогнувшей рукой он постучал. Может быть, он и сам бы открыл ворота и вошел во двор, а затем потянул бы на себя дверь и очутился в сенях, а там и в комнате,— но именно в ту минуту до него донесся из дома густой мужской голос, распевавший «Многая лета», и здравницу тут же подхватили другие голоса, и тогда дядя Ипат поднял глаза и увидел сияющие окна казарм, и понял, что сваты еще в доме.

Я не могу объяснить себе, с чего вдруг на дядю Ипата напала застенчивость или робость, но он оставил ворота в покое и прилип к забору, обхватив пальцами колья, и неотрывно смотрел в сторону дома своей возлюбленной. Буфтя, который, конечно же, кстати оказался неподалеку, долго упивался торжеством, глядя, как дядя Ипат стоит, словно врытый в землю, и как ложится на него пуховый снег. Потом он спросил, скроив удивленную рожу:

— Ипат, ты что здесь делаешь?

Дядя Ипат не ответил, давая головы не повернул, так что Буфтя наконец оставил его в одиночестве подпирать ограду, а сам отправился домой. Но это только один вариант происходившего. Согласно другому, тоже Буфтиному варианту, он, Буфтя, притаился поблизости и стал наблюдать за дядей Ипатом, который неподвижно стоял у ворот деда Козмы с искаженным от душевной муки лицом, обращенным в сторону сияющих окон, откуда доносились песни и смех. Верно, дядя Ипат воображал, как приветливо тетя Настика угощает сватов, как она радуется, что вскоре уедет в другое село и таким образом сдержит слово, данное бывшей невесте дяди Ипата... Но, я думаю, как раз в те часы тетя Настика начала по-настоящему жалеть, что отвергла его любовь. Она, наверное, соображала: ладно, выйду я замуж за чужого парня... А как же Ипат? Он-то в чем виноват? Неужто ему жизнь страдать только потому, что я в минуту слабости дала опрометчивое обещание? И потому, что выигрывает от этого та, «мурка», как прозвал ее Ипат?... И тетя Настика до крови закусывала нижнюю губу, искоса поглядывала на гостей, на родителей и странно улыбалась.

Потом улыбка исчезла с ее лица. Свирепая метель кинулась на село с неба, и в диком кружении снежных вихрей дядя Ипат едва угадывал светящиеся пятна окон и только крепче стискивал зубы, так что даже челюсти немели, а руки его, замерзшие и красные, как рачьи клешни, влажные от таявших на них снежинок, все сильнее сжимали колья ограды.

— Посмотрим еще,— бормотал он сквозь зубы.

Буфтя, который трепался потом о сумасшедшем упрямстве дяди Ипата, будто бы не выдержал разбушевавшейся стихии и ретировался в стоявший напротив дом Кирилы Пилата, и будто бы означенный Кирила позволил Буфте отогреться на печи,

после чего он стал снова подглядывать, но уже в окошко.

Вот что рассказывала спустя несколько лет своим подругам тетя Настика:

«Как-то в воскресенье поздней осенью, когда по утрам уже был иней, приходит к нам тетя Лисавета и еще от ворот зовет отца: Козма, слышишь, Козма! А он ей из дома отвечает: да, Лисавета, слышу, уже иду... И стали они шептаться у ворот, только я ни слова не разобрала, потому что мама на кухне гремела горшками, а потом тетя Лисавета убежала.

Надо вам сказать, что мой отец ничего не имел против Ипата. Такой уж он был—верил, что все люди честные и добрые, и не расстраивался, что старый Теринте не даст Ипату ни клочка земли, потому что, говорил он, я—единственная дочь и все равно унаследую движимое и недвижимое, а Ипат—парень работающий и землю не испортит, не загубит. Одним словом, как только тетя Лисавета ушла, отец заглянул ко мне в комнатку и говорит:

— Послушай, Настика, я слышал, да что там слышал, сам не слепой... Я видел на нашей улице сына старого Теринте, так скажи по совести, что ты о нем думаешь?

Я, наверно, стала с лица, как буряк.

— Ничего,— говорю,— не думаю. Мне не нравится, что он выгнал нареченную невесту.

— Так-то оно так, а что бы сказала ты, если бы тебя неволей замуж отдавали?

— Я бы вас послушалась.

— Так? Ладно... Что ж, ступай к тете Лисавете и принеси топор.

— А у нас нет разве топора?

— Затупился... Ступай.

Я знала, что отцу не очень хочется выдавать меня за парня из чужого села, будь он хоть семи пядей во лбу, но что ж мне было отвечать?

Прибралась я в чистое, надела туфли и пошла к тете Лисавете. Только на улицу, глядь—Ипат. Дорогу заступил, руки раскинул. Он стоял прямо посередине дороги, и мне никак нельзя было его обойти. Остановилась я, посмотрела ему в лицо, и мне причудилось, что он каменный, право слово, как Христос на погосте. Я чуть не закричала со страху.

— Ипат,— говорю,— дай мне пройти.

Он отошел и прислонился к забору.

А тетя Лисавета у ворот меня ждет и смеется—и зубы у нее белые, блестящие, как у лисицы. Взяла меня под руку, повела в дом. Я говорю:

— Отец за топором прислал...

А она—толк меня сзади, так что я ввалилась в комнату,—и дверь закрыла. Смотрю: стоит передо мной парень, высокий, ладный... Что мне показалось странным, так это то, что я не оробела, даже не покраснела ни чуточки, точно не с чужим мужчиной стою, а с кем-нибудь из вас.

А он говорит:

— Я—Георге.

Села я на лавку и молчу. И, признаться вам, так и подмывает меня прыснуть: он был—и словно его не было.

Сел и он напротив меня. Молчим оба. Вижу, он краснеет, мнется. А, думаю, стерпит—слюбится. Встала с лавки и говорю:

— Пошла я. Отец ждет.

Тетя Лисавета проводила меня до ворот, подала топор и сказала:

— Настика, держись за него—золотой парень! Не пьет, не буянит... Тихий, как девушка.

Я только посмеялась про себя: зачем такой муж в доме?

Так вот, помните ли вы ту страшную ночь с метелью и снегопадом, когда приехали меня сватать? Про снег я говорю к тому только, что сваты из-за выюги не смогли уехать и остались ночевать у нас. Отец принес душистого сена, раструсил по полу, настелил сверху коврики и дорожки, и они легли спать, выпив еще по стакану вина. Веселые были гости, и я тоже радовалась, что день свадьбы назначен и что я избавлюсь наконец от вечных глаз Ипата. А отец нагрузился так, что уже на ногах плохо стоял, да ему по старости немного было нужно. Ухватился он за маму обеими руками и говорит мне:

— Глупая ты, дочка.

И пошел спать. Я тоже легла у себя, но сон меня не брал. Грустно стало, жалко, что придется ехать куда-то, что уже не доведется мне полежать в уютной постельке, дышать родным воздухом... И еще неизвестно, каково-то мне будет там, среди чужих, даже рядом с тихим мужем. Я думала: до чего же ты, Настика, переборчива! Чем тебе жених плох? Ведь Ипата и сравнить с ним нельзя — настоящий каменный идол. А за стеной отец кашляет, сваты в касе маре храпят, и тепло мне и страшно... Ну, дело сказать, уснула.

Вдруг вскакиваю вся в поту, дрожу, зуб на зуб не попадает... Ипат мне приснился. Будто бы день на дворе воскресный, и на майдане яблоку упасть негде, и я стою с вами, а Ипат вдруг подходит ко мне, останавливается в двух шагах и спрашивает загробным голосом:

— Не пойдешь за меня, Настика?

— Не пойду, Ипат.

— Еще раз спрашиваю: не пойдешь за меня, Настика?

— Не пойду, Ипат.

— В последний раз спрашиваю: не пойдешь за меня, Настика?

И он начинает расстегивать пуговицы на сорочке, только расходится не сорочка, а грудь, и я вижу, как внутри у него горит сердце, и пламя уже лижет все тело, а народ — в стороны, и страшно терзается горящий Ипат. Тут я и проснулась от своего крика, но никто больше не услышал: и сваты, и родители спали мертвым сном, — набросила я отцовский кожух, ноги — в мамины галоши, и — бегом на крыльцо:

— Ипа-а-ат!

А он шепчет:

— Я жду тебя, Настика, я здесь...

Я — к воротам, а снегу по пояс, ну ничего, долезла. Схватила его за руки, стала дышать на них, кожух на него накинула... А он и впрямь что каменный, белый-белый!

Я ему:

— Ипат, миленький, двигайся!

Смотрю, он открыл глаза и улыбается — вот идолище!

Я дверь отворила, втокнула его в сени, побежала за отцом, потому — одной не справиться. Отец ничего, сразу встал, ввели мы Ипата в комнату, и отец ему говорит:

— Сумасшедший ты... И отец твой сумасшедший, и ты такой!

Я сбегала во двор, принесла в тазу снега. Начали мы Ипата оттирать. Оттерли — он застонал и встал. И знаете, что он сказал первым делом?

— Я в своем уме, папаша.

Я стояла рядом с отцом, и отец повернулся, поглядел на меня и говорит:

— Дура девка.

А Ипат ему:

— Нет, она ничего... Дело сказать — поумнеет.

— Я и тебя слушать не хочу, — говорит мой отец. — Садись за стол. А ты, Настика, надень платье и принеси цуйки, той, что покрепче.

Я принесла им пол-литра, и отец спросил Ипата:

— Ей остаться с нами?

— Не знаю. Дочь ваша.

— Нет, отныне она жена твоя. Слышишь, Настика?

— Слышу.

— И что скажешь?

Господи, еще спрашивает! Ведь я полюбила Ипата с первой минуты! С первой минуты он, как тень, стоял передо мной...

— Скажу, что все правильно.

— Слышал, парень? Молодец дочка. Зачем тебе тот чужак? Не пьет, не курит, не скандалит — что тебе с ним, подушки вышивать?.. Ты понимаешь, что я хочу сказать?

— Понимаю.

— Тогда лады. Слышь, Ипат, забирай ее... Таковую ведь ни один черт не возьмет. Можешь сесть, Настика.

Я села, и отец налил цуйку в три стакана и сказал:

— В добрый час. Живите в согласии.

Мы выпили. Начинало светать, и отец велел мне разбудить сватов. Пока я их добудилась, пока они продирали глаза и одевались, мама накрыла на стол. Она уж давно встала, да боялась голос подать. Короче, сели все, отец опять налил цуйку в стаканы и говорит:

— Люди добрые, я вот о чем вас прошу... Не сердитесь, потому что моя дочка... того, да... Считайте, что мы не сговорились. Она идет вот за него, за Ипата. Передайте кому надо, и... будем здоровы!

Сваты, старик лет шестидесяти и двое парней, так и застыли. Но стаканы уже были подняты, и не пропадать же цуйке. Они и выпили. А отец сказал еще:

— Не спрашивайте ни о чем. Ваш парень — хороший парень, и хозяином будет хорошим... Так не взыщите, найдет он себе другую невесту».

...Точно ли так или немного по-другому все это произошло, я теперь не могу сказать с полной уверенностью. Но Буфтя подтверждает, что видел, как тетя Настика бежала по снегу к воротам и как она набросила на Ипата отцовский кожух, а потом, говорит он, смотреть стало не на что, и он обулся и пошел себе спать...

А сейчас я возвращаюсь к тому дню, когда мои двоюродные братья Ликэ и Костаке пришли ко мне и сказали в один голос:

— Владик, пошли наворуем вишен.

— Вишен? — спросил я. — Каких вишен?

— Из Ипатова сада.

Я подумал. Напоминаю, что это было довольно много лет назад, когда я еще не умел думать долго.

— А вы уверены, что они уже созрели? Вы хоть были там?

— Спрашиваешь! — обиделись они.

Словом, отправились. На улице — ни души. Встретился нам только Григоре, сын дяди Ипата, который, насвистывая, шел домой. Мы на всякий случай поздоровались с ним, и он, не прерывая свиста, ответил нам небрежным кивком.

Мы болтали и баловались, совсем забыв о подстерегавшей нас опасности. Но она сама напомнила о себе.

Там, где дорога выбегает из села, мы увидели

Буркэ, парня старше нас и сильнее. Он объявил эту дорогу своей и сказал:

— Кто здесь ходит по дороге, я тому ломаю ноги.

И хотя нас было трое, а он один, каждому в отдельности могло достаться от него под завязку, так что, маленько поразмыслив больше для форсу, чем всерьез, мы повернули назад и пошли в обход.

Теперь мы шли молча, избегая смотреть друг на друга. Даже вишен уже не хотелось, как раньше. И тут Ликэ вдруг остановился и сказал:

— Вы как хотите, а я все-таки пойду той дорогой.

Ликэ был прав: рано или поздно кому-то надо было проучить Буркэ, а Ликэ был храбрее меня и Костакэ, хотя старше только на год. Была и еще причина, лично задевавшая Ликэ: его отец работал пастухом, и надо было иногда носить ему обед, а Буркэ не разбирал, где игра а где дело.

Как-то раз мать послала Ликэ к отцу с узелком, он побежал, глядя — Буркэ навстречу.

— Кто здесь ходит по дороге, я тому ломаю ноги!

Ликэ торопился, ему надо было застать отца в летнем загоне, и он стал просить:

— Пропусти меня, Буркэ, а я тебе дам пять копеек.

Он их на дороге нашел, эти пять копеек.

Но поди поговори с дураком!

— Кто здесь ходит по дороге, я тому ломаю ноги!

Выхода не было, и мой брат, колеблясь, шагнул вперед. Буркэ расставил ноги пошире, упер руки в бока и стал ждать. Ликэ вправо — и он вправо. Ликэ влево — и он влево. Ликэ прямо, а Буркэ ему — кулаком под дых. Тут Ликэ согнулся пополам и выронил узелок. А Буркэ подхватил узелок и — через ограду его. Еще и расхохотался. Так и остался мой Ликэ сидеть в пыли, размазывая по щекам слезы.

— Кто здесь ходит по дороге я тому ломаю ноги! — сказал Буркэ и удалился.

Ликэ встал, отряхнулся и одним духом домчался до загона. Отец, дядя Ирофте, уже сердился, дожидаясь его. Увидев заплаканное лицо сына, он спросил:

— Что с тобой?

Ликэ рассказал все как было, дядя Ирофте пристально посмотрел на него и хмыкнул:

— Мда... Что же я теперь есть буду?

Короче говоря мы все трое вернулись на прежний путь и уже почти миновали дом Буркэ, как вдруг услышали:

— Кто здесь ходит по дороге, я тому...

— Я хожу! — выступил вперед Ликэ. — Они будут в стороне, а я пройду. Я не боюсь тебя.

Буркэ, зловеще посмеиваясь, занял позицию. Он был головы на две выше моего брата и раза в полтора шире.

Ликэ медленно пошел на него и, приблизившись на расстояние шага, вдруг молниеносно вытащил руку из кармана и чем-то ткнул Буркэ по голове. То есть не чем-то а камнем, только мы с Костакэ не заметили, когда он подобрал его.

Буркэ схватился руками за голову, но кровь уже текла по его лицу и рубашке. Мы с Костакэ в ужасе бросились к Ликэ, схватили его за руки и потащили назад, сопровождаемые истошным ревом перепуганного Буркэ.

Ликэ был бледен, но спокоен.

— Еще раз сунется — убью на месте, — сказал он. И усмехнулся: — Пойдем за вишнями завтра. Договорились?

— Ладно, — ответили мы и разошлись по домам.

Вечером мой отец вернулся с работы поздно. Он позвал меня на двор и спросил:

— Ты тоже был с Ликэ?

— Да, — кивнул я.

Он молча уставился на меня, затем врезал так, что у меня звезды из глаз посыпались. Я не заплакал. Он снова помолчал, а потом сказал:

— Иди помоги маме.

Голос у него был, не знаю почему, добрый.

В этот вечер он рассказал мне, что до Буфти кладовщиком у нас был дядя Ипат. Прежде кладовщики менялись чуть ли не каждый год, и тот, которого он сменил, Григораш, тоже проворовался. Он говорил, что отпускал продукты детскому саду, но квитанций не нашлось...

Узнав, что дяде Ипату вручены ключи от склада, многие решили, что Рэчилэ хотел таким образом откупиться от него, дать ему, как говорят, жирный кусок, лишь бы он молчал на собраниях; другие, наоборот, напоминали, что дядя Ипат не из тех, кто продаст душу за теплое местечко. Кладовщиком, считали они, он назначен именно потому, что Рэчилэ надоело ловить его предшественников на недостачах и отдавать одного за другим под суд. Не так-то прост был Рэчилэ, он убивал сразу двух зайцев, то есть одного, по крайней мере, убивал точно: если бы и дядя Ипат проворовался, люди конечно, изменили бы свое мнение о нем, а Рэчилэ мог бы сказать: «И этот меня критиковал». А если бы у дяди Ипата все пошло на лад, то еще лучше, потому что с кладовщиками нашему колхозу и впрямь не везло.

Я слышал однажды, года два назад, как отец рассказывал про дядю Ипата. Это было в курительной яме, на току. Я тоже работал там, а отец пришел не помню по какому бригадирскому делу, и кто-то что-то спросил его про дядю Ипата, который давно уже не казал носа из каменного карьера, а людям снова хотелось послушать историю про коня и другие истории — ребята были молодые и многого не знали. И вот что поведал мой отец между двумя сигаретами.

«Вы спрашиваете про Ипатов коня... Ему тогда было... Ну да, в самой, стало быть, поре и зубы все на месте, я ведь по зубам его годы считал... Ладно, знаем, дареному коню... Но ведь Ипат не дарил его мне, чтобы я, скажем, распахал огород возле дома, нет, он отдал его в колхоз, как сказал Рэчилэ, который мне передал через Буфтию, что, мол, так и так живой или мертвый, я не должен отлучаться от конюшни, потому что Ипат приведет коня и его надо принять и приготовить место.

Буфтя, надо вам заметить тот самый, который теперь заведует складом, прикатился ко мне домой и еще у ворот замахал руками, чтобы я пулей дул в конюшню и дожидался там Ипата с конем. Моя жена (мы только поженились) как раз накрыла на стол и позвала меня есть. Но вы же знаете наш народ: прикажи — летит, не разбирая дороги, все бросает... я и сам такой. Сказал я бабе, чтобы ела одна, и побежал. Вы еще примите в расчет, что вот приехал бы Ипат в конюшню — и то, не вести же коня в поводу хоть он уже и колхозный, — а меня на месте нет. Каково это? Вы сообразите: человек отдает родного коня в колхоз, а конюшня на замке и некому даже квитанцию выписать. Не свинство ли? Свинство большой руки. Я-то знаю что значит расставаться с конем. Я всю жизнь был бедняком и коней не держал, но собака все-таки была в доме, и когда Буфтя застрелил ее на шкуру, вы сами видели, как я бегал по селу с пеной у рта, и пусть Буфтя благодарит бога, что он мне тогда не попал-

ся, потому что я за себя не отвечал... И так вот взять коня, которого ты сам вырастил смалу, с которым вместе трудился в поле, с которым свылся, как с женой,— и собственными руками отдать его! И знать, что все, конец, он уже никогда не будет твоим... Легко, по-вашему? Тяжело...

Я вижу, вам охота смеяться. Смолите этот вонючий табак, а в заднице у каждого по иголке сидит... А чего бы вам ржать? Забыли, все забыли... Да и не знали никогда... Дай-ка закурить, ты, рыжий... Что куришь? «Нйстру»? Хорошие сигареты, десять копеек пачка. Сестра присылает из Кишинева, да?

Так что, бишь, я говорил? Ну вот, пустился я в конюшню, крошки с утра не перехватив, потому что принять коня — дело, в общем, нехитрое: человек отдаст тебе уздечку, ведешь коня в конюшню забираешь в стойле... так? Не мог же я знать что у Ипата черт в башке сидит. Он же не как люди. То есть я вроде знал, но тогда у меня из головы вылетело. Он сдас, я приму — что еще? Теперь-то понятно, что я должен был припомнить все его выходки и ждать терпеливо и с опаской. С чего я, собственно, взял, что он так просто возьмет и приведет коня? Буфтя сказал? А что понимает Буфтя?

Словом, бегу я по улице и вдруг вижу — едет Ипат верхом, неизвестно откуда и неизвестно куда, босой и в ушанке. А я тогда был молод и глуп: сунулся прямо в душу человеку, когда он прощался... Ну, да, в последний раз сидел на своем коне... Едет он шагом и смотрит вот так, сверху вниз и что, вы думаете, делает? Смеется. Можете мне не верить, но он смеялся. Только что это был за смех? Излишнее, а не смех... Знаете, когда человеку не по себе... Я думаю, ему впору было плакать, но вы же знаете его спесь, он хотел всем показать, что ему не больно. А я был молод и глуп, да еще разозлился, что бегу не поевши, а он смеется... Я возьми да и бухни:

— Скоро ли коня приведешь, дядя Ипат?

— А что, сынок, спешить? — отвечает он. Мирно отвечает по-доброму.

Словно боялся, что я его бить буду.

Тронул поводья и поехал дальше, все тем же шагом, снова скривив лицо в улыбку.

Что мне было делать? Повернул я домой и побрел по дороге, думая про Ипата и про то, как мужики прибили его до полусмерти, чтобы не дразнил попа. Прибить-то прибили, а осилить не смогли: он оправился и опять за свое взялся, словно и не знал, что его прикончить могут, а люди поняли, что если на первый раз он простил, то на другой не простит, и коли снова выйдет живым, так и зарежет конечно, не всех сразу, а поодиночке... подстерожет ночью и сунет нож в брюхо. И вот я думал о нем и проклинал свою дурость и дурацкий свой вопрос, и тоска меня казнила без жалости. Я говорил себе: эх, Филимон, зачем тебя мать на свет родила дурака такого! Нет чтобы утешить человека — ты ему еще соль на раны сыплешь... И когда я пришел домой, еда не пошла мне в горло, и я спустился в погреб и пил там вино, пока не утопил тоску.

Дай-ка закурить, ты, волосатый! Отчего не стрижешься? Что за люди пошли, господи! У того борода, у того волосня, как у девки, а у третьего и борода и патлы хоть в алтарь его ставь заместо батюшки Даниила... Гляньте, что он курит! Почему пачка? Сорок копеек? Это каждый день по сорок копеек на куруво? Ну, ясно, где же тебе ходить к парикмахеру! Так вот отчего не выполняет план наш татарин Ахмед... Или гагауз? Кто он там? А? Как ты сказал? Да ладно, бог с ним и с его нацией. Я слышал, он хочет смыться от нас. Будто кто-то обещал его побить, оттого что он прошел и не

поздоровался. Кто? Буфтя? Не смешите меня. Дожил Буфтя — и его кто-то боится на этом свете. Вот не знал. Передайте Ахмеду, пусть встретит Буфтю где-нибудь на задворках и отдерет как сидорову козу. И пусть не тревожится, что он не из наших, мы ему еще похлопаем на собрании.

Вот, напомнили про Буфтю. Знаете, что сказал мне однажды Ипат?

«Филимон, ты думаешь, я против? Ты думаешь, я не хотел идти в колхоз, потому что мне власть не нравится? Ну, глупости. Разве нужно было, чтобы Рэчилэ десять раз таскался агитировать мэня, как он выражается, в коллективное хозяйство? Он мой друг. Мы с ним в одной роте на фронте были, и когда начинался налет, я ложился вот здесь, а он — в двух шагах от меня. Ты еще пацаном был, когда мы обещали друг другу держаться все время вместе. И теперь я тебя спрашиваю: кто вынес Рэчилэ из-под пуля, когда его ранило в ногу? Да мало ли что еще было. Я не стану всего рассказывать, чтобы ты не подумал, будто я хваюсь, что был другом Рэчилэ, а теперь, когда он председателем хочу попользоваться этим. Пусть председательствует: мужик дельный и голова на плечах есть. У меня к нему другая претензия. В сорок седьмом нас демобилизовали, и мы вернулись домой и Рэчилэ стал председателем... И вот тут я тебя и спрашиваю... ты слушай, слушай внимательно: зачем в колхоз взяли Буфтю? Зачем Рэчилэ вылезал на трибуну и оттуда, сверху, показывал на Буфтю и ставил его нам в пример? Люди отворачивались и смеялись над Рэчилэ. Да что, на него куриная слепота напала? Или из ума выжили, обабилась? Ведь что нес! Люди добрые, товарищи социалистические крестьяне, поглядите на Буфтю, он, бедняк телом и духом, первый вступил в колхоз, отдал все, что имел, и вы с него пример берите!.. И почему, когда люди животки надрывали, слушая его, Рэчилэ даже не покраснел? Так и жал на все педали: Буфтя-Буфтя, Буфтя-Буфтя... Кто такой Буфтя? Гнида, лизоблюд! На что жил Буфтя при боярах? Скажешь, трудился? Ни черта. Разве он умел когда-нибудь трудиться? Ведь у него была земля, так он разбазарил ее, продал по десятине, по две... А чем кормился? Тем, что подбрасывал ему начальник жандармского поста, чтобы он доносил кто что говорит. Это все знали... Ты думаешь Филимон, я не понимаю как вышло что меня побили из-за батюшки Даниила? Ни с того ни с сего взяли и побили? Ха, очень их волновали мои дразги с попом! Также мне... благочестивые прихожане! Если они такие верующие, почему когда церковь заколачивали, все как воды в рот набрали? Ни один ни пикнул. Потому что бог у наших мужиков не в храме, а в брюхе, так уж они привыкли. А видел ты, чтобы они крестились перед сном? Нет, забывают. Как же вдруг они все собрались и побили меня? Кто их научил? Сказать? Начальник поста. А откуда он знал про поповские обиды? От Буфти. Буфтя ему все доложил как полагается: так, мол, и так Ипат издевается над святой верой в лице отца Даниила. И что же сделал начальник поста, узнав об этом? Расколотался. Потому что он был такой же верующий, как я и ты. Ты меня слушай, я знаю что говорю. А почему он все-таки велел меня побить? Да потому, что если я смеялся над попом и над верой, значит смеялся и над ним, начальником поста, который был одно с попом и режимом. Церковь нас обманывала, а режим — вдвое. И как же рассудил начальник? Ведь слов нет, он был башковитый пес не то что Буфтя. И вот он сказал себе: «Ипат не смеет ругать режим, потому что, наверное, боится». Но он ругает попа и таким образом косвенно сме-

ется над режимом и надо мной лично. Смекаешь? Куда гнет, а где разгибается! Он мог вызвать меня в старостат и там пустить мне юшку или приказать своим живодерам переломать мне кости. Но, я повторяю — он был не дурак. Не с руки ему было бить меня — что сказали бы на это в селе? Соображаешь? И он поступил умнее: дал Буфте денег за донос, а потом еще добавил, чтобы он, Буфта, нашел людей, которые ради рюмки водки истопчут меня ногами. Вроде до сих пор все правильно, да? Но Буфта дурак и дураком останется до смерти. Нечего ему было самому соваться в дело. Я ему еще тогда сказал:

— Буфта, это от тебя ниточка тянется.

А он меня сапогом вот сюда. Может, я бы и не был так уверен — но на другой день люди, которые меня били, все, кроме него, приходили поодиночке и извинялись: дескать, пьяны были не ведали, что творили. И я простил их, Филимон. А Буфта не пришел, но если бы даже и пришел я его не простил бы. И люди рассказывали, как Буфта поил их водкой и говорил (опять же дурак Буфта), что начальник поста сделает вид, будто ничего не видел и не слышал.

А теперь я еще спрошу тебя, Филимон. Был Буфта на фронте? Почему не был? Плохо видит! Рассказывай!.. Война кончилась — сразу прозрел, соколом воспарил. От рождения близорукий? Как же он разглядел меня ночью, в буран, когда я ждал у ворот Настика? Он хотел выставить меня на помешнице, только вышло по-моему, а не по его. Буфта рассчитывал, что люди сочтут меня дураком, способным сменять богатство и хозяйство на девичью ласку. Разве не глуп такой человек: оставить гектары, коров, свиней — и за что? За любовь! Как будто не все равно, что Настика, что другая баба!.. А вышло все-таки не по-буфтиному, потому что люди меня одобрили — они тайком от себя верят в любовь.

Теперь ты понимаешь, какие у нас счеты. Ко мне лично Буфта ничего не имеет, но ему противны все, кто держит голову прямо. Он гордых людей на дух не выносит, потому что сам всю жизнь ходил на четвереньках и хотел бы, чтобы у всех был такой же горб на спине. А у кого спина прямая, тех он ненавидит и, когда может, ставит подножку если не так, чтобы свалились замертво, то чтобы хоть согнулись. Да черт с ним!.. Вот почему меня прямо тошнило, когда Рэчилз на собраниях начинал его навешивать: поглядите, как бедняк держится за свою власть, за власть рабочих и крестьян, — первый заявление принес! Я ведь и это понимаю: других примеров у председателя еще не было. Ну, подождет бы неделю-другую... Никуда бы людишки не делись, дошло бы до них. Умный человек Рэчилз, а тогда сплосшал. Люди говорили: если для Советской власти Буфта так же хорош, как и для бояр, какого же тогда черта?..

Рэчилз должен был это понять и дать Буфте ногой под зад. Ведь знал, все он знал... И когда я услышал, что Буфта — это человек, достойный подражания, то решил, что ничем не стану записываться в колхоз. Ты спросишь, почему я не пошел к Рэчилзу и не открыл ему глаза? А чего ради? Разве они у него были закрыты?..

Дай-ка мне еще сигарету, парень. Да не ты, волосатый... Что ты руку тянешь? Какой ты парень? Дай мне «Нистру», парень. Вот так. Что еще вам сказать?

Нет, ребята, мы с Ипатом не родственники, и я не всегда держу его сторону. Но уж слишком суро-

во вы судите его теперь, когда он упал. А я вам скажу: человек не железо.

Что же он сделал в тот день, когда должен был привести коня в конюшню? Кто-то видел его?.. Вишневого сада — он и с садом хотел проститься. Но я знаю по-другому. Он поехал совсем не в ту сторону. В ту ночь, когда я пришел к нему просить прощения, он сам признавался:

— Хотел я, Филимон, поговорить с буланым едине. Ты знаешь, как разговаривают с конем или может, не знаешь?

Я сказал, что знаю. Потому что хоть и не было у меня своих лошадей, я мысленно говорил с чужими или, вернее, только с одним конем, который снился мне... Вы должны понимать, что тогда каждый из нас мечтал иметь коня и по весне выходить с ним на пахоту, и покрикивать на него, упираясь в рога плуга: н-но, хвороба, н-но, савраска, н-но, буланка!.. Как это делал, например, Ипат. Ведь вы все мечтаете иметь мотоцикл с коляской и ездить на нем за покупками в Сороки, во Флорешты или даже в Бельцы, а не то закатиться на рыбалочку, на какое-нибудь этакое озерцо, забытое рыбинспекцией, или просто выводить его по вечерам из гаража и с погашенными фарами гонять целую ночь по полям и лугам... Ладно, заговорился я, забыл, о чем начал.

Так вот провалиться мне сквозь землю я никогда не забуду ту долгую нашу ночь с разговорами под вино. Тетя Настика легла, довольная что муж наконец-то записался в колхоз и что никто уже не будет показывать на него пальцем и обзывать единоличником. Тоже еще было слово — единоличник. Привесят на шею, как ботало, — и все, будь ты самый расчеловек или распоследняя свинья, все одно — единоличник. Надо сказать, тетя Настика побывалась, и было чего. Хорошо хоть Рэчилз защищал Ипата. И знаете почему? Не только потому, что в молодости они были друзьями. В те годы на старую дружбу смотрели косо. Вчера друг, а сегодня враг. Нет, говорите, что хотите, а дело не в том. Просто Рэчилз понимал, что он виноват перед Ипатом и перед всеми, кому он Буфтей в нос тыкал. Не верите? Кто не верит?

И вот что еще сказал мне в ту ночь Итэт.

— Ехали, — говорит, — мы с конем по окольным дорогам, по тайным тропинкам, и я обнимал его за шею и плакал. Не хотел я, чтобы кто-нибудь видел, как мне тяжело расставаться с конем.

Так и сказал... А ты, волосатый, чего скалишься? Чего вы смеетесь? Я думал, вы умные ребята. Эх вы, сыто живете, забыли, что было тогда. Это теперь нам хорошо, а в те времена... Мог ли кто-нибудь, кроме начальства, знать, что будет дальше? Теперь-то да, в стране, как говорится, спокойствие и мир...

На чем я остановился? На слезах Ипата. И на нашем хихиканье. А Ипат говорил мне:

— Я не потому плакал, Филимон, что жаль коня, или земли, или сада. Разве я не понимаю, что в колхозе всем будет лучше? Я бы первый подал заявление, если бы Рэчилз не оскорбил меня. А теперь еще этот инструктор из района приехал и командует... Да разве я позволил бы кому-нибудь командовать в моем доме?.. Но я увидел вдруг, что остался один и что у меня начинает расти горб: я не смогу больше ходить прямо.

Что вам сказать, добрые люди? Я, честно говоря, думал, что Ипат от жадности плакал — и коня лишился, и земли, и сада. Но это не так. И глупы те, кто воображает, будто Ипат посадил сад, чтобы потом продавать вишни.

Ипат мне еще вот что сказал:

— Ездил я, Филимон, поглядеть на сад. Он весь

в цвету, весь белый. А я признаться тебе, когда сад зацветает, становлюсь другим человеком, размякаю, словно заново рождаюсь понимаешь ты? А когда листва опадает, я хожу как мертвый. Такой уж я человек, и ничего не поделаешь...

А вы поняли что-нибудь? Опять скалитесь? Зря я только языком молот, как вижу. Вы и меня, наверно, дурнем считаете. Дай-ка мне сигарету ты патлатый... Ты один не смеешься, может, до тебя хоть что-то дошло...

Ладно, пойду.

А вот и наш Буфтя. Вы его слушаетесь. Он теперь живот отрастил и ходит в черном. Кладовщик. Большой человек!.. Что ж, которой рекой плыть ту и воду пить!..»

Глава четвертая

Думаю, что именно после смерти отца я на долгие годы замкнулась в себе, стала аморфным, апатичным существом, равнодушным ко всему, что происходит вокруг, и на сетчатке моих глаз отпечатался безответный вопрос, который я даже не могла бы выразить словами. Сколько раз мама спрашивала меня: «Что с тобой, доченька?» — и я пыталась ответить и мучилась, и мне в лучшем случае удавалось произнести несколько бессвязных слов, после чего я опускала глаза и молчала, как немая.

Наверное, в эти годы я была совершенно невыносимой девочкой, я сама понимала, что веду себя не так, как следует, и это заставляло меня еще больше страдать, и порой в отчаянии я убегала в сарай, забивалась там в темный угол и тихо, чтобы никто не услышал, плакала. Бедная мама! У нее было столько забот с Магдалиной, которая после смерти отца еще более отдалилась от нас. Глаза у Магдалины были большие, горячие, но иногда такие нездешние, такие далекие, что можно было испугаться.

При всех своих странностях Магдалина имела, однако, большой успех у парней, что, впрочем, ничуть ее не трогало. Сердечные признания она выслушивала молча, спокойно глядя своими нзмигающими глазами в лицо очередному воздыхателю, а потом просто поворачивалась к нему спиной.

Отец умер в августе, и на приемные экзамены Магдалина, конечно, не поехала. В сентябре, с началом нового учебного года, она должна была продолжить свою пионерскую работу, тем более что после получения аттестата зрелости у нее появилось и юридическое право на это (вообще-то ей не нравилось работать с детьми), но она отказалась с яростью и даже каким-то испугом, сославшись на то, что будет готовиться на следующий год. Куда именно поступать, ей было, кажется, уже все равно.

Теперь наша семья лишилась и заработка Магдалины, и маме приходилось трудиться день и ночь, чтобы хоть как-то кормить нас. У меня, помнится, было одно-единственное голубое платице с большими красными и желтыми цветами, давно выцветшее и застиранное. Я раз в неделю стирала, а потом мама гладила его большим портновским утюгом с угольками.

Магдалина с утра до вечера сидела, запершись в своей комнате, и читала книги, которые она приносила целыми сумками из сельской библиотеки. Это были в основном любовные романы. Магдалина глотала их один за другим и каждый раз, закончив чтение очередной книжки, бормотала про себя: — Чушь и бред. Ничего, кроме чуши и бреда.

И тут же бралась за следующий роман.

В сентябре я пошла в школу, теперь уже в седьмой класс. У нас в селе была только семилетка, и если бы я вздумала учиться дальше, мне нужно было бы ходить в заречное село Фрумушіка, где как раз в этом году открылась десятилетка. Но я боялась, что мама не справится одна. И я решила в пользу Магдалины отказаться от дальнейшей учебы и объявила маме, что после седьмого класса пойду на работу, и так, работая вместе, я — в колхозе, а она — на швейной машинке, мы сможем поддерживать Магдалину. Мама поглядела на меня своими добрыми глазами и спросила:

— Ты уверена, что потом не пожалеешь? Надо подумать.

Действительно, в конце концов я так или иначе окончила десять классов, но тогда я была еще дитя, и мне ужасно хотелось принести себя в жертву, что, если уж быть вполне искренней, объяснялось не столько внутренними побуждениями, сколько чтением романтических книг о подвигах и самоотверженности.

Мама сказала:

— Хорошо, посмотрим.

На том наш разговор кончился, и я, донельзя гордая собой, отправилась в комнату Магдалины и попросила позволения сесть с ней рядом. Она лежала на кровати и читала. Удивленная моей неожиданной просьбой, она захлопнула книгу.

— Чего тебе? — спросила она.

— Я хотела сказать, чтобы ты не тревожилась. На будущий год можешь ехать куда хочешь, в любой институт, даже и в Кишиневе.

Она приподнялась на локте.

— То есть как? Ты мне позволяешь? — иронически спросила она. — Думаешь, без твоего разрешения я не могла бы уехать?

— Да нет, — смущенно ответила я. — Но тебе понадобятся деньги, и я решила остаться в колхозе, чтобы ты могла учиться. Мы будем работать вместе с мамой и посылать тебе...

В моих ушах до сих пор звучит ее хохот. Она прямо каталась по кровати. А успокоившись, сказала:

— Выбрось из головы эти глупости. Я не бог весть какая цаца, и мне не надо жертв. И потом... у меня свои планы. У вас я ни копейки не возьму. Надеюсь, я сумею устроиться так, что не буду нуждаться ни в чьей помощи.

Я поднялась и хотела тут же выйти, покраснев от стыда и обиды. Но Магдалина силой усадила меня на кровать и после некоторого молчания добавила:

— Спасибо, Вероника. Но не надо никогда делать такие вещи. Зачем жертвовать жизнью, о которой ты гредишь, ради меня? Даже если бы я заслуживала... К тому же и мне и тебе надо пробиваться самим. Поняла, нет?

Я ничего не поняла ни тогда, ни позже, и только теперь начинаю догадываться, что Магдалина рассматривала жизнь, как спектакль, разворачивающийся перед глазами людей, а не как нечто насущное, конкретное. Люди вроде нее могут даже совершать подвиги, но непременно на миру. И в этом смысле Магдалина, безусловно, была натурой героической. Она мечтала о том, чтобы каждый день был наполнен событиями, чувствами, постоянными переменами. Простое, монотонное существование убивало ее.

И все-таки я не устаю спрашивать себя: так ли все это было? Игра? Игра — и ничего больше?..

Дядя Ипат в те дни изменился, погрузился, и люди не без основания объясняли эту перемену

смертью моего отца, может быть, единственного человека, с которым он дружил по-настоящему, и не только потому, что они сизмала прятельствовали, вместе играя в дорожную пыли или встречаясь на лугу, где пасли коров, хотя один жил здесь, в Безенах, а другой — во Фрумушке, на том берегу реки... Как-то так случилось, что, познакомившись однажды в воскресенье в церкви, они стали неразлучны.

После похорон отца в нашем доме воцарилась глубокая, буквально могильная тишина, которую ничто не могло нарушить — ни наши разговоры, ни звуки шагов; мы бродили по комнатам, как сомнамбулы, изредка обмениваясь самыми необходимыми словами и как будто не слыша себя, потому что тишина давила и оглушала нас. Только Петря, как прежде, играл с мальчишками, но, возвращаясь вечером домой, и он становился таким же замороженным и тихим, как мы. Мама все-таки заставляла нас есть, и, бывало, все мы сидели за столом, глядя на дымящиеся картофелины в миске, и не могли заставить себя к ним прикоснуться.

В такую-то минуту и послышался однажды стук в дверь. Мама — она была еще не в себе — удивленно пробормотала:

— Милия?

Жуткий смысл ее вопроса не дошел до нас. Мы не шелохнулись, даже глаз не подняли. Стук повторился.

— Зачем Миле стучать в дверь своего дома? — удивилась мама.

И опять мы не поняли. Мертвая тишина не давала нам думать.

Дверь открылась, и на пороге появился дядя Ипат.

— Добрый вечер, — сказал он и, сняв шляпу, прислонился к стене.

Все мы ответно пошевелили губами, но прозвучал только мамин голос:

— Добрый вечер, Ипат.

Я уж не знаю, что он мог вообразить, увидев нас такими — окаменевшими, как статуи, отсутствующими, с руками на коленях, молча созерцающими остывшую картошку и нарезанный толстыми ломтями хлеб.

— Садись, Ипат, — сказала мама.

— Садись, Ипат, — повторил Петря голосом взрослого мужчины.

— Нет, брат Петря, не до того, — ответил дядя Ипат. — Знаете что, вы подождите, я скоро вернусь. Он надел шляпу и вышел, тихо притворив за собой дверь.

— Это Ипат был, — после долгого молчания сказала мама. — Зачем он приходил?

Мы не ответили. Тогда мама встала, подошла к Магдалине, сильно тряхнула ее за плечо и крикнула прямо ей в ухо:

— Магдалина!

Магдалина повернулась к ней.

— Это Ипат был, — повторила мама. — Чего он хотел?

— Не знаю, — ответила Магдалина.

Вскоре шаги дяди Ипата раздались снова, в сенях покатились и загремело задетое им ведро, и я думаю, что именно этот грохот вывел нас наконец из того состояния, в котором мы были. В следующее мгновение дядя Ипат уже стоял на пороге с большим глиняным кувшином в руках — по глазури вилась волнистые белые линии орнамента. Он повесил шляпу на специально вбитый возле двери гвоздь и поставил кувшин на стол, рядом с картошкой. Потом он взял стул и сел, не дожидаясь нового приглашения. Он тяжело дышал, точно запыхался.

— Магдалина, принеси стаканы или лучше глиня-

ные кружки, — сказал он моей сестре как-то по-особому, может быть, слишком мягко, но я тогда не обратила на это никакого внимания, потому что, зная нрав Магдалины, все старались относиться к ней осторожно и бережно.

Но его взгляд... Впрочем, я и ему не придавала значения. Меня удивило лишь то, что дядя Ипат обратился с просьбой именно к Магдалине, а не ко мне или к Петре как младшим. Я была уверена, что Магдалина по обыкновению фыркнет и откажется выполнить его просьбу, но нет, она ничего не сказала и только бросила на него свой короткий взгляд исподлобья.

Она принесла стаканы для всех, даже для меня и малышей, и расставила перед нами. Дядя Ипат кашлянул и стал разливать из кувшина рубиновое, еще играющее вино. Стаканы, предназначенные для него, мамы и Магдалины, он наполнил до краев, а в остальные налил по несколько капель на донышко.

— Жизнь есть жизнь, — сказал он коротко. — Будем!

Выпили все. Потом дядя Ипат завел долгий разговор про новый урожай, несслуханный для последних лет, про сельские новости и все такое прочее, а мы между тем съели картошку и хлеб, а потом он закурил папиросу, и ее дым напомнил нам об отце, и мама сказала:

— Ипат, ведь правда, не может человек умереть, пока живы те, кто его знал и любил?

— Да, разумеется.

— Я сейчас подумала об этом и успокоилась. Милия не умер.

— Нет, конечно.

Помнится, я еще удивилась, что Магдалина в тот вечер не выкидывала своих обычных шуточек, а тихо сидела с нами за столом, и ее лицо не выражало обычного равнодушия. В ее голубых глазах, прежде отрешенных или насмешливых, словно засиял какой-то огонь, похожий на далекий свет закатного солнца, черты ее смягчились, и на милых, красиво вылепленных губах заиграла еле угадываемая улыбка — тень улыбки. Никогда еще не была Магдалина такой красивой, но я приписала эту перемену выпитому вину...

И вот я увидел, как он поднимается к конюшне. Сперва показалась его старая шляпа, потом смуглое лицо с окурком, словно забытым в уголке рта, руки он держал за спиной и шел медленно, задумчиво; помню, я сказал себе, что он уже немолод и не может, как прежде, избегать на холм единым духом. Вечернее солнце било мне прямо в глаза. Наверное, возле глаз у него появились тонкие морщины, но этого я видеть не мог, а врать не хочу.

Когда он подошел совсем близко, я встал с чурбака и протянул ему руку.

— Здравствуй, Филимон, — сказал он.

— Здравствуй, — ответил я.

— Что подеываешь?

— Коней жду.

И мы сели рядом прямо на землю.

Я рассказываю тебе, как он пришел в конюшню, чтобы ты знал: он уже и тогда предчувствовал что-то, и, может быть, вышло не совсем так, как он предчувствовал, но на душе у него было неспокойно, это точно.

И вот мы помолчали, а потом он спросил:

— Как думаешь, не отдаст мне Рэнилз коня обротно?

Я поглядел на его стоптанные туфли и ответил:

— Думаю, мог бы отдать.

— И мне так кажется,— сказал он.— Но Рэчилз может неправильно понять меня.

— Ты считаешь его таким...

— Да нет, он не дурак. Но он уже много лет председательствует, а когда привыкаешь командовать людьми, становится трудно различать их, все кажется похожими друг на друга, и у всех одни нужды.

— Рэчилз не всю жизнь командовал людьми. Когда-то он был простым крестьянином.

— Я тоже об этом думал. Может быть, он вспомнит...

Это было дня через два после того, как он принял склад. Знал ли он тогда, что его ждет? Он сказал:

— Ты веришь, что все прежние кладовщики воровали?

— Не верю,— сказал я.

— И я не верю. Но у всех были недостатки.

— Да, правда.

Мы снова помолчали и покурили.

— Ты мог бы и не соглашаться,— сказал я.

Он усмехнулся и поглядел на меня.

— Да?

Я подумал и понял, что ему действительно некуда было деваться и что многие из нас сильно изменились с годами, и только такие люди, как дядя Ипат, остались верны себе.

— Конь прослужил достаточно, чтобы его разрешили отдать мне, верно?

— Я думаю, Рэчилз не будет против.

— Понимаешь, какая штука: Рэчилз не смотрит на коня, корову или овцу так, как на них смотрели прежде. Он их видит сегодняшними глазами. Это для него транспорт, молоко, мясо, шерсть, и опять молоко и опять мясо. Вот чего я боюсь. На его взгляд, старого коня следует забить. Может, он и отдаст мне его, но это будет совсем непросто... А если б отдал, я бы вывел его весной на травку и смотрел бы, как он пасется... В конце концов я мог бы выкупить его.

— Рэчилз не имеет права продавать. Он может только списать его. А продавать нельзя: конь не его собственность.

— Конь вообще не собственность. Он и моей собственностью не был, если на то пошло.

— Да. Конь не может быть собственностью, даже если его продают и покупают.

Дядя Ипат не вымолвил больше ни слова и встал и пошел вниз, в долину, снова забыв окурки в уголке рта.

Сделавшись кладовщиком, дядя Ипат не переменил ничего в своем гардеробе, даже шляпы новой не купил, и что означало, что он не вообразил себя каким-нибудь там начальником, отличающимся от прочих крестьян. Он только стал еще молчаливее, и, наверное, у него были для этого свои причины.

Жила у нас белая кошечка, тихая, но гулявая, как выражалась мама которой дважды в год приходилось с гримасой отвращения на лице вытаскивать из каких-нибудь укромных местечек в сарае крошечных слепых котят беззвучно разевающих розовые ротки. Мама заворачивала весь выводок в изгодную тряпку и посылала меня бросить сверток в ручей.

Замирая от ужаса я бежала к ручью, там, вытянув руки и закрыв глаза, поднимала сверток над водой, отпускала его, круто поворачивалась и, по-прежнему не открывая глаз, летела домой. Мне все чудилось, что позади раздаётся беспомощный тонкий писк.

Однажды — это было уже в Безенах, летом — мне стало до невозможности жаль топить котят, я чувствовала, что дрожу всем телом, и так, прижимая сверток к груди, я, может быть, инстинктивно, побегала не к реке, а в противоположную сторону. Уже не помню, как я очутилась в Ипатовом саду и присела под вишней перевести дух. Отдышавшись, я развернула тряпку. Котят было четверо, два белых и два черных, еще слепеньких, но уже аккуратно вылизанных, с блестящей шерсткой. В слезах глядя на них, я поняла, что мне следует сделать и, оставив котят под деревом, поспешила домой. Мама сидела в комнате за швейной машинкой — я слышала стрекот иглы — малыши убежали куда-то играть, Магдалина по обыкновению читала в своей комнате. Никто не видел, как я взяла кошку на руки и помчалась с ней обратно в сад.

Котят мяукали, тыкаясь своими влажными носиками в землю и ища свою маму. Я опустила кошку на землю, она быстро собрала расплзшихся котят в кучу, легла с ними рядом, и они принялись сосать ее.

Счастливо улыбаясь, я полюбовалась на них и вернулась домой. С тех пор при первой возможности я приносила в сад немножко молока для кошки и котят.

Теперь я говорю себе, что если бы в тот день я бросила их в реку, если бы не сжалилась над бедными зверьками, которые, как и мы, люди, имеют глаза, и сердце, и желания... и к тому же я считала тогда (и сейчас считаю), что все живое обладает душой... так вот, если бы я не отнесла тогда сверток с котятами в Ипатов сад, я бы, наверное, ничего не увидела и ни о чем не тревожилась.

С того вечера, когда дядя Ипат пришел к нам с кувшином вина и вызел нас из мертвенного оцепенения, он стал навещать нас все чаще, а мама рассказывала, что отец перед смертью долго о чем-то говорил с ним и поэтому дядя Ипат, исполняя последнюю волю отца, приходит к нам, чтобы мы не оставались одни, без мужской руки в доме. Он не раз спрашивал, есть ли у нас то или другое, и мама отвечала, что да, есть. Но, конечно, в любом хозяйстве всегда найдется работа, и дядя Ипат сам, без просьб, помогал нам, чем мог.

Первым делом он обошел дом и обстучал своим громадным кулаком стены, обнаруживая таким образом места, где штукатурка облупилась. Потом он пошел в сарай, в котором грудой лежали отцовские инструменты, и вынес оттуда заступ. Дом был старый, осевший в землю, и лестница дяде Ипату не понадобилась.

— Две недели осталось до покрова,— сказал он, обернувшись к маме.— Надо привести дом в порядок.

— Надо бы, Ипат, но я набрала к празднику шитья и могу не успеть.

Мама все еще оставалась горожанкой. Она не знала, что крестьяне дважды в год белят дома — на пасху и на покров.

— А Магдалина? — спросил дядя Ипат.

— Что Магдалина? — не поняла мама.

— Почему бы Магдалине не обмазать стены и не побелить их?

— Ах, вот что! — Мама усмехнулась.— Магдалина... она... как бы сказать...

Дядя Ипат не стал дожидаться конца маминой фразы, а вонзил заступ в землю и пошел в дом. Мы с мамой остались во дворе, и когда через несколько минут дядя Ипат появился вместе с Магдалиной, я ничего не поняла, да и потом не узнала, что он сказал ей и как ему удалось убедить Магдалину оставить книги и взяться за работу.



Больше всего поразило меня и маму то, что Магдалина работала не ожесточенно, как можно было ожидать, а легко, даже с удовольствием. С того дня она переменилась, не супилась на нас а иногда на ее просветлевшем лице появлялась улыбка хотя взгляд стал еще более отсутствующим.

Дядя Ипат протянул Магдалине заступ сходил к себе домой и принес еще один заступ, и оба начали очищать стены от покоровившейся штукатурки. Когда это было сделано, они расстелили на земле старую рогожу и собрали на нее сэр и потом он взял рогожу за один конец, а Магдалина — за другой, и они отнесли ее в овраг, заподалеку от дома. Так прошел первый день.

И снова я увидел, как Ипат поднимается из холм, и сказал себе, что он опять насчет коня. Когда мы обменялись рукопожатием, я спросил:

— Ты говорил с председателем?

— О чем? — удивился он.

— Так про коня же.

— Есть еще время. Сегодня ночью я хочу погидеть с тобой у конских хвостов. Мне нужен навоз.

— Ремонт затеваешь?

— Не у себя — у Эмиля.

— У Эмиля?

Я ничуть не удивился. Дядя Ипат и покойный Эмиль были настоящими друзьями, и, конечно, следовало помочь его вдове Докице.

Я увидела, как он входит в ворота с мешком через плечо, как Магдалина встречает его своим новым, посветлевшим за последнее время взглядом, как она, торопливо хлопнув дверью, выбегает к нему во двор, чтобы помочь опустить тяжелый мешок и пристроить его под стеной.

— Мы и сегодня сможем вволю поработать, — сказал дядя Ипат. — А те, кому я понадоблюсь, знают, где искать меня.

Мама позвала нас к столу, и, закусив наспех, дядя Ипат вынес мешок на ровное место и вывалил на-земь его содержимое, потом взял заступ и принялся копать яму для замеса глины и балэги — конского навоза. Мама села за свою швейную машинку, я отправилась в школу, а Магдалина осталась помогать дяде Ипату.

Когда я вернулась домой, они уже обмазывали стены, и так как моя сестра была непривычна к этой работе, дядя Ипат трудился рядом с ней, показывая, что и как надо делать, и объясняя заодно, насколько влажной должна быть стена и насколько жидкой глина, чтобы приставала к поверхности накрепко и не шелушилась при высыхании.

Иногда к воротам подъезжал на телеге колхозник с квитанцией от председателя на свинину, фрукты или еще какой-нибудь провиант. Дядя Ипат степенно мыл руки, забирался в телегу и уезжал на склад отпустить продукты. Потом он возвращался и как ни в чем не бывало занимал свое место рядом с Магдалиной, и их руки, его и ее, в засыхающих, быстро светлеющих между пальцами потеках глины, порой соприкасались, хотя, думаю, они вряд ли замечали это. Так они работали дотемна, вместе мыли руки в тазу, и дядя Ипат уходил домой. Со стенами было покончено в три дня, но Магдалина словно преобразилась за это время. Однажды она сказала:

— Не надо было отцу возвращаться в село. Он, наверно, думал: вернусь, как птица к своему гнезду, и умру. Вот и умер, потому что примирился с судьбой.

Мама только головой покачала. А Магдалина добавила:

— Главное — иметь мужество, чтобы повернуть судьбу по-своему.

Ей всегда нравилось говорить афоризмами хотя они большей частью выглядели не очень эффектно и не шли к случаю — она точно пыталась орех к ведрю прилепить.

Когда они закончили работу, я, как обычно, слила им воду на руки из большой алюминиевой кружки, и они пошли к маме доложить ей что дело сделано. Помню, мама несколько мгновений смотрела на них в каком-то смутном замешательстве, а потом непроизвольно облизнула сухие губы и кивнула в знак того, что услышала и поняла. Она сказала:

— Спасибо.

Я задумалась: почему мама поблагодарила обоих как чужих? Ведь Магдалина...

Переждав дня два, пока глина подсохла, дядя Ипат принес большую кисть для побелки, взятую, верно, из запасов тети Насти, и, как недавно за лопатой, уверенно вошел в наш сарай и отыскал в старом корыте несколько кусков извести, которую мама тут же погасила. Опять он работал с Магдалиной, и когда они крошили и разминали известь их руки снова стлкнулись. Он спросил Магдалину:

— Белить умеешь?

Она отрицательно помотала головой, стараясь, однако, не встречаться с ним взглядом.

— Я тебя научу. Это нетрудно, — сказал дядя Ипат.

Он развел в ведерке с гашеной известью щепотку синьки, тоже принесенной из дому, и приступил к стене. У Магдалины работа никак не шла, и он брал своей рукой ее руку с обмокнутой белильной кистью и водил ею по стене, но она так и не наловчилась, и ему все время приходилось еще и еще раз забирать ее руку в свою, так что, когда дядю Ипата вызывали на склад, Магдалина уже и не пыталась белить одна, а садилась на забрызганную известью, всю в голубых зайчиках траву и, прислонившись к стене, терпеливо ждала его возвращения, и они продолжали работать вдвоем, все той же единственной растрепанной кистью.

Наконец и побелка была закончена. Наш дом стал снаружи чистым и светлым. Дядя Ипат вышел на дорожку, чтобы оглядеть его со стороны, и, наклонив голову, задумался. Домом он остался доволен, но старый наш забор, покосившийся и подгнивший, ему не понравился. Он повернулся к Магдалине и сказал:

— Надо бы построить каменную ограду.

Магдалина поглядела и согласно кивнула.

Тогда они снова вошли в дом и стали рядом перед мамой, и видно было, как она устала; но когда они вошли к ней, она вскочила.

— Забор надо поправить, — сказал дядя Ипат.

Мама схватилась за швейную машинку и нашла в себе силы пробормотать:

— Да, да.

Как только они вышли, мама побежала в казарму и, опустившись на колени перед образом Николая-чудотворца, стала креститься и творить молитву. После смерти отца она сильно склонилась к богу.

В тот же вечер дядя Ипат отправился к председателю Рэчилэ и известил его, что если он, Ипат, в ближайшую неделю понадобится кому-нибудь на складе, то пусть его ищут в каменном карьере. На это Рэчилэ не сказал ни слова, только пожал плечами — может, у него выдался удачный день и он не хотел портить его, вступая в спор с дядей

Ипатом, то ли наоборот, день случился тяжелый и он слишком устал, чтобы выдерживать словесный поединок с человеком, которого никто не умел поставить на место.

Наутро дядя Ипат постучал к нам в окошко еще до восхода солнца и крикнул:

— Магдалина, ты готова?

Я услышала сквозь сон торопливые сестринские шаги и грустные мамины вздохи. Я не видела, как Магдалина ушла, зато видела, как они вернулись вдвоем, едва волоча ноги от усталости, седые, как мельники, от едкой котельцовой пыли. Он с кайлом на плече, она с топориком, в широких, подпоясанных ремешком отцовских штанах.

На третий день я пришла в карьер поглядеть на их работу. Дядя Ипат орудовал кайлом отваливая толстые пласты земли и глыбы, а Магдалина обравнивала котелец топориком, и движения ее были до того сноровисты и уверенны, словно она всю жизнь провела в каменоломне. Лица у обоих были будто в белых мучных масках, по которым бежали струйки настоящего пота. Они трудились так усердно, что даже не заметили моего появления, зато я увидела, как они переглядываются.

Вечером они вернулись такие же усталые и грязные, что и накануне, и, словно по заведенному обычаю, у ворот разошлись. Магдалина вошла во двор, а дядя Ипат двинулся дальше — домой.

На четвертый или пятый день той памятной недели дядя Ипат раздобыл где-то пороку, заложил его у основания громадного блока, уже очищенного от земли, и среди бела дня шархнул едва не лишив голоса сельских собак и развалив блок на куски, годные к перевозке. Вечером он опять явился к Рэчилз и попросил подводу. У того, видимо, в очередной раз выпал хороший или, напротив, слишком трудный день — так или иначе, он не стал тянуть волынку, а выписал дяде Ипату квитанцию, и дядя Ипат пошел в конюшню к Филимону Филилскому и сказал:

— Запряги моего конька и еще кого-нибудь в пару.

Конюх возразил:

— Твоему коню уже не под силу возить камень. Я заложу пару помоложе.

Но дядя Ипат уперся: подай бывшего коня и никаких! Филимон лишь пожал плечами, как председатель Рэчилз.

Дядя Ипат пустил коней к нашим воротам и дождал, пока Магдалина наденет отцовские штаны и сядет на подводу. Они возили камень целый день, а потом еще один. Скинув его на дворе в две одинаковые груды, они на той же подводе привезли глину и размяли ее ногами, добавив соломы и половы.

— Цемент был бы лучше, — сказал дядя Ипат.

— Где же его взять? — заметила Магдалина.

Я слышала их разговор и другие подобные разговоры и поняла, что так могут говорить между собой только двое людей, оторвавшихся от остального мира и поставивших перед собою цель, к которой идут они одни на всем белом свете, а прочие люди лишь присутствуют при этом союзном походе, как зрители, лишенные права вмешиваться в действие. И что этим двоим до зрителей! Все так, как должно быть, сказала я себе, все нормально. Ни я, ни мама, ни тетя Настика, ни все колхозники, вместе взятые, ни сам Рэчилз — никто не в силах помешать им довести до конца то, что они задумали. И, полагая, это понимал, кроме меня, один Рэчилз, и он разрешал дяде Ипату оставлять склад, потому что толку все равно не было бы: дядя Ипат

мог и вовсе бросить работу, лишь бы достроить с Магдалиной стену, окружавшую наш дом.

Они выкопали ров глубиной в полметра, так что со стороны могло показаться, будто они решили заложить фундамент здания, а не обычной каменной ограды, которая и так, безо всякого рва, прочно утвердилась бы на гладкой выровненной почве.

Мама поглядывала из окна на их работу потом заперлась в каса маре и долго молилась. Этих двоих, дядю Ипата и Магдалину, словно ничего не касалось — ни испуганные взоры мамы, ни перешептывания соседей, и это, видимо, происходило не от равнодушия к миру, а скорее оттого что они бесконечно доверяли друг другу, притом ограда должна была означать слияние на некоем отрезке армении их судеб... Так в войну два солдата, оказавшись в окружении, неизбежно полагаются друг на друга и оба понимают, что в одиночку никому из них не уцелеть.

Выкопав ров и разбросав землю из него, дядя Ипат поставил Магдалину подносить камни и она начала подавать их ему своими хрупкими, изнеженными руками, которые, впрочем, после обмазывания стен, побелки и работы в карьере стали уже совсем не хрупкими и не изнеженными — они затвердели и почернели, и вены на них набухли и выступили наружу, как на рельефной карте. Магдалина носила по камню, если кусок был велик, или по два и по три, если они были поменьше, и бросала их на край канавы. поближе к дяде Ипату, чтобы он мог не глядя брать их и укладывать на рыхлое дно. Так они уложили весь нижний ряд, пригнали камни друг к другу и заполняли щели мелкими осколками, а потом дядя Ипат позвал Магдалину посмотреть на то, что получилось, и она пошла по краю рва из конца в конец, после чего солидно кивнула: дескать, все в порядке.

Они работали молча. время от времени совзвучивая взглядами, и я видела, что Магдалина счастлива, и мне невольно вспоминалась ее веселая злобная вспышка, когда мы только приехали в село и она хотела работать в поле с отцом, но отец и мама воспротивились. Магдалина решила тогда, что ею пренебрегают, что в ее силы и способности не верят, и это заставило ее еще глубже замкнуться в себе... И это гнало ее на долгие часы в поля: быть может, она хотела своим поведением заставить родителей понять, что она не барышня и не хочет быть барышней; она, вероятно, была убеждена, что только тяжелый физический труд, только неимоверная черная усталость дают человеку право считать себя настоящим человеком, прочно стоящим на земле; выходит, что она жила и мечтала о минуте, когда кто-нибудь, тот же дядя Ипат, войдет к ней в комнату и заставит ее поднять глаза от книг и научит, как вновь обрести утраченное достоинство. Родители настаивали, чтобы она устроилась пионервожатой, и она в конце концов уступила, заставив в глубине своего существа постоянную готовность к мятежу, что бы при этом с нею ни происходило — бродила ли она по полям, читала ли, а чаще просто заперлась от домашних. В сущности же, она хотела одного — равенства с отцом. Вместе ходить на работу, вместе возвращаться с поля, вместе посиживать вечерами на завалинке, ожидая приглашения к ужину и переживая то ни с чем не сравнимое наслаждение, которое приносят людям лишь здоровая усталость тела, закат солнца, уверенность в том, что жизнь проходит не зря и что другие — в данном случае остальные члены семьи — питают к тебе естественное уважение, ибо ты кормишь их, зарабатываешь на хлеб. Поэтому я прекрасно понимаю радость охватившую Магдалину

когда дядя Ипат предположил ей вместе обновить стены, а потом возвести ограду вокруг дома; помню, что хотя уже стоял на дворе октябрь, Магдалина пошла к Рэчилз и попросила записать ее в полевую бригаду — она хотела во всем заманить отца.

В те дни Магдалина стала и к нам относиться иначе, не так, как прежде. В ее поведении начали проскальзывать отцовские жесты, даже речь сделалась другой — медлительной, раздумчивой, взвешенной. За столом она заняла опустевшее место отца и ела быстро, деловито, как наработавшийся мужчина; она даже потягивалась теперь как-то по-мужски, и взгляд ее стал прямым и сосредоточенным. Нас, младших, она опекала заботливо и строго, а там и маме пришлось во всем подчиниться ее воле.

Однажды Магдалина позвала меня к себе в комнату и велела показать дневник. Я удивилась, но послушалась. Магдалина перелистала дневник и одобительно покачала головой. Потом она сказала:

— Даже не думай бросать школу. Я никуда не поеду, так что можешь учиться спокойно.

То, что Магдалина так легко отказалась от давней мечты продолжать учебу в городе, уже не удивляло меня. Ей нужно было нечто более важное, чем просто свобода, — она решила стать крестьянкой, ибо крестьяне, по ее новому мнению, были и есть основа общества, они держат его на плечах, как Атлант в греческих мифах держал на плечах небосвод. Магдалина исходила из простой, может быть слишком простой истины: люди могут обойтись безо всего, только не без хлеба. Так или иначе, общение с дядей Ипатом сильно повлияло на мою сестру.

...Нижний ряд камней они покрыли раствором, таская его из глиняной ямы в двух старых ведрах.

Они работали в те дни необыкновенно много и все же казались неугомонными, особенно Магдалина. Лицо ее потемнело и осунулось, но она ходила, по-прежнему высокомерно поднимая голову, и я несколько раз ловила брошенный на нее украдкой взгляд дяди Ипата, любовный и немножко насмешливый.

Теперь я думаю вот о чем: их труд от зари до зари был похож временами на схватку; как знать, не для того ли дядя Ипат безжалостно заставлял Магдалину трудиться, чтобы подчинить ее, увидеть ее усталой, обессиленной, наконец, просто слабой женщиной, и, возможно, она угадывала его замысел и приняла вызов, чтобы доказать свою непобедимость. А может тому были совсем другие причины, и я, например, совершенно уверена, что побелка стен, насаженный труд в каменоломне и постройка ограды означали для нее не только и не столько работу, а еще и несли в себе множество иных смыслов.

Дядя Ипат говаривал иногда:

— Отдохни, Магдалина, присядь, переведи дух. Она отвечала:

— Мне этого не надо. Может быть, вам пора отдохнуть?..

Поверх раствора они укладывали второй ряд камней, а если камни не подходили по форме, дядя Ипат брал топор и обтесывал их или попросту раскалывал надвое, начетверо короткими точными ударами тупого лезвия, пока непокорный камень не ложился, наученный смирению, на предназначенное ему место.

В те дни я часто бегала в сад поглядеть на моих котят, которые уже подросли и совсем одичали. Я носила им хлеб, но он оставался нетронутым или почти нетронутым; наконец я поняла, что котят

прокормятся и без меня, и действительно, однажды я застала всю семейку, дружно охотящуюся на полевых мышей. Ни один из котят так и не приручился, все они мало-помалу разбрелись, а белая кошка скорее всего околела.

Как-то прозрачным октябрьским вечером, когда холодная атмосфера похожа на исполинскую глыбу голубого просвечивающего льда, а неподвижные деревья, впитавшие корнями в бурю землю, смахивают на скрепляющую этот лед арматуру и когда листья, хотя они еще зелены, существуют уже отдельно и отрешенно от веток и не гонят по своим задубевшим прожилкам живительный солнечный сок и от этого на них так же совестно и жалко смотреть, как на неизлечимо больных людей, — желтые опавшие листья совсем другие, они кажутся слитками живого золота и неожиданно нежно шуршат под ногами, а когда смотришь на летящий лист, всегда испытываешь нечто вроде откровения — так вот, в один из таких вечеров я снова отправилась в сад навестить моих пушистых питомцев, но их не оказалось на привычном месте, и я начала негромко звать их; они не появлялись, и я присела на теплый камень и прижмурилась: солнце садилось и било мне прямо в глаза; в этом живом потоке солнечных лучей я вдруг увидела два приближающихся силуэта и угадала их по походке — это были Магдалина и дядя Ипат. Нет слов, до чего поразило меня их внезапное появление. Словно боясь разбить хрупкий сосуд, я тихо поднялась с камня и пошла к селу, все ускоряя шаг и наконец бросилась бегом. Добравшись домой, я едва успела перевести дух и прийти в себя: опасалась, что мама заметит мое состояние и придется врать. Я хорошо знала, что не скажу ей правды; проговориться о том, что я видела их вместе в саду, хотя они не могли попасть туда иначе, как пройдя через все село, и в этот час, когда женщины готовили ужин на летних плитах, а мужчины возились во дворах со всякими домашними делами, их не могли не заметить, — проговориться об этом значило предать. Могла ли я стать соучастницей Магдалины и дяди Ипата? Не думаю. Но когда Магдалина в тот вечер вернулась домой с букетиком полевых цветов и поставила его в стакан у своей кровати, я, верно, бросила на нее такой взгляд, который должен был означать родственную осведомленность во всех ее делах. Магдалина, однако, присмотревшись ко мне, фыркнула и рассмеялась.

— Что с тобой, Вероника? — спросила она. — Ты хочешь рассказать мне что-то неслыханное?

Я покраснела и опустила глаза, а она села на кровать и, внимательно разглядывая цветы в стакане, сказала:

— Мы с дядей Ипатом были в вишневом саду за селом. Знаешь, мне очень нравится там, и дядя Ипат сказал, что я потому так люблю эти прогулки, что понимаю: дерево — точно такое живое существо, как и мы сами. Я, конечно, не верю ни одному его слову, и так и сказала, а он ответил, что человек одинок не потому, что его не окружают люди, а потому, что его не окружает природа, он потерял связь с деревьями и травами, и главная его ошибка в том, что он отвернулся от них и в одиночку пошел дальше, вместо того чтобы идти к ним и тем самым — к себе...

Позже, когда стена уже выросла на целый метр над землей, я как-то услышала слова дяди Ипата, вероятно, продолжавшие его давнюю заветную мысль или спор, происходивший между ним и Магдалиной:

— Я читал когда-то множество духовных книг, но не для того, чтобы дразнить батюшку Даниила...

Просто мне хотелось понять, почему не дано человеку спокойной жизни. И я не нашел ответа...

Магдалина поглядела на него с иронией и рассмеялась. Меня однако слова дяди Ипата поразили: примерно то же самое говорил наш отец незадолго до смерти. Уже потом, спустя несколько лет, мне стало внятно то состояние души, когда человек ощущает полную открытость перед людьми, примирается с ними и грустит о том, что люди в общем-то не нуждаются в его искренности. Эта грусть неутолима ничем, кроме смерти или любви.

Вот какие мысли пришли мне в голову после беседы с моим учеником Владом Филиппским, который сказал: «Молдавский пастух баснословных зрелен понимал смерть как слияние человека с миром, а не как уход из него. Река, слившаяся с морем, уже, конечно, не река, но без нее моря не было бы. Понимать иначе — значит не понимать ничего». Я ответила, что он прав, но не стоит заирать нос, потому что не он первый додумался до этого... не первый... И он рассердился на меня.

Глава пятая

Б еда произошла в ночь с субботы на воскресенье, поздней осенью, когда листья с деревьев уже опали и звезды пригасили свой блеск...

Понятно, что всех на селе поразила высокая, в два метра, стена возведенная дядей Ипатом и Магдалиной вокруг дома покойного Эмиля, так что люди, проходившие мимо, не могли видеть, что делается во дворе, и если побелка стен и разрушение прежней ограды никого не задела и даже вызвали всеобщее одобрение, то потом, когда стена начала расти, люди перестали понимать, что происходит, и хотя кое-кто думал, будто это очередная прихоть Магдалины, Буфтя сразу смекнул, что дело не в ней, а в дяде Ипате. Буфтя утверждал, что дядя Ипат вынашивает некие тайные планы и что он Буфтя, однажды нарочно взобрался на стену и заглянул во двор и увидел, что там выкопана широкая и глубокая яма. Спустя неделю он еще раз залез на стену и на этот раз будто бы узрел, как дядя Ипат вместе с Магдалиной выстилают яму битым камнем, превращая ее в громадный погреб. А когда Буфтя вскарабкался на стену в третий раз, они уже закончили погреб и даже навесили тяжелую дубовую дверь запертую на замок вроде того каким был заперт колхозный склад. Это последнее обстоятельство внушало особые подозрения. Для чего, спрашивал Буфтя тех, кто соглашался его слушать, нужен тете Докице бедной одинокой женщине, такой глубокий погреб да еще с замком точно-точно как на колхозном складе? Разве не ясно как божий день, что он предназначен для сокрытия части хранящихся на складе товаров?

Как Буфтя поворачивал вопрос дальше? Он говорил, что дядя Ипат, конечно, побойтся таскать продукты со склада в свой личный погреб, да это было бы и глупо зато у бедной вдовы похищенного никто искать не станет. С такими разговорами Буфтя дошел наконец до председателя и сказал ему:

— Товарищ Рэчилэ, вы отвечаете за все и вы должны принять меры. А если не примете, то общественность...

Люди говорят, что Рэчилэ даже не стал его слушать, а выгнал со двора и закричал вслед:

— Ты ко мне со сплетнями не ходи! Меня сплетни не интересуют! А если будешь болтать по селу,

то я тебя уволю из сторожей, и ты у меня попотеешь в бригаде, общественник!..

Так это было или не совсем так, я не знаю, но что Буфтя на время притих, это точно. Да и впрямь, можно ли было поверить, что дядя Ипат, всю жизнь относившийся к вещам и деньгам с пренебрежением, позволил бы себе взять что-нибудь чужое? Он мог скорее присвоить чужую мысль или мысли, даже самые странные но при том условия, что они не имели ничего общего с идеей обогащения.

Но Буфтя хотел, во что бы то ни стало выиграть пожизненную дуэль с дядей Ипатом, и он решил продолжать слежку, рассчитывая раздобыть какой-нибудь изобличительный материал на него, хоть какой-нибудь пустяк, который, будучи раздут до слюновости, пригодится в нужное время и в нужном месте.

Никто до сих пор не знает всей правды о дяде Ипате и Магдалине, а то, что известно, известно из лживых уст Буфти, единственного в селе человека, который с самого начала считал подозрительными и побелку стен, и возведение ограды и строительство погреба, и все, что они делали вдвоем, включая прогулки и беседы в вишневом саду. И если сперва люди смеялись Буфте в лицо и посылали его к черту, то потом, когда на складе обнаружилась недостача, не знаю каких продуктов к Буфте начали прислушиваться, по крайней мере те, кто плохо знал дядю Ипата. Так или иначе в один прекрасный день Рэчилэ пришел к Ипату, вызвал его на улицу и у ворот, не вступая в объяснения, протянул руку:

— Давай ключи.

Дядя Ипат поглядел ему прямо в глаза и спросил:

— Ты взришь этому?

— Я не верю — люди верят.

Дядя Ипат вернулся в дом, вынес ключи и сказал:

— Тебе уже нельзя работать председателем. Со старился что ли. Ты не тот человек, который двадцать раз приходил ко мне с уговорами, что лучше, мол, вступить в колхоз, чем не вступать. Тогда ты был сильным, а теперь слаб.

— Теперь я слаб, Ипат.

И говорят Рэчилэ как-то так посмотрел на дядю Ипата, и тот понял этот взгляд и пригласил его в дом.

— Входи, — сказал он, — приглашаю. Мы были друзьями в юности, но и потом врагами не стали и я всегда знал, что ты человек, которому можно верить, а это все равно как если бы мы остались друзьями.

Они вошли в каса марэ, и удивленная тетя Настика накрыла на стол, и они выпили по стакану вина. И потом они еще много стаканов выпили, и Рэчилэ будто бы сказал мэжду прочим:

— Да, я уже не тот. Поработаю до отчетного собрания и уйду. Прошло мое время, чего еще тянуть?

Дядя Ипат усмехнулся.

— Ты устал, и это понятно: человек не железо. Но ты не уйдешь, Рэчилэ. Ты будешь держаться за свои мезе зубами и когтями, пока и тебя не подсядет какой-нибудь районный Буфтя.

Рэчилэ надул губы и помолчал. Потом он спросил:

— Но ведь я все же кое-что сделал в жизни?

— Сделал. И еще сделаешь. Только не надо про это говорить.

Тогда Рэчилэ спросил:

— Как же со складом вышло, а?

— Хм... ты мне подсудобил этот склад, чтобы проверить, остался ли я прежним. А вдруг не остался?.. Ладно, не волнуйся, я все тот же, хотя многие и считают меня обшмыгой. А ты почему им не веришь?

— Ммм...

Дядя Ипат опять усмехнулся и сказал:

— Не знаю, кто подвинтил что-то в складских весах. Когда я принимал товар, он тянул больше, чем в натуре.

— Куда же ты смотрел?

— Я не знал, куда смотреть.

— Ипат, я могу защитить тебя.

— Меня? Нет, Рэчила, зачем меня защищать? Совсем даже не надо защищать.

Словом, дело обошлось денежным взыском и выговором с последующим увольнением. Но Буфтя не унимался и продолжал шпионить за дядей Ипатом, поливая его грязью на каждом шагу. Наконец однажды, когда возле правления собралось покурить особенно много народу, Буфтя заявил:

— Я сделал сегодня доброе дело. Видел меня кто-нибудь?

Да, кое-кто видел, как в тот день после обеда Буфтя вышагивал по улице надвинув на затылок новую фетровую шляпу и засунув руки в карманы черных брюк. День выдался по-летнему жаркий, и за Буфтей плыла в воздухе туча пыли, а его продолговатая тень с круглым выступом на месте живота скользила по земле, вспугивая прикорнувших под забором кур. Задрав нос и насвистывая, Буфтя шел к дому дяди Ипата, хорошо зная, что не застанет хозяина, который в это время заканчивал вместе с Магдалиной строительство стены вокруг ее дома. Буфтя осмотрительно прогулялся в том краю и убедился, что Ипат сосредоточенно работает, засучив рукава и что-то мурлыча себе под нос.

Подойдя к воротам, Буфтя на минутку остановился, чтобы установить шляпу строго горизонтально и придать своему толстому лицу трагическое выражение, но в результате всех стараний произошло только то, что его бегающие ехидные глазки словно остановились и сделались сонными. Эту маленькую подробность поведала соседкам тетя Настика, когда позднее пыталась изменить то, что последовало за визитом Буфти, но уже не могла исправить ничего. Итак Буфтя не вполне решительным шагом прошел путь от ворот до дверей дома причем громадная сторожевая собака, завидев его, заскулила и поспешно убралась в конуру. Когда тетя Настика открыла, Буфтя почтительно снял шляпу и приветствовал хозяйку джентльменским наклоном головы.

Они вошли в комнату, и тетя Настика предложила ему стул, а затем села сама, ожидая, что он изложит дело. Будто не знала она, кто таков Буфтя и чего можно ждать от него. А он перебирая пальцами поля своей фетровой шляпы начал изда-лека.

— Дело такое, Настика... Как бы тебе сказать... Знаешь ли ты, с чего начинается предательство?.. Нет, это меня как бы и не касается, и мне даже жаль, что ты, которая всю жизнь... тогда как в молодости ты могла бы... нет, я не спорю, помогать бедной вдове — это даже красиво... белить стены чинить забор, копать погреб... даже если делаешь это вместе со старшей дочкой... даже если вечерами гуляешь с ней по вишневому саду... подальше от глаз... В таких случаях заинтересованное лицо узнает обычно... Короче, я считаю своим долгом... все мы... да, стыд... честь... в конце концов нет, я молчу...

Тетя Настика не проронила ни слова во время этой Буфтиной речи и после нее, и Буфтя покинул

дом, так и не поняв, поверила она ему или нет, но на всякий случай рассказал людям, собравшимся у правления, что, сообразив дело, тетя Настика зарыдала и начала рвать на себе волосы, чем полностью удовлетворила доносчика, который и выразился соответственно:

— Я сделал сегодня доброе дело. Где же такое видано? Стыда у них нет! Ну и что из того, что девчонка сирота?..

В отличие от тети Настики мужчины, выслушавшие Буфтины наветы, отнеслись к ним брезгливо и едва не наплевали ему в рожу. Но Буфтя возгласил голосом сивиллы:

— Вот посмотрите, что из этого выйдет! Худо будет!

Рассуждая здраво, дядя Ипат, конечно, должен был позаботиться о том, чтобы остановить вонючий поток злословия. Он забыл, что если половину нашего населения составляют мужчины, то вторая половина соответственно приходится на женщин, а женщины склонны верить самым невероятным вещам, только не подлинной правде, и раз Буфте удалось втемяшить в их головы свою версию, то вышибить ее из них было уже трудней трудно-го. Дядя Ипат был не просто не прав, но и права не имел оставаться в убеждении что село — это как бы один человек, да еще обладающий способностью к справедливым оценкам.

Магдалике очень нравилась высокая стена, окружившая наш дом, и, поскольку мама в последнее время совсем сникла, Магдалина обращалась прямо ко мне:

— Правда здорово, Вероника? Будем жить, как в средневековом замке!

Я отвязала ей:

— Сначала нужно построить замок.

Они продолжали возить из карьера камень, и стена выростала все выше тем более что после ухода дяди Ипата со склада их уже никто не отвлекал и он мог всей душой отдаться труду. Насколько моя сестра была когда-то замкнутой и угрюмой настолько теперь она стала общительной и веселой. Но только после ее отъезда из села я поняла, что творилось тогда в ее душе. Среди книг ее маленькой библиотеки, оставшейся дома, я обнаружила дневник, начатый как раз в те дни. В каждой строке она обращалась к некоему человеку (ни разу не назвав его по имени) который означал для нее очень много — само его существование было для Магдалины равносильно открытию мира, и ее любовь к нему была одновременно женской и детской, и, конечно, эта любовь не могла длиться вечно: мечта есть мечта...

Приведу по памяти несколько записей из дневника Магдалины — по памяти, так как, прочитав его, я подумала что лучше будет его уничтожить, превратить в дым и пепел, а не оставлять в качестве свидетельства ибо дымом и пеплом стало все, что ей грезилося. Выдержки эти, как ни странно, живописны и сентиментальны, но это только показывает, как плохо я знала свою сестру.

«...сегодня вечером, когда солнце еще не зашло и деревья и дома купались в его лучах, как в золотой воде, и травы на холме были залиты светом, так что глазам открывался луг, совсем не похожий на себя, да и весь мир казался другим, ты оглянулся вокруг и вздрогнул, пораженный этим нереальным красно-золотым, червонным свечением. И ты сказал: мы несем ваш старый забор и построим вместо него стену. Но я услышала больше, чем было сказано, ибо в твоих устах каждое слово

обретает новую глубину и когда я слушаю тебя покоряясь необоримой силе твоих речей звучание слов меня минует, зато открывается их потаенный смысл, и, прости мне мою чувствительность я начинаю понимать, что в тебе всю жизнь бурлила великая любовь, подобная буйному костру в степи, укрытой покрывалом бесконечной ночи и я радостно соглашаюсь с тем, чего хочешь ты веря что эта стена, сложенная из белого камня быть может утолит твоё беспокойство... как знать ты наверно, всегда мечтал воплотить в камне свою бессмертную любовь...»

«...мы шли по улице навстречу сумеркам и воздух казался мне пропитанным едва ощутимыми запахами. Мы здоровались со всеми встречными, хотя я не узнавала их и, думается, ты тоже. Твоя голова, словно высеченная из мрамора мощной рукой каменотеса (а не скульптора), машинально склонялась в приветствиях а мне казалось что я могла бы вечно идти с тобой рядом даже не глядя на тебя,— идти и молчать. Этот вечер открыл мне прелесть молчания...»

Такова была ткань их откошений никогда не материализовавшаяся или материализовавшаяся только так, как материализуются в музыке едва уловимые оттенки чувства. Я процитировала здесь эти два отрывка и успокоила свою память. У меня есть привычка мысленно перечитывать в тревожные минуты дневник Магдалины — он возвращает мне гармонию между тем, что волнует меня изнутри, и, как сказал бы Влад Филиппский, окружающей средой. Но я-то знаю: я украла у Магдалины и дяди Ипата их прошлое, в котором они больше не нуждаются и которое сегодня терзает меня.

Отец рассказывал:

— Думаю. это было в конце октября — дни стояли облачные и даже дождливые. Я, как обычно, покормил у конюшни, глядя на усталых коней. Я ждал, пока стемнеет и можно будет по одному отвести их в конюшню и запереть в стойлах и дать каждому сена на ночь. И вот я увидел как он поднимается на холм, и обрадовался, что будет с кем поговорить. Но когда он подошел ближе, я так удивился, что даже не ответил на «добрый вечер»: он был похож на святого лицо у него было, как у человека. приготовившегося к смерти и примирившегося с собой и с людьми. Такие лица бывают у тех, кого уже ничто не заботит. кто ничего от жизни не ждет. потому что все, что она могла дать, она дала, и загадок больше нет на свете. Будь он юродивым, тогда ладно, но ведь Ипат всю жизнь хотел познаться. где собака зарыта, и всю жизнь его лицо выражало муку человека, который пытается и никак не может понять что-то очень важное.

Я спросил его:

— Что с тобой? Ты ходишь так. будто у тебя яйцо за пазухой и ты боишься его разбить.

Он улыбнулся нехотя, едва-едва, точно и впрямь опасался сплугнуть со своего лица это мученическое выражение.

— Оставим это.— сказал он.— Я хочу еще раз посмотреть на моего коня.

И мы пошли туда. где пасся его конь, только это был уже не конь, а настоящий одер, почти совсем ослепший. Ипат долго смотрел на него, потом повернулся ко мне.

— Можно, я его прогуляю? — спросил он.

— Если хочешь...

— А можно, я принесу ему поесть?

— Ради бога.

С тех пор он стал приходить каждый вечер и вы-

гуливал своего коня и кормил его кукурузой. Я думаю, он боялся что конь не выдержит и оклеет раньше чем решится в правлении его судьба,— слишком уж он был натрудившийся и старый.

Ипат не приходил лишь в те дни, когда гулял с Магдалиной по своему вишневному саду. Я говорил себе: человеку, чтобы примириться с жизнью, только и нужны: любимая женщина, сад, чтобы с нею гулять в нем, и конь — для заботы...

Дальнейшие события разворачивались с быстротой почти фантастической.

Первым человеком, увидевшим Григоре, сына дяди Ипата, когда он вышел из автобуса, оказался по иронии судьбы все тот же Буфтя. Кто знает, каким ветром занесло его на автостанцию, но так или иначе, приметив Григоре, Буфтя побежал ему навстречу, раскинул руки и едва ли не полез целоваться, да только тот с отвращением уклонился. Тогда Буфтя спросил:

— Ты в курсе?

Григоре презрительно посмотрел на него и процедил сквозь зубы:

— Твоя миссия окончена понятно?

И решительно пошел своей дорогой.

Григоре унаследовал от своего отца лишь одну черту характера — волю. Захочет чего-нибудь — обязательно добьется любой, как говорится ценой. Что коренным образом отличало его от дяди Ипата так это понимание жизни: он всегда был жесток. Думаю, что он воспитывал в себе это качество с самого детства; я однажды видел его левую руку, иссеченную шрамами,— говорили, что всякий раз когда ему не удавалось задуманное он брал лезвие и нарочно ранил себя стараясь сделать себе как можно больнее но внимательно следя при этом, чтобы не была задета вена; боль он выносил молча, слизывая с руки кровь.

Я думаю, что он ненавидел и презирал своего отца и дядя Ипат знал это и пытался иногда навести хотя бы хрупкий мостик к его душе. но всякий раз наталкивался на холодный взгляд сына.

— Стой, где стоишь, отец,— предупреждал Григоре — и запомни раз навсегда: я не буду твоей копией, и я не выношу мамалыгу. Я не могу сажать вишневые сады для того, чтобы весной любоваться их цветением, а осенью — опадающей листвой. Мне не нравится, когда коней держат ради их красоты и я не терплю пустых разговоров. Если в доме есть ружье, из него надо стрелять. Твое не мое. Я хочу быть сильным. хочу быть кем-то...

— Всякий человек — это кто-то, и чтобы быть кем-то...

— Я хочу быть кем-то не в твоём смысле, а в моём собственном. Например, будь я тогда мужчиной, а не ребенком. председателем стал бы я. а не Рэчилэ.

— Мда... понятно. Тогда купи трубу и найми музыканта: пускай трубит тебе по утрам подъем. а вечером отбой, а когда пойдешь по дороге. пусть он бежит впереди и кричит людям, чтобы посторожились,— Григоре идет!..

После этого разговора пропасть между отцом и сыном стала еще глубже. Когда Григоре этим летом уезжал учиться в Кишинев (кстати, он поступил в университет, а не в сельскохозяйственный институт) дядя Ипат даже не проводил его. Люди рассказывали, что тетя Настика кричала на все село:

— Он словно и не сын тебе. Ипат! Как ты ведешь себя?

— Я веду себя так, как хочется мне. А он — как хочется ему.

Григоре в ту минуту как раз взялся за чемодан.

— До свидания, мама, — сказал он.

И прошел мимо отца своей обычной походкой даже не глянув в его сторону.

Дядя Ипат смотрел как он удаляется, и взволнованно пытался раскурить потухшую папиросу.

— Надо было бить эго пока был маленьким. А теперь поздно.

— Бить? — взвилась тетя Настика. — За что? За то что он не такая размазня, как ты?

С того дня дядя Ипат переменялся. Он уже не смеялся даже над Буфтей, и единственным человеком, с которым он еще находил общий язык, был Эмиль, но именно в эти дни Эмиль умер и дядя Ипат две недели ходил черный так что собаки выли при виде его. Не лаяли как на всех людей а именно выли, точно он был мертвец.

Люди видели его только два раза в день: утром, когда он шел на склад и вечером, когда он прямо со склада отправлялся в сад. Он оставался там до поздней ночи и никто не замечал как он возвращается домой чтобы уснуть в сарае. Он даже в дом не заходил. И, может быть, на том и завершилась бы история его жизни, если бы однажды он не заглянул в дом своего покойного друга и не увидел там оцепеневших детей и женщин. Совместный труд с Магдалиной как будто вернул его к жизни, он снова стал веселым, настырным стариком, и никто до сих пор не может понять, почему он не остановил Буфтя, когда еще не поздно было сделать это. Может быть он считал унижительным для себя бояться Буфти. кто знает...

Когда нагрянул Григоре, село ходуном ходило. Кумушки чесали языки, тетя Настика всем объявила, что разведется так что свежеспеченный студент придя домой уже знал, что ему делать. А может быть, он задумал свой план еще до того, как сел в автобус. Во всяком случае, он был совершенно спокоен, по крайней мере с виду, аккуратно поставил чемоданчик в угол и попросил, чтобы мать дала ему поесть и выпить. Это он-то, которого никто не видел пьющим даже молодое, еще нехмельное вино! Когда он в сумерках вышел из дому, встречные шарахались с его пути — у него были глаза змеи. Он отправился прямо в сад, где обычно гуляли дядя Ипат и Магдалина, и, притаившись, дождался их. Затем он неслышно пустился за ними, и, когда дядя Ипат по обычаю пошел дальше один, а Магдалина задержалась у ворот, именно в эти несколько мгновений и произошло то страшное, о чем я веду рассказ. Никто не услышал крика Магдалины, ни один громкий звук не нарушил ночную тишину...

Григоре вернулся домой за полночь, ударом ноги распахнул дверь сарая, где спал дядя Ипат, и сказал:

— Ты по-прежнему считаешь, что тебе все прощается?

Дядя Ипат ничего не понял со сна и только проормотал:

— Чего тебе надо?

Он спрашивал его, как чужого.

— Я пришел сказать тебе, что вся твоя жизнь до сегодняшнего дня была и есть дерьмо! — заорал Григоре.

— Каждый живет, как может, — ответил дядя Ипат, переворачиваясь на другой бок, — а я жил, как хотел.

— Посмотрим, что ты скажешь завтра.

— Ладно... иди спать.

Но Григоре спать не пошел. Он изо всех сил

хлопнул дверью сарая и, даже не захватив из комнаты чемоданчик пешком пошагал по флорештской дороге.

Все это случилось в ночь с субботы на воскресенье.

— Ох-хо-хо говорю я себе охохонюшки! Акация, к которой ты была привязана, голая, нагая, еще хранит тепло твоего тела. Ее шершавая кора пахнет так, как пахли твои волосы, такие густые и такие длинные, что они укрыли твою грудь и, спадая по прекрасному телу до самых колен одели его и люди, увидев тебя, крестились со страху; собравшись толпой, они смотрели на тебя, прикрученную к дереву вшившимися в плоть веревками, и холодный ветер шевелил твои волосы, и безжизненное рассветное солнце поздней осени заглядывало в твои глаза и осевший на ветвях иней таял у тебя в волосах; они молчали и смотрели, не двигаясь с места, словно зачарованные, до той самой минуты, когда мама, случайно выглянув в окно, удивилась, отчего у наших ворот собралось столько народу и, поняв, что произошло, упала как подкошенная издав крик, короткий как ваша любовь, которая не имела права быть любовью... Как птица, сбивая пулей, крикнула мама.

Если бы ты не была моей сестрой, я выбежала бы к тебе и, отстригив зевак, наверное, сама замерла бы, как и они, потрясенная твоей неземной красотой; как и они, я решила бы, что ты — святая, и радовалась бы, что ты снизошла с небес именно к нашему дому и может быть, я крестилась бы как и они потому что в первый миг я бы тебя не узнала — такую, жестоко привязанную к дереву, одетую в зыбкий наряд из светлых, как солнце, волос, достающих тебе до колен; как и они, я не догадалась бы, что ведь надо же наконец тебя развязать...

Ох если бы ты не была моей сестрой, я лишилась бы чувств как мама, упавшая без сознания на пол, и тогда, может быть, эти идиоты не сообразили бы, что ты — это ты, не ангел, а земная девушка, и что у тебя есть имя, и что ты — моя сестра...

Но, говорю я себе, именно потому, что ты — моя сестра, я зашла в долгим крике, и они словно пробудились от сна, и какая-то женщина закричала на мужчин, чтобы они убегали вон, и мужчины опустили глаза и поплелись прочь, а женщины торпливо, ломая ногти, развязали веревки и, набросив на тебя что у кого нашлось, отнесли в дом.

Я вошла за ними, и женщины уложили тебя на кровать, и мама, очнувшись от беспомощства, бедная мама, закричала: «Миля, где же ты? Приди и защити нас!» — а я стала просить женщин сейчас же уйти из нашего дома чтобы и духу их не было. Я вопила: «Дуры вы, и мужья ваши дураки!» И они гурьбой повалили к дверям, крестясь и бормоча на ходу: «Господи, господи...», а я завернула тебя в одеяло и еще в одно, и разжала ложкой твои стиснутые зубы, и влила тебе в рот несколько капель водки.

Ты пришла в себя примерно через полчаса, но не окончательно. Ты бредила:

— Дорогой мой... как тяжело тебе нести этот камень... ты падаешь на колени от тяжести... дай помогу... какой тяжелый камень... камень... Потом ты открыла глаза и, оглядевшись, прошептала: — Вероника, ты не хочешь позвать... Ипата?

Так и сказала: «Ипата», а не «дядю Ипата», — и, если бы ты не была моей сестрой, то, поверь, я мигом слетала бы и позвала его... но ты — моя се-

стра, и я не могла совладать с собой я пылала в эти минуты смертельной ненавистью ко всем людям, мужчинам и женщинам и я сказала:

— Нет, Магдалина.

Ты не настаивала. Ты только спросила после долгого молчания:

— Он тоже был? Он видел меня?

— Не был. Не видел.

— Я бы хотела, чтобы видел — сказала ты. — Я бы хотела, чтобы он знал, что я женщина. Он не знает.

— Молчи.

— Я женщина, правда Вероника? Ох как мне хочется, чтобы он знал что я только женщина!

— Не надо — сказала я. — Так лучше.

— Никогда нельзя знать, как лучше. Мы вместе строили стену и копали погреб, мы вместе гуляли в вишневом саду, и я жила в его душе. Но мы не сделали одного главного, что должны сделать вместе мужчина и женщина, — мы не построили дом. Обыкновенный дом.

— Да, да, — повторила я, лишь бы что-то сказать. — А теперь тебе надо встать и надеть платье.

— Знаю. Мне надо надеть платье и уйти.

Магдалина, если бы ты не была моей сестрой я бы проводила тебя хоть до околицы и, плача и причитая, мама шла бы вместе с нами. Но я осталась дома. я не хотела усиливать твою боль. и мама тоже осталась дома. Мы с ней дошли только до ворот, и ты, уже выйдя на дорогу, обернулась к нам и сказала:

— Ипат хотел еще выше надстроить эту стену. Как будто стена могла меня защитить...

С тех пор как дядя Ипат перебрался из дома в сарай, он ел, как говорится, что бог посылал: хлеб с овечьей брызгой, кислую капусту из бочки, лук — словом, что попадалось, так что тете Настике уже нечего было искать по воскресеньям на рынке, где в прежние времена случалось ей покупать сметану или сыр. или что там еще бывает нужно в настоящей семье. Поэтому в воскресные дни она спала долго.

Перед рассветом она видела во сне звезду неслыханной величины, размером с большую тыкву, и звезда эта быстро катилась по голубому небу с запада на восток. Потом она увидела самое себя; будто стоит на пороге и говорит соседкам:

— Вы знаете, как мы поженились с Ипатом? Он посадил на майдане тыкву, и мы не могли танцевать — ноги цеплялись. А я прошу его: отсуду у своего отца землю, будем танцевать там... А он напустился, как Дед Мороз, и говорит: землю на тот свет не унесешь. А я ему: на тот свет ничего не унесешь. А он: есть такое, что и унесешь...

Но тут налетела метель, и звезда погасла.

Дядя Ипат тем временем искал в светящемся полумраке сарая спички, а когда нашел, развел примус, налил воды в котелок и поставил его на огонь. Он все время гнал от себя мысли о тете Настике.

— Она не виновата, что жизнь не сложилась. Ну, не вышло, так что же? Хотела быть богатой, быть как люди, но ведь и я хочу быть человеком. Черт ее батьку знает... Может, подойди я по-хорошему, она бы поняла. И впрямь, нельзя же дергать жизнь за ниточку и рассчитывать, что она будет плясать под твою дудку...

Он провел рукой по шершавым щекам и, чтобы не думать больше о тете Настике и о своей незадавшейся жизни, завел вполголоса веселую застольную песню. Но песня не получилась: нерадостно было на сердце.

Он погасил примус, подхватил ветошкой булькающий котелок и налил воды в стакан. Потом он развел помазком жидкую мыльную пену размазал ее по щекам и скрипя зубами, начал бриться. Покончив с этим занятием, он пристроился у окошка и стал смотреть, как холодный колючий ветер взбивает под заборами ворохи мертвой листвы и, вдруг взметнувшись над землей подобно невидимому дракону, налетает на оголенные скелеты деревьев заставляя их хрипло скрипеть.

— Зима на носу, — негромко сказал дядя Ипат.

Он закрыл глаза, и перед ним предстала рождественская елка, и в зодри его ударил изумный запах теплой кутьи, и он увидел себя ребенком, разглядывающим с печи исполнинские тени родителей летающие по стенам, и столкнулся со скорбными, тусклыми очами богоматери, смотревшей на него из угла, и трепетный огонек лампы чудесным образом менял при этом выражение ее лица. Сколько лет миновало с тех пор? Сколько воды утекло в реке? Дяде Ипату вдруг подумалось, что чем старше он становится, тем ближе к нему придвигается мальчик, которым он был когда-то. И правда, он все чаще возникал перед ним, иной раз обиженный и заплаканный, но чаще — радостный и хохочущий, в вечном ожидании праздника. Рождественская елка. Крещенская звезда. Пасхальная литургия. Да мало ли их праздников! Старый Теринте был человек неглупый и не приневоливал мальчишку к работе.

— Пусть растет, — говаривал он, — никуда не денется, придет и его срок.

Может быть, именно поэтому дядя Ипат по гроб жизни был благодарен своему отцу и не желал таскать его по судам из-за нескольких гектаров наследной земли.

Когда старый Теринте почувствовал, что ему долго осталось бременить мир, он собрался с духом и как-то раз перековылял через мост, нарушив таким образом собственный твердый зарок. Тык-мык. он притащился в Безены, трюх-трюх. обошел ограду дяди Ипата, открыл ворота, оглядел двор зоркими стариковскими глазами и уселся на завалинку, ни одним движением не выразив удовольствия или недовольствия. А тут и сам Ипат пожаловал с поля. Увидев отца, он не сказал ни слова, отнес тяпку под навес, еще чего-то повозился там и лишь после этого приблизился к крыльцу.

— Пришел?

— Пришел. сынок. А ты все такой же. И на кого же ты. к чертовой матери, похож?

— Хм! — не сдержался дядя Ипат.

— Ну ладно. Я вот зачем... мда... чую что доедаю краешку. Спросить хотел... ты же мой сын... и земля...

— Да что еще спрашивать... Нет.

— Так... Кто тебя разберет, может, ты и впрямь умней других. Говорят, с самим попом ссоришься. Я-то тебя за дурака знал...

— Не мог ты...

— Га?

— Не можешь ты меня знать.

Тут старик поднялся с завалинки и поплелся во свои.

Дядя Ипат вспомнил сейчас белое прекрасное лицо отца, и на глаза его навернулись слезы. Слишком поздно мы научаемся доброте...

Он медленно отошел от окна. Произнес несколько невнятных слов, может быть, выбранился. Услышал ли он дальний шум голосов, волной пробежавший по селу? Завыл ли собаки, срываясь с цепей, точно перед землетрясением? Или, как знать, он вдруг различил донесшийся через ночь зов Магда-

лины, ез крик остановившийся в горле когда у нее перехватило дыхание и душный воздух унижения обжег легкие? Что заставило его броситься ни с того ни с сего в бессмысленные метания по сараю? Наконец ударившись головой о вставшую дыбом скамейку, он сообразил, что ищет обувь. Обувь, то есть разбитые, без шнурков, железные от старости туфли, находилась на положенном месте, в углу у двери, и будь он в нормальном состоянии он конечно увидел бы их и увидел бы носки, валявшиеся там же, и не забыл бы хоть пятерней причесать волосы длинные, слишком густые для его лет... Холодный ветер поздней осени гнал по сельской улице мертвую листву закручивая ее призрачными витыми колоннами, забирался под его выгоревшую простую рубаху, почерневшую на воротах и у запястий... Эту рубаху давно надо было выстирать, и он надел ее только по спешке потому что она бросилась ему в глаза, и он схватил ее со спинки стула и торопливо натянул через голову на голубую майку, на широкие, еще мощные плечи и кинулся в село...

Он вспомнил Магдалину, ее голубые глаза, ее глубинное молчание... и еще вспомнил: красивая грустная женщина тихо шла по сельской улице и стылый ветер, бивший прямо в лицо ей, заставил ее повернуть голову и она взглянула на Ипата. Не видя его, ни на миг не сбившись с шага... В руке у нее было новое цинковое ведро. Чего не хватало этой картине? Осеннего ровного солнца. Вместо солнца был ветер. Дядя Ипат так и не нашел туфель и выбежал на улицу разутый. Слышал ли он голоса? Вой собак? Нет. Что же? Что именно? Он не смог бы объяснить, но его гнало вперед то же чувство которое когда-то на фронте заставило его внезапно в рассветный час вскочить на ноги и закричать во весь голос: «Ура!» Он закричал ура, хотя кричать ему никак не было положено, и глубоко спавший взвод даже не подумал проснуться. Только Рэчилз, храпевший рядом, застал поднялся на локте бегло огляделся вокруг и сердито сказал: «Спи. Ипат!» Дядя Ипат снова протрубил ура. «Екнулся,—проворчал кто-то.—Сделайте ему темную...» А дядя Ипат знал себе надывается, как петух: «Уррра! Уррра!» Другие слова ему просто не приходили в голову, а он мучительно пытался предупредить, предостеречь товарищей, передать им свою тревогу, но жалкий десяток русских слов которые он к тому времени выучил, как нарочно вышибло у него из памяти. Обычно он прекрасно обходился простыми звуками, и, когда кто-нибудь из русских начинал растолковывать ему последнюю политинформацию, он всегда отзывался долгим неопределенным «Да-а-а...», и нельзя было понять, согласен он или не согласен. Собеседник только кричал, и за дело брался Рэчилз как более подготовленный товарищ... А в ту минуту дядя Ипат запамтовал все слова, кроме «Уррра!», и вопил до тех пор, пока лейтенант на него не прикрикнул и не велел лечь и заткнуться. А вышло то, что немцы просочились как раз на их участке, и много наших было там перебито. Тогда он и вынес раненого Рэчилза на горбу в тыл...

Холодный осенний ветер сорвал с головы женщины легкий платок, и она запоздалым движением попыталась поймать его в воздухе. Но поздно, поздно... Ветер подхватил платок и завертел в воздухе вместе со столбом золотых листьев. Слышите? Золотые листья! Ее червонные волосы затрепетали и рассыпались. Они хлынули по ее телу переливающимся водопадом, укрыв ее до колен, как плащом. Она опустила ведро на землю...

— Ты не можешь больше жить среди нас!

Он почувствовал сильный удар в плечо, потом в лицо. По его свежесбритой щеке зазмеялась струйка крови. Кто ударил? За что? Перед ним качалась в воздухе благообразная рожа батюшки Даниила, но теперь в ней было что-то собачье.

— Так ты хотел знать, а?

— Что знать?— не понял дядя Ипат.

Батюшка исчез, и на его месте появился старый Теринте дрожащий от ветхости, согнувшийся до земли.

— А сейчас что скажешь?

— Сейчас?— опять не понял дядя Ипат.

Его били сперва кулаками, потом, уже войдя в раж, ногами, но он все не падал на землю. а только прикусил нижнюю губу и сжал кулаки, желая показать людям самое простое и самое важное: что он не боится и ему не страшно, но не потому что он смел и терпелив к побоям, а потому, что не виноват. Глаза его были открыты и смотрели прямо, без тени ненависти или даже обиды; он смотрел так, как может смотреть человек в лицо подступившей смерти как смотрит порой на охотника раненая большая птица. Он не сказал ни слова, потому что презирал их и все-таки пытался скрыть свое презрение, зная, что они не поймут, как он их презирает; может быть, тут не было даже и презрения, скорее он оправдывал их, и они, чувствуя это били его еще ожесточеннее.

Может быть, он оправдывал их, зная, как они глухи и слепы, и он их любил, не слушая проклятий и брани и не обращая внимания на сыпавшиеся отовсюду удары.

Может быть, его просто не интересовало то, что происходило с ним в эти минуты, потому что душа его была занята Магдалиной, и звала ее, и нуждалась в ней, как нуждается мы порой в одной-единственной звездочке, и не оттого, что ночь темна и мы не видим дороги, а оттого, что в свете этой звезды проявляются другие важные и прекрасные вещи: река, лист, камень.

Все это присутствовало в выражении его глаз, в чертах его окровавленного лица, и его равнодушие к ударам показывало, что то, что было в нем, значило куда больше, чем то, что с ним делали.

Может быть, его оставили бы в покое гораздо раньше, потому что в конце концов в их понимании большая вина лежала на Магдалине: ведь она женщина, и как женщине ей не следовало бродить с ним ночами в полях; но, с другой стороны, она была еще слишком молода, не девушка даже, а почти девочка, пусть даже взбалмошная и непутевая, но девчонка, и не стоило ему с ней связываться... Но тут одна из женщин закричала: девчонка? Знаем мы таких девчонок! И Буфтя воспользовался моментом, и схватил камень, и ударил дядю Ипата в плечо... он трусил бить по голове!

И мужчины тогда начали понимать, что они творят, ибо слепое это бешенство могло кончиться убийством. До них вдруг дошла мера ненависти Буфти к дяде Ипату: это была ненависть слабости и ничтожества к гордости и силе, но она копилась годы и десятки лет, и Буфтя завопил:

— На колени!

Наступила тишина, и дядя Ипат чувствовал только, как теплая рука Магдалины стирает кровь с его лица. Потом она сжала его пальцы, и он услышал голос:

— Дядя Ипат, давайте погуляем в саду.

Она сказала это и мерзко засмеялась. Ее смех был невыносим, и он зажал уши руками, чтобы не слышать его.

Кто-то из мужчин крикнул:

— Хватит! Оставьте!

Но женщины, женщины, которые всю жизнь стоят на коленях, решили, что мысль Буфти совсем не плоха.

— Магдалина уехала, потому что брюхата! На колени!

Бабий визг окончательно привел мужчин в чувство, кое-кто даже расхохотался, и тут в громе расходящегося кругами хохота женщин погнало домой: — Убирайтесь!

А один добавил:

— И ты, Буфтя, дуй за бабами.

Потом, когда смех затих, он подошел к дяде Ипату и сказал:

— Дураки мы, Ипат. Прости нас еще раз... если можешь.

И дядя Ипат улыбнулся; ничего не сказал, только улыбнулся, и одни поняли так, что он их прощает, а другие — что не прощает и не простит.

Он пошел на них, и они расступились.

Через некоторое время к нему подошел человек и долго смотрел на окровавленное лицо дяди Ипата, на его разорванную рубаху, на исцарапанные, побитые ноги.

— Ты меня узнаешь? — спросил человек.

Дядя Ипат поднял на него глаза и сказал:

— Ты Рэчилэ.

— Да, — подтвердил Рэчилэ. — Он самый. Пойдем домой.

Он помог дяде Ипату встать с камня, на котором он сидел, и они пошли.

У ворот своего дома дядя Ипат снова поглядел на Рэчилэ.

— Устал ты, брат...

Председатель усмехнулся.

— Устал.

— Знаешь, почему я говорю?

— Не знаю.

— Пока ты еще человек верни мне коня. Он все равно уже ни на что не годен.

Рэчилэ окаменел.

— Ты и впрямь выжил из ума Ипат, — сказал он наконец. — Где же такое видано? Конь колхозный.

— Он ни на что не годен. — повторил дядя Ипат. — Вы его убьете, пустите на колбасу.

— А ты как думал? План есть план. У нас инструкция, черным по белому...

— Инструкция для тебя закон?

— Закон.

— Закон что дышло...

— Не городи чепуху, Ипат. Я не могу отдать тебе коня.

Дядя Ипат еще раз пристально всмотрелся в лицо Рэчилэ, словно хотел убедиться, что тот не шутит, и наконец махнул рукой.

— Мда...

— Что? — вскинулся Рэчилэ. — Что ты сказал?

Но дядя Ипат уже повернулся к нему спиной. Вошел во двор и направился к дому. Не к сараю, где спал с давних пор, а к дому. Рэчилэ проводил его взглядом и впервые заметил, что волосы у дяди Ипата седые, а спина согнута.

— Хм, — пробормотал он, уходя, — пусть забирает, раз так. Отпишемся.

Потом, по дороге в правление, Рэчилэ думал о том, что, если дошло до того, что старых коней убивают и пускают на колбасу, вместо того чтобы хоронить, как встарь, значит, в этом мире что-то не так. Дальше он думать не стал, а понял одно: он и сам состарился, потерял бдительность.

— Ладно, — бормотнул он снова, — скоро отчетное собрание, а там будет видно...

И глаза его снова стали пустыми, а это хуже, чем если бы они стали печальными.

Между тем дядя Ипат вошел в сени и стал в темноте отмывать кровь с лица. Когда он отворил дверь в комнату, взор его был ясен и чист. Только углубились и стали резче морщины на его щеках за минувший день или ночь... ему было все равно, он видел перед собой лишь юное обнаженное тело Магдалины, распятое, перетянутое жесткими веревками, стройное, излучающее белизну и свет, а может быть, и этого он не видел, как не чувствовал перед тем вонзавшихся в него кулаков и сапог.

Его жена сидела на кровати и вязала для сына носки из толстой теплой шерсти. Появление дяди Ипата прервало ее неторопливые мысли, но руки ее шевелились с тем же проворством.

— Входи. Чего тебе?

Он вошел, опустив глаза, с каменным лицом, потому что прежнее лицо святого он потерял в поле, когда бежал и кричал: «Магдалина, Магдалина!» — а потом упал и пробормотал только: «Магдалина, доченька...»

Тетя Настика окинула его взглядом с головы до ног и поморщилась.

— Стыдно, Ипат?

Дядя Ипат сказал:

— Как ты полагаешь, Настика, прежде чем человек сделает что-нибудь, должен он принять в расчет других?

— Дура я была, что пошла за тобой. — ответила она.

— Если человеку постоянно приходится думать, что скажут другие, и если от страха перед другими он делает не то, что хочет, а то, чего хотят они, зачем тогда спрашивается жить?

— Слава богу, хоть Григоре на тебя не похож.

— Григоре... ни на кого не похож.

— Дожил ты... ненавидишь собственного сына.

— Я дожил до другого, но до чего — не скажу тебе.

— Дура я что пошла за тобой.

— Любовь как смерть, она не спрашивается...

— Как?

— Мы старые люди, Настика, и нам бы нужен покой. Я думал, что хоть в старости заживу спокойно, что ты поймешь... Я радовался, когда Рэчилэ начал сбивать людей в колхоз. Я говорил себе: в колхозе все равны, люди не будут покупать и продавать землю, не будут рваться к богатству...

— Когда я поняла свою ошибку, ты стал мне противен. Все люди как люди — бегают, заботятся...

— Люди разные...

— И только ты со своим садом... у-у... Но ничего теперь ты погорел! Тогда, с попом, ты вышел сухим из воды, а теперь попался.

— Не обо мне речь.

— Не беспокойся, твоя сиротка поедет в город и будет там делать то же, что делала здесь с тобой...

Дядя Ипат, по-прежнему не поднимая глаз, встал с табурета, подошел к кровати и сильно ударил тетю Настика по лицу.

— Мы с Магдалиной строили стену и копали погреб — сказал он твердо, скорее себе, чем ей. — Мы вместе ходили за вишневым садом.

Сказав это, он вышел из дома, ушел в сарай и уснул. Он хотел бы уснуть навечно.

Вот тогда-то, после отъезда Магдалины, дядя Ипат переселился на житье в старую конюшню, поближе к Филимону Филиппскому. Но он и с ним

не ужилсЯ, хотя однажды в столовой Филимон вырнул его из беды. Мне рассказывала об этом тетя Севастина. буфетчица.

Был, говорит она, жаркий день, и первым в столовую явился Буфтя. Тетя Севастина не успела еще надеть халат, как он уже пристроился возле стойки, надутый и важный, точно аршин проглотил.

«Понимаешь, Вероника, я его увидела и расхоталась. Сколько лет знаю Буфтя, вечно он ежится и жался по углам, а тут впору было зачураться, до того напыжился. Брюхо вперед выставил — потомственный кладовщик! Это из сторожей-то! А я тебе скажу: недолго ему на складе хозяйничать — или сам проворуется, или люди выгонят. Это же известный фрукт!.. Ну вот, смотрю я на него и смеюсь.

— Чего тебе. Буфтя?

А он:

— Севастина, я не желаю слышать такого фамильярного обращения. Меня зовут товарищ Буфтя. ясно? Никакого Буфти нет, а есть товарищ Буфтя.

— Ясно, господин Буфтя! — отвечаю я и отдаю ему честь.

— Эх, Севастина, темная ты баба...

Тут мэня заело.

— Ты — говорю — светлый... Ну, чего душа желает?

Он даже разнежился.

— Моя — говорит — душа много чего желает, но с тобой ведь не столкнешься, а, толстуха?

— Буфтя, — говорю. — сынок! У тебя, верно, солнечный удар. Да если, старый пес, я еще раз услышу такие намеки, то расскажу мужу, и ты дороги не найдешь, по которой бежать...

Тогда он снова надулся и заказал кружку пива. Я ему налила, и он сел у окна и начал пить маленькими глотками.

Тем временем стали и другие подходить, между прочим, и Филимон. Помню от него так несло конюшней, что я снахальничала:

— Ты бы, Филимон, почаще мылся что ли...

Но он нисколько не рассердился.

— Я, — говорит — моюсь, Севастина, да только этот запах не отбивается. Моя жена даже любит. Сперва нос воротила говорила, что нам лучше прямо переехать в конюшню, чем заводить хлев в доме, а теперь любит. потому что еще от почты чует когда я возвращаюсь домой.

Он тоже взял пива и я думала, что он сядет за один стол с Буфтей. Но нет не сел. Даже сделал вид, что не замечает его. Посмотрел, как на пустое место. А почему понятно: они с дядей Ипатом друзья-приятели, а Буфтя... Ах, верь не верь, а я поглядела тогда и сказала себе: добром этот день не кончится. Ведь Буфтя пес он не смолчит. Подумать только — простой конюх смотрит на кладовщика, как на пустое место. И точно, не смолчал. Кричит от окна:

— Филимон, хочешь воблы? Хорошая вобла! Мы с председателем были в Бельцах и там оторвали воблу под пиво. Он кило, и я кило. Дороговато, зато культурно. Дать, Филимон?

Прямо медовым таким голоском. Но Филимон — ноль внимания. фунт презрения. Даже глаза не поднял. И тут Буфтя словно опять сгорбилсЯ.

— Чего ты, Филимон? Разве я сделал тебе какое зло? Или ты думаешь я тебя подсизживаю хочу твою должность занять? Так не бойся, моей жене не нравятся конская вонь.

Тут я решила: все, полетят клочки по закоулочкам. Филимон терпит терпит, но лучше его не

заводить. Однако, смотрю, Филимон даже бровью на повел. Сидит как сидел.

А народу уже набилось — не пролезть. Надымили — рук не видать, и шум стоит, как на ярмарке. Я было прикрикнула пару раз, чтобы курили на улице, но было бы с кем разговаривать... И мой там же был, тоже с кружкой и с папиросой. Я сколько раз зарекалась не давать пива которые курят, только что толку? План есть план. Кто обещает в столовой, кроме дяди Ипата? Разве инспектор придет какой или корреспондент, тогда да, а так, без пива, хоть сама в кассу ложись.

Уж не помню, чего они там толковали, да и не слишком прислушивалась. Знаешь как: то один подойдет, то другой, кружка за кружкой, и так чуть не до вечера, я даже на перерыв не закрылась, съевала пару пирожков, заморила червячка и торгую дальше — воскресенье все-таки. Ну вот. А после обеда стало на дворе темнеть. Дед Гаврил на весь зал кричит:

— Спорим дождь будет!

Я себе говорю: ищи дураков спорить, это и слепому видно. что дождь будет. Дед Гаврил уже и пришел поддаты да еще у меня две с половиной кружки взял, так что хорошо принял... И что ж ты думаешь? Вдруг Буфтя высовывается:

— Ставлю три кружки, что дождя не будет!

Которые, может, подумали, что Буфтя тоже налюбкался, но нет, он трезвый был. Дед подсел к нему за стол, а тут и ждать не пришлось: такая гроза грянула, что любо-дорого, и пришлось Буфте срочно окно закрывать. а вода в стекло так и хлещет. Дед Гаврил раззявил свой щербатый рот до ушей и гогочет:

— Проспорил, Буфтя!

А тот ему:

— И хорошо. что проспорил. Ставлю всем по кружке!

Что тут сделалось этого и сказать нельзя. А чего хотел Буфтя? К мужикам подластиться. Я только наливаю, а он за всех платит и я уже вижу, кое-кто пьет за его здоровье. Видишь как легко и просто продаются люди...

Он и для Филимона пиво взял, самолично поднес, но тот этак ребром ладони отодвинул кружку. Ладно.

И тут открывается дверь и входит дядя Ипат — мокрый, хоть выжми. Штанины закатаны, туфли в руках течет с него... И опять же Буфтя его первый заметил и на весь зал заорал:

— Вот, братцы и мокрая курица пожаловала!

От таких слов все замерли, повернулись к двери и... как начнут смеяться, аж стены ходоном заходили. А дядя Ипат как стоял в дверях, так и стоит. даже глаз не поднял. Бедный человек! Я, как бы тебе сказать не очень верю тому, что про него болтают. Людская молва — кривое зеркало.

А Буфтя видя, что первая дерзость сошла с рук, прет себе дальше:

— Где твой конь, Ипат? Скажи Филимону, пусть приведет твоего коня и я ему поставлю ведро пива. Теперь в буфете пива — хоть залейся! Слышишь меня? С клячей выпью, а с тобой не стану!

Отомстил-таки Буфтя. Через столько лет. И все остальные были на его стороне. Поверишь ли, мне так жалко было дядю Ипата, и я закричала. чтобы они перестали ржать. но... было бы с кем разговаривать. Дядя Ипат попался: как и тогда, с попом, все пошли против него, но в те годы он был молодой и гордый а здесь, в столовке, сгорбилсЯ, как нищий и точно воды в рот набрал. Я сказала себе: кончился дядя Ипат, нет его больше, уже не

расправит он плеч. не поднимет глаз, не подмигнет мне как прежде. Господи, одна тень от него осталась!.. Ты спросишь меня: а люди? Люди что цыплята: заведись среди них хилый, порченый — будет клевать. пока дух не вышибут. Что ж люди? Смотрят и хохочут. В шуты угодил Ипат.

А Буфтя еще подтолкнул деда Гаврила, и тот пьяный, лыка не вяжет, а туда же:

— Что, Ипат, приелась тебе твоя баба? На молодятину потянуло, а?

Опять все хохочут.

Дядя Ипат, худого слова не говоря, поставил туфли в уголок и, этак сжавшись, подошел к прилавку. Глянул на меня словно с того света и попросил стакан водки. Я хотела его остановить. я ему сказала:

— Не пей, дядя Ипат. Держись ты ведь настоящий мужчина, из чета вот им. Может не наливать?

— Наливай. Севастина, — говорит он. — Холодно мне. продрог...

И каким голосом он это сказал! Меня сама дрожь пробрала. Налила я, он поднял стакан дрожащей рукой и хлопнул без передышки.

А Буфтя не отстает.

— Вот, — говорит, — как живут некоторые! Человек пьет покупную водку а мы, вахлаки самогон хлещем или пиво лакаем.

Тут уже никто не засмеялся. Наоборот, нахмурились. А я перекрестилась под прилавком: не дай бог в третий раз до мордобоя дойдет. Бедный дядя Ипат! Ни дома у человека, ни стола, ничего... А когда он идет по улице, иные даже плюют в его сторону.

Видно, Буфтя раньше других понял, что Ипат был, да весь вышел, и уже не встанет из грязи. Собрался пузан с духом, одолел страх и решил: пора ставить точку.

Встал он, подошел ко мне и кидает бумажки.

— Давай, — говорит, — и мне бутылку водки. Я никого не хуже...

Что ты скажешь? Остальные скинулись по пятаку, по гривеннику и тоже водку берут. Я-то дуриха! Знала бы, что выйдет, не наливая бы. Но откуда было знать? Я, наоборот, обрадовалась как ненормальная, что за день выполню месячный план. А они уже бутылками звенят, стаканы до краев наливают. Это чтобы не быть хуже дяди Ипата. Гад Буфтя первый начал. И деду Гаврилу налил. тот и полез в бутылку:

— Не желаю сидеть с человеком, который... Не желаю, и все! А если я не желаю...

И начал наскикивать на дядю Ипата и замахиваться. Тот заслонился рукой, а старику много не надо было — возьми да и упали, как мешок с кукурузой. Этого-то я и боялась, потому что мужики тут же взъярились. Буфтя подзадоривает:

— Что ж получается, люди добрые? Он уже старика бьет! После всего — старика!

Тут все поднялись на дядю Ипата.. Я кинулась к нему — прикрыть если что, но Филимон опередил. взъерошился, зубы осердил, кулаки сжал, глаза кровью налились...

— Первому, — говорит, — кто его тронет, переломлю кости!

Да ведь один в поле не воин. Буфтя руками машет и места себе не находит от радости:

— Смотри, Филимон, в штаны не наложи!

Мужики надвигаются, сбоку заходят... и бутылки в руках. Худо было бы, но тут откуда ни возмись — два брата Филимона. Сразу все поняли, рядом стали. Народец притих: это драчуны известные, отчаянные. А Филимон взял дядю Ипата за локоть, вывел на улицу, потом вернулся и прямо

пошел к Буфтиному столу. Стал над ним и прогремел:

— Здесь, где ты сидишь, пустое место!

Буфтя побелел и глазами забегал.

— Как?

— Здесь где ты сидишь, пустое место! — повторил Филимон.

Потом открыл окно и мотнул головой.

— Вылазь!

И сам дрожит, как в лихорадке.

Люди, вижу опустили глаза. А Буфтя сгорбился, съехался — ни дать ни взять ворона! — да как сиганет а окно. Откуда и прыть взялась...

А Филимон с братьями пошел к двери но перед тем как выйти еще оглянулся и сказал всем сразу:

— Что же вы пива не пьете? У нас теперь пивные реки, кисельные бзрега.

И вышел».

...И все-таки дружба между этими людьми поломалась.

Глава шестая

На дворе месяц май и, как сообщает кишиневское радио, такой жары в республике за последние сто лет не было. Каролина Думитру, услышав эту информацию, сменила туфли с платформами на босоножки. тоже с платформами — это продукция нашей фирмы «Зорице», но с грифом «made in USSR», то есть предназначенная для экспорта, как объяснила мне сама Каролина. после чего я расхохотался, но не потому, что не поверил ей, а потому, что злился на нее из-за равнодушия, с которым она отнеслась ко всей вышеизложенной истории. Вот почему я сказал, не вдаваясь в долгие рассуждения:

— Ничего никогда не пропадает, ничего не забывается, все оставляет следы в нашей жизни и судьбе.

Каролина поглядела на меня своими удлинёнными, подкрашенными зеленкой глазами и раскрыла рот — наверное, чтобы лучше сосредоточиться.

— В каком смысле? — спросила она наконец.

— Если бы в нашем селе не жила некогда прекрасная Магдалина, село теперь было бы другим. Я имею в виду людей. И наша Вероника, и дядя Ипат, и Рэзилэ, и мой отец, я и ты — все были бы другими.

— Ты хочешь сказать, что если, например, мы с тобой любим друг друга, то наша любовь...

— Да, она вечна, как сам человек.

— Почему?

— Понимаешь, время неподвижно. Люди сами движутся сквозь него и оставляют следы. Если бы человек не был вечен, жизнь остановилась бы.

— Не понимаю. А Епуре?

— Что Епуре?

— Он тоже вечен?

— Дэ.

— Значит, зло вечно, как и добро?

— Разумеется.

— Что же тогда делать? Зарыться в карьер и гранить там камень?

— Потому-то мой отец и разошелся с дядей Ипатом. После того случая в столовой он не хотел с ним разговаривать. И тогда же у него переменился характер, он стал хмурым, даже угрюмым, хотя вообще-то он добрый. Он сказал дяде Ипату: «Человек остается человеком, пока отбрасывает

тень. Я был на твоей стороне, когда ты пытался вернуть своего конягу и когда строил с Магдалиной стену, надеясь уберечь ее от мирского зла. Ты хотел вкушать ей что нет ничего прекраснее вишневого сада в цвету потому что тебе не удалось научить этому сына. И я понимал тебя: ведь твой Григорз поехал учиться не для того чтобы понять мир и людей в мире и удивиться их красоте, а чтобы все это переменить для своей личной выгоды. Люди не понимают, что иногда лучше совсем ничего не менять, потому что старое — прочнее и потому что время бывает умнее нас. Но мне стало противно, когда я увидел: как ты пьешь казенную водку и позволяешь топтать себя ногами...» Мой отец хотел сказать этим: лучше не быть и быть чем быть и в то же время не быть. Поняла?

Похоже, что Каролина все-таки не очень глубоко вникла в то, что услышала от меня, да я, кажется, и сам не все понимал потому что после того, как отец столько рассказал мне про дядю Ипата, я отправился искать его и нашел дома, то есть в бесхозной конюшне. Он стоял у ворот обратив лицо к заходящему солнцу и закрыв глаза. Я приоткрылся к его одежде, но он даже не вздрогнул и только через минуту сказал:

— Слышишь коней?

Я на всякий случай наострил уши, но про себя рассмеялся, потому что кони у нас давно перевелись, и можно ли слышать ржание и топот коней, которых нет на свете?

— Не слышу — сказал я.

Он кивнул: так, мол, и должно быть.

— А вот я уже с полчаса как слышу их, и все мне кажется, что я снова мальчишка. И мне жаль, что я умер прежде, чем научился жить.

Мы вместе сели на порог и закурили.

— Твой отец хочет доказать мне, что я не должен был уходить из села и долбить камень в карьере. Он думает, я сломался. Но тогда, в столовой, я смолчал не потому, что был сломан, а потому, что не был уверен, поймут ли они мою правоту. Когда остаешься один против всех, трудно себя оправдывать, а людей виноватить. Вот и Магдалина... она уехала не от стыда, а потому, что считала себя виноватой. Хотя из всех нас только она и была права.

— А Рэчилз? — спросил я.

— Рэчилз?.. Да, Рэчилз. Он был прав в больших делах, а в малых всегда промахивался. Но ради больших дел ему простятся и малые. А мне и Буфте нет.

— Почему же вы тогда не помогали Рэчилзу?

Дядя Ипат удивленно посмотрел на меня.

— Я не помогал? Он жаловался, что я не помогал ему?

Тут я вспомнил слова отца: «Ипат всегда был поблизости от Рэчилза, и Рэчилз знал это, и, когда дядя Ипат выступал против него на собраниях, Рэчилз внимательно слушал. Так он проверял себя и свои поступки, потому что он деловой человек, и, будучи горячим, как все деловые люди, он понимал, что может зарваться, а Ипат заставлял его держать ухо востро. Взять хоть ту же венгерскую кукурузу. Ипат пришел к нему и спросил: ты видел своими глазами, как эта кукуруза растет в наших краях? Нет, говорит Рэчилз, не видел. Зачем же тогда засеивать столько гектаров? Район приказал. А район откуда знает? Им виднее. А помнишь, мы воевали в Венгрии, и там было жарче, чем у нас. Ну и что? Ничего, но там и лето длиннее. Район считает, что мы не выполняем. Есть инструкция. Что такое инструкция? Бумага. А ты кто? Че-

ловек. А если человек, так думай своей головой и смотри своими глазами... И что же? Рэчилз засеял только пять гектаров, и все пошло на силос. потому что початки не дозрели. А в районе на тот случай даже похвалили его: Рэчилз, дескать, учит местные условия и так далее. Когда на перевыборном собрании Рэчилз прощался с народом, кого он благодарил в первую голову? Ипата. Других, конечно тоже, но в первую очередь Ипата».

По дороге домой я думал о Каролине, как думают о любимой девушке, когда боятся ее потерять и до меня вдруг дошло, что она никогда не была похожа на Элизабет Тейлор. Она вообще не на кого не похожа, только на себя.

Я шел по дороге в прохладной тишине сумерек, а голос Каролины раздавался в двух шагах от меня:

— Мне жалко их обоих, потому что они, и дядя Ипат и Магдалина, хотели быть сильными и независимыми. Ведь что такое в конце концов вишневый сад, и одиночество в этом саду, и разговоры с деревьями? Разве не замена людей растениями? А двухметровая стена, которая должна была защитить Магдалину! От чего и от кого? От грязи жизни! Чтобы она осталась чистой, как икона, и годной для общения только с цветами, рекой, травой... то есть только с природой. Дядя Ипат хотел уйти от людей и создать мир, принадлежащий ему одному... ну, еще и Магдалине. И что же он доказал? Что с камнями легче жить, чем с людьми?

Я посмотрел в ту сторону, откуда доносился до меня странно изменившийся голос Каролины, и спросил:

— Что ты имеешь в виду?

— Ничего особенного, — ответил голос. — Ни дядя Ипат, ни Магдалина не желали жить в человеческом обществе, они грезили о силе и одиночестве, они думали, что их воля сильнее общей воли остальных людей. Один только раз в жизни дядя Ипат попробовал приблизиться к людям, и это было тогда, в столовой. А твой отец не понял его и решил, что он сломался, потому что твой отец сам мечтает быть сильнее других, и когда он выгнал моего дядю Буфту в окно, он поступил так, как, по его разумению, должен был поступить сам дядя Ипат. А дядя Ипат этого не сделал. И потом из слов твоего отца он понял, что уже не сойдется с людьми, потому что поздно...

До моего дома оставалось не больше десятка шагов, но это были самые трудные шаги: я знал, что отец ждет меня на пороге и, когда я войду во двор, он поднимет свой угрюмый холодный взгляд и даже не спросит, где я был, потому что знает это не хуже меня, а только сплюнет и скажет: «Сколько раз надо повторять одно и то же?» Чтобы не ударить меня, он уйдет за дом и начнет возиться в огороде, а я, повернув голову, встречу ненавидящие глаза моей сестры Тамары, и она торжествующе ухмылнется мне в лицо. Вот почему я остановился, присел на обочине и задумался о Веронике Эмильевне. Мне вспомнился ее спокойный негромкий голос: «Влад, что бы ты сейчас ни говорил, я знаю: ты не вернешься в село, как не возвращаются тысячи молодых людей, и я бы хотела, чтобы ты имел ясное представление обо всем, что произошло здесь когда-то. Годы проходят, и прошлое забывается, и люди начинают верить только в то, что можно пощупать и потрогать, а остальное для их слишком здоровых мозгов утрачивает всякую цену. Так вот, я не хочу, чтобы ты стал одним из тех, кто не верит в легенды. Мир и его история — это сплав реальности и мифа, и не всегда понятно, где реальность, а где



миф, а людям страшно жить с неизвестностью, с загадкой, им легче, когда все понятно и просто... но тотальная простота есть прямой путь к саморазрушению. Если человек хочет жить дольше жизни, он должен постоянно укореняться в прошлом, настоящем и будущем, иначе его ждет отчаяние. Дядя Ипат раньше других почувствовал эту опасность и попробовал объяснить нам, что человеку нельзя отрываться от дерева, травы, земли, реки, камня... Видя одиночество Магдалины, он пытался поделиться с ней своей верой, потому что ничего другого у него не было. Но одиночество — заразная болезнь. Присмотрись к нашему Ротару, и ты поймешь, что противостоять ей — дело нелегкое. Шахматы или уравнения не спасают...»

— Что же спасает? — спросил я.

Она пожала плечами и не ответила. Может быть, по женской своей природе она и не задавала себе такого вопроса: женщины, как говорит мой отец, никогда не идут дальше обычной констатации, предоставляя мужчинам самим решать проблемы, а это, как замечает дядя Ипат, равносильно обвинению, и они в слезах смотрят на мужчин, которые, по их мнению, должны немедленно что-то сделать, что-то изменить. да и не что-то, а все в корне, потому что «мне надоела эта жизнь» означает обычно: «мне надоел ты, надоел этот дом, а ты еще называешься мужчиной, а сам пальцем о палец не ударишь, чтобы мы жили по-человечески», но ни мужчины, ни сами женщины в большинстве случаев не знают, что же именно надо сделать и изменить, и тогда, как говорит мой отец, они ожесточаются, и начинается визг, и дом превращается в ад, но при этом, как считает дядя Ипат, они не виноваты, и мужчины не виноваты тоже, а беда в том, что человек оторвался от природы и никто уже не хочет быть настоящим крестьянином, никто не хочет возвращаться вечером с поля и, поужинав, плотно усаживаться на завалянку и смотреть, как заходит солнце... нет, теперь все мы слишком заняты другими делами.

Я сказал тогда дяде Ипату:

— Может быть, теперь стыдно считаться крестьянином... Даже дети уже не играют в прежние игры и, как только стемнеет, бегут к телевизору и глазят на экран, как зачарованные.

А дядя Ипат ответил:

— Я не думал об этом. Я только знаю, что жизнь как она есть уже не по вкусу людям. Они разучились принимать ее во всей полноте, зато жгут свечу с двух концов, обкусывают каравай по кругу и все время хотят взять больше, чем им дано. А берут меньше, совсем мало, и чувствуют это, и рвутся куда-то, особенно молодежь, но, знаешь ли, не надо торопиться с проклятиями: ведь человек все-таки не скотина, чтобы работать от зари до зари, есть, пить, спать и наутро все начинать сначала.

— А как свадьбы и другие сельские праздники? — продолжал я спрашивать про свое.

— Они еще не умерли, но заметь: люди идут на свадьбу не веселиться, а как бы долг исполнить. Выкладываешь денежки на блюдо, остальные смотрят, сколько ты выложил, а потом три месяца толкуют об этом. А парни что делают? Собираются гуртом, напьются водки и дерутся, да не в том беда, что дерутся, — они и раньше дрались, но ведь теперь чуть что — сразу на ножи. Ты называешь это прогрессом, не правда ли? И, как ни странно, тебя поддержит наш директор Ротару, которому не только люди надоели, но и собственная жизнь. А я спрошу тебя: прогресс во имя чего? Ты ответишь: чтобы выдавать все больше продукции.

А я опять спрошу: разве человек живет только для этого?..

Все время пока мы говорили, я сидел с закрытыми глазами, и дядя Ипат сказал:

— Открой глаза, мальчик, и не притворяйся сонным. Ты еще ребенок, это правда, но если ты не откроешь глаза, то жизнь очень скоро и тебе надоест. Ведь вас чему учат в школе: жизнь прекрасна, все дороги открыты, каждый может стать кем хочет... как будто нет ничего важнее, чем стать кем-то. А я бы ваших учителей заставил говорить все наоборот, и вот именно об этом я беседовал с Магдалиной, которая тоже мечтала стать кем-то, потому что и она, и ты, и мой Григор не никогда не задавались вопросом: а что же дальше? Мой Григор каждый год приезжает сюда на персональной машине. Он теперь большой начальник в Кишиневе — дорвался! А зачем приезжает? Чтобы показать мне, кем он стал? Ха, не так все просто! Он хочет себя убедить в своей правоте. Но, видишь ли, жизнь не дает ему такой возможности, и он страдает бессонницей, мучается, тревожится... И так он будет приезжать до самой моей смерти или до тех пор пока у него будут сомнения, и это хорошо, что они у него есть, потому что в конце концов он просто махнет на все рукой или найдет удовольствие в том, чтобы копить деньги и покупать дорогие вещи для дома и приглашать приятелей и знакомых, а они будут кивать головами и цокать языками, притворяясь потрясенными, но на самом деле они останутся равнодушными — ведь и у них дома набиты такими же вещами, а деньги хороши, когда о них не думаешь, а просто пользуешься ими... Открой глаза, мальчик! Я в твоём возрасте был уже взрослым парнем и знал о жизни все, что должен знать человек. Ты знаешь много другого, но как будешь жить, не ведаешь.

Я молча встал и пошел в сторону дома, но через два шага запнулся о камень и едва не упал. Дядя Ипат сказал мне вслед:

— Под ноги не смотришь, спешишь... а куда? Ступай к реке и посмотри, как течет вода. Это вечно. Погляди на камень, о который ты споткнулся, — он тоже вечен...

Я зажал уши руками и бросился бежать. На окраине села меня ждала Каролина, и я как подкошенный упал к ее ногам.

Где кончается игра и начинается жизнь?

Я снова услышал голос Вероники Эмильевны:

— Иногда тебя бьют, когда меньше всего ждешь этого, а значит, надо быть всегда готовым к защите. Из этого отнюдь не следует, что нужно свернуться в собственном коконе, нет. Но и не... понимаешь? Ты меня должен легко понять, потому что твоя душа, пока похожа на огромное пустое помещение с гулким эхом, ты еще не переживал горячи и не распрямлялся после унижения. Мда... жизненный опыт! Не могу сказать, что он обогащает душу, скорее он обедняет ее, делает нас более осмотрительными, так что...

Она опять не договорила, потому что, наверное, я смотрел на нее, объясняя слепотой и тревогой этих весенних дней, когда один жест Каролины Думитру значил больше, бесконечно больше, чем любые теории. Вероника Эмильевна только головой покачала:

— Жаль, что ты не хочешь меня понять. Или еще хуже: слушаешь, киваешь, а потом делаешь все по-своему.

— Мне жалко их, — сказал я.

— Кого?

— Магдалину и дядю Ипата. Они... я... словом мы подружались бы.

Тут я снова спросил себя, почему Вероника Эмильевна именно меня выбрала для рассказа о Магдалине, и она словно услышала мой вопрос.

— Твой отец был связан с дядей Ипатом незримыми нитями, а потом порвал их, сочтя его неудачником. Он решил, что и его жизнь может кончиться так же, и испугался. Вот почему он согласился стать бригадиром, когда Епуре назначил его по рекомендации Буфти.

— Буфти? Почему Буфти?

— Буфтя хочет жить с чувством победителя, выигравшего многолетнее сражение у дяди Ипата. Он хочет до конца его жизни смеяться над ним, потому что коня ему все-таки не вернули, и состарившийся вишневый сад все-таки выкорчевали и Магдалина все-таки уехала, и тетя Настика не живет с ним, и Григоре презирает его, и даже Филимон Филипский, последняя его опора, его друг, все-таки повернулся к нему спиной... Ты должен понять, Влад, что большинство не всегда прав, а одиночка не обязательно виноват. И если ты столкнешься в жизни с подобными случаями не спеши слить свой голос с голосом большинства... Ведь в конце концов и дядя Ипат и Магдалина поняли, что сада и коня тоже слишком мало, чтобы радоваться жизни во всей ее полноте, и что главное на свете — любовь. И разве их вина, что их жизни не совпали во времени? Зато им удалось сохранить достоинство. И знаешь почему? Благодаря совместному труду. В жизни ничего не бывает просто, как считают Епуре и Буфтя, а если и ты будешь так считать, значит, ты никогда не научишься жить по правде. Все мы в ответе за происходящее на земле и не только за то, что происходит сейчас но и за то, что уже прошло и даже старательно кое-чем забыто. И, между прочим, мы виноваты в том, что из этой многолетней схватки победителем вышел Буфтя, который сегодня так и лопается от довольства и здоровья и не думает стареть, потому что он, по собственному убеждению, бессмертен и вечен, и не только он сам (над своей брэнностью он и не задумывается), но и его мыслишки его образ жизни, его привычка носить две денешки в трех кошельках, его виляющий хвост и волчьи зубы... Вот ты прочел «Капитал». Что ты понял?

— В двух словах не объяснишь... — пробормотал я.

— Еще бы ты объяснил в двух словах! Да и не в них дело, они чаще всего обманывают нас: тот же Епуре говорит с трибуны одно, а делает совсем другое, и, значит, важнее слов быть сильным и честным, что бы там ни было. А Епуре и Буфтя... рано или поздно они... их... Но чтобы это «рано или поздно» пришло как можно раньше, мы не должны забывать, что... Понимаешь, молчать легче. Молчать, как молчит твой отец, позволяя Епуре лгать, а Буфте красть. Но тот, кто молчит, волей-неволей становится на сторону негодяев. И выходит, что твой отец на их стороне, и дядя Ипат тоже, потому что струсил и укрылся в карьере, и Магдалина потому что у нее не хватило мужества, и вот я... и ты, дорогой Влад, ты тоже...

— Я?

— Ты. И твоя подруга Каролина и твой родственник Тяпа, который погודה не дотянул до выпускных экзаменов и ушел пасти овец... И знаешь, почему? Потому что он боится жизни, боится смертного Буфти, а там, в овечьем загоне, его никто не тронет, и это очень удобно, ведь иначе пришлось бы бороться, а борьбы-то он и не хо-

чет. Но кто же тогда будет бороться и за себя и за него? Раз ты читал Маркса, ты должен был усвоить, что кто-то обязательно должен бороться и за себя и за других. Мое, и твое счастье, и счастье Каролины, и счастье дяди Ипата и Магдалины невозможно без общего счастья. Да, да, Филиппский, общего, и не крути носом и не утешай себя трусливой надеждой что ты еще ребенок. Детство кончилось: ты слишком много знаешь. Ты знаешь о смерти одного коня и о гибели одного вишневого сада. Но в мире убивают тысячи коней и корчуют тысячи вишен. Ты должен действовать, у тебя нет другого выхода понимаешь? И знаешь зачем я морочу тебе голову, ты, влюбленный умник?

— Нет.

— Чтобы ты не вообразил, будто Тяпа прав. Прав твой отец, когда он заставляет тебя учиться, а значит — бороться. А ведь соблазнительно, признайся уйти в карьер или спрятаться в овечьем загоне, с головой накрывшись пуховым одеялом легенд. Куда труднее быть. Не быть — легче. А всего проще быть и быть неправым но быть и быть правым — вот настоящий, подлинный героизм.

— Но почему именно я?

— А кто если не ты? Кто, если не я не дядя Ипат не Магдалина не твой отец... кто? Ведь если не мы тогда Буфтя. Третьего не дано...

Я пришел к реке и плеснул в разгоряченное лицо пригоршню холодной мутной воды.

...Вскоре начались выпускные экзамены и я долго забыл обо всем, что здесь рассказано, но вот дядю Ипата я часто вспоминаю и так и вижу, как он трудится над своим огромным камнем, пытаясь воплотить в нем то, что ему не удалось утвердить в жизни; вспомнив о нем я невольно вспоминаю о Магдалине, ушедшей из нашего села в просторный мир потому что ей не удалось победить природу и время, о Рэчилэ который давно уже вышел на пенсию, но все еще работает в садоводческой бригаде не ради денег а ради того, быть может чтобы иметь право бросить в лицо Епуре: «Ты плохой председатель! Ты забыл где твое, а где наше». И если сказать по правде, то мне не удалось забыть ни Веронике Эмильевну, которая так безжалостно говорила со мной, ни Каролину Думитру, о которой я не произнесу здесь больше ни слова, ни покойного дядю Эмиля, превратившегося в солнечный свет в траву и спелые вишни ни нашу реку, которая, верно совсем обмелела... Но ведь ничто не пропадает, и ничего не забывается, и время не властно над человеком и его делами.

Авторизованный перевод
с молдавского
Александра БРОДСКОГО

г. Кишинев.

ТАМАРА
ЖИРМУНСКАЯ



В госпитале

Всем хорош этот бывший майор,
только горд непомерно, безбожно.
Барахлит этот сильный мотор,
и наладить его невозможно.

Был он скор не на грех — на добро,
но в бою, как ни кинь, выходило,
что молчание — лишь серебро,
ну а золото — клич командира.

Посылая в атаку своих,
зная, что не вернуть половину,
он готов был стать каждым из них,
с каждым лечь в эту клятую глину.

Все он слышит который уж год:
канонада звучит, перестрелка.
— Как он стар, как он добр, как он горд! —
говорит молодая сиделка.

Горд не тем, что без счету рука
раздавала больным и сиротам, —
горд он тем, что остатки полка
он привел к Бранденбургским воротам.

Надо ль было такую ценой
подтверждать свою должность и званье,
надо ль было и в холод и в зной
слать и слать новичков на задания,

видеть свет, где царит темнота,
слышать пенье в преддверии ада
и себя распинать без креста!..
Он, и мертвый. Ответа бы: надо!

ЕЛЕНА
БОНДАРЕВА



Август

Он еще пройдет степями, рощами,
Ягоды отведаст в лесу,
Отзовется песнями хорошими,
Выпьет с листьев спелую росу.

Он в полях заблудится, забудется
И уснет по-детски крепким сном.
Утром встанет — и не налюбуется
В закрома засыпанным зерном.

Просто, без особенной отметины,
Август появился во дворе.
В городе его б и не заметили,
Если б не листок в календаре.

Отчего я грущу!..

Журавлиною песней
Приходит ко мне мое детство,
Через форточку — тихо,
Неслышно порою ночной.
Напрягает глаза,
Будто пристальней хочет взглядеться,
Как цыганка-ворожка,
Предсказать все, что будет со мной.

В фотографиях старых,
В рисунках неточных и ярких
Оживает она —
Журавлиная песня моя.
И становится крыша не крышей,
А сказочной аркой,
Прикрываю ресницы и думаю: «Где это я!»

Ветер стукнет в окно
И куда-то исчезнет мгновенно,
Бросит в форточку запах
Сыровой осенней земли.
Отчего я грущу!..
Нет причины. А просто, наверно,
Завтра к югу надолго
Опять улетят журавли...

© Холостой

МИХАИЛ
ШЛАИН



☆☆☆

То, что слышал от отца,
То, что сам он знал от деда,
Все, с начала до конца,
Сыну я хочу поведать.
Между прочим, между делом,
Лишь для дома, для семьи
Будут и слова мои...
А сложить — о веке целом.
Как смогу я в свой черед
Рассказать про все без фальши —
Так оно и перейдет
К сыну моему и дальше.

☆☆☆

Поле. Роща. Автустовский свет.
Вдалеке-вдали пылит автобус.
Через двести или триста лет
Мир изменит целиком свой образ.
Так и будет. Логика простая.
Спорить — зря. И сомневаться — зря.
Но закрыть глаза — и не представить! —
Что жива и вертится земля,
Но домов, как мы их разумеем,
Но машин, но даже наших книг —
Нет в природе, нету на земле их!
Не осталось... даже слов таких.
В том грядущем отчужденном мире,
Словно в фантастическом кино.
Где ни нас, ни наших черт в помине,
Может быть, останется одно:
Полдень, безымянный скат пологий.
Солнцем разошедшимся палим,
Человек, идущий по дороге,
И две птицы высоко над ним.

☆☆☆

С каких это пор
со мною подобное деется! —
От слов проходных,
от случайных бесхитростных строк.
Не плачу, конечно, словно бы красная
девица, —

Но сердце — щемить начинает,
и в горле — комок.
Простые слова — разговоры,
подобные этим:
«Мы встретились с нею в Москве
накануне войны» —
Нет, даже короче —
«в том доме я жил до весны» —
Нет, проще еще — как обрывок —
«у них были дети».

☆☆☆

Старым особнякам
Снег придает благородства.
Снегом подтверждено
Право на первородство.
В мире, в природе — зима
[Встарь говорили — «в натуре»],
И малоллюдно вокруг,
Как на старинной гравюре.
Купол, колонны, фронтон,
И — подходяще к моменту —
Облако в небе легло
Длинною складчатой лентой,
Чтобы проставить на нем
Мысленно год и название,
В строгости сохранив
Старое правописание.

Птичий рынок

Брызнет праздник! Грянет праздник!
Свист снует туда-сюда.
Старый дрозд прохожих дразнит.
Вот так дрозд! — Дает дрозда!

Птицы в клетках! Песня в клетке!
Щебет, перещелк живой...
Я иду в суконной кепке,
Человек мастеровой.

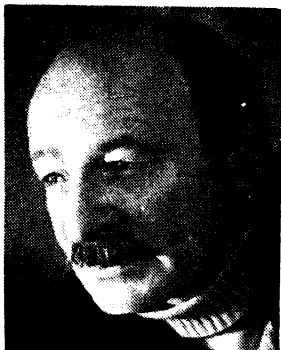
Старый дед смолит махорку.
И решусь я — так и быть! —
Мне не стерха, не терерку —
Канареечку купить.

Старый дед башку наклонит
И над бровью поскребет.
Цену дивную заломит —
Наповал меня уьет.

Полно, старый... Без обману!
Я и сам не лыком шит.
Только словно пьяным стану
Среди крыльев, криков, битв!

Чтобы жизнь была в новинку,
Гнала за порог беду,
Полыхала птичьим рынком
У мальчишек на виду!

ЛЕОНИД ЗАВАЛЬНЮК



☆☆☆

И я улучшить мир пытался,
Благое дело довершить.
Сперва писал, как я скитался,
Потом вещал, как надо жить.
Я был в суждениях прям, и резок,
И убедителен порой.
Но дидактический довесок
Черствел в руках, как хлеб сырой.
Я на былом поставил точку,
Но вовсе сдаться не спешу.
Чем жизнь мертва, я знаю точно,
И чем жива, я знаю точно,
Пока об этом не пишу,
Пока душой не забываю:
Не всякий знающий — пророк.
Пока в строке не убиваю
Ту суть, чье место между строк.

Знакомая береза

Когда осень той рощи коснется,
Мы по ней побредем, как во сне.
И береза от нас отвернется
И лицо свое спрячет в огне.
Она спрячет его, чтоб до срока,
Беззащитные в счастье своем,
Мы не знали, как ей одиноко
От того, что мы снова вдвоем.

☆☆☆

Нет страха. Вот лицом к тебе стою.
Спиной к тебе стою,
И нет на сердце страха.
От взгляда твоего дымит на мне рубаха,
Но ты не можешь посягнуть на жизнь,
На боль мою.
Чтоб нас сроднить,
Нужны тысячелетья.
Не сплавить наши суты ни в каком огне.

Но смертной памятью души
Мы замкнуты на третьем.
И я в тебе его храню,
Как ты хранишь во мне.

Черный камень

На скале отвесной
Тихая сосна.
— Не сойти мне с места,
Ты моя жена!

— Нет!.. — она сказала.
Он ее срубил.
И до самой смерти
С места не сходил.

На скале укромной
Сгорбленный стоит
Черный и огромный
Каменный старик.

И к нему все сосны
Тянутся в лесу.
И струятся звезды
По его лицу.

У колодца

Две дороги у колодца,
Два строптивых гордеца...
По живому нитка рвется —
Ветер треплет два конца.
Кто-то тронет за один,
Дрогнет свет твоих седин.
Кто-то за другой потянет,
Грянет свет былого дня
И железными когтями
Вырвет сердце из меня.

☆☆☆

Думы мои. думы мои.
Лыко мени з вами...
Т. Г. ШЕВЧЕНКО

Два дерева срослись —
Две ветки: как одна.
Наверно, так на свете не бывает.
Но я опять все это вижу и, утопшая, со дна
Мечта моя русалкою всплывает.
И вновь горит весны моей заря,
И вновь кровит душа. Но шаг — и я на воле.
То рвет оковы динамитом боли
Давно забытая страница «Кобзаря».

Подруги

Брела судьба по кругу,
Нашла судьбу-подругу.
Идут они по свету,
Не размыкая рук.
Одна судьба святая,
Другая — волчья стая.
А жизнь одна и та же,
Один и тот же круг.

ФЕЛИКС ЧУЕВ



Победа

Еще Победа не воспета,
еще не сложено о ней
не то что лучшего куплета —
строки такой, чтоб всех сильней,—
чтоб знамя гвардии отцовской
в строке играло, как рассвет,
чтоб в ней дышал салют московский,
не опадая тыщи лет!

Человек

Покупает костюм, уповая,
что еще на земле проживет,
и летает Земля голубая,
веря в то, что ее он спасет.

Праздник авиаторов

Мне в этом клубе нет милее
лучами вычерченных лиц,
и я все больше не жалею,
что с небом мы не разошлись.
И в раздевалке, и на сцене
смотрю на вас и втайне горд,
что небо знает лучшим цену
и поднимает, как рекорд.
Известно мне, какая сила
нужна тебе, пилотский труд,
и все же, знаете, красиво,
когда вот так они идут!
Как будто все родные лица,
все наши летные полки
в одном букете собрались,
как полевые васильки!
Любуюсь вами и не скрою,
что с вами вновь грустнее я,
мои высокие герои,
мои внезапные друзья.
И, словно пес на задних лапах,
припав к шинели иль пальто,
ищу отцовский запах,—
как будто то, и все не то.

Но так похоже, как наследство...
О ваши плечи обопрись,
и счастлив я, что знаю с детства
с небес ниспосланную грусть.

☆☆☆

Будь достоин таланта,
он превыше наград,
за бесплатно, и ладно,
дан тебе наугад.
Усмехайся над славой,
улыбайся беде,
как собор пятиглавый,
не воспетый нигде.
Да пребудет с тобою
дымный берег труда.
Делай дело, какое
полюбил навсегда.

☆☆☆

В авиации нету чудес.
Лишь сама авиация — чудо.
Ты, упрямством наполненный весь,
не облаканный небом покуда,
знай, что все чудеса — это ты,
обещающий, честный, влюбленный,
посреди голубой пустоты
на трамплине травы опаленной.

Поминки

Все же мудрый обычай — поминки:
собираются, горькую пьют,
вспоминают недавние миги,
а потом даже песни поют.
Все, закончилась жизнь, наигралась.
Но не рвется та ниточка пусть,
по которой грядущая радость
пробивается в общую грусть.
Пусть любые идут разговоры,
как события, вдоль белых столов,
тишина пусть наступит не скоро
для вдовы и поникших сынов...

☆☆☆

Толпы за пластинками. Дисками зовется
темное сокровище, как колодцев донца.

Наступило то, где нет меня совсем,
наступило время марки «Бони М»,

Высохнет, как слякоть, АББА иль АББА,
и отыщет мода нового раба.

Пусть стоит и мерзнет, дышит горячо,
только бы умел он что-нибудь еще.

СЕРГЕЙ
КРЫЖАНОВСКИЙ



Голос

В начале всех моих начал,
В поре фартовой
На всю судьбу, на весь причал —
«Отдать швартовы!!!»

Неотвратим девятый вал,
Коварны мели,
И где бы я ни пребывал —
«Держись прямее!»

В ночи всплывет сомнений спрут,
Горят глазищи,
А надо мною тут как тут —
«Блажен, кто ищет...»

Вот-вот, казалось, упаду,
Не встану, баста,—
«Во имя терпящих беду,
Во имя братства».

☆☆☆

За тридевять с лишним земель
Для ласточек рай, должно быть.
А здесь все метель да метель,
Одни сугробы-ознобы.

В другом щебетуньи краю
Взывают к солнцу другому,
А здесь воробы с разгону
Случайные крошки клюют
И жмутся к теплу людскому.

Мне встретила стайка детей,
Они воробья хоронили.
Вдруг вспомнил: «Сергей-воробей»
Мальчишкой меня дразнили.

☆☆☆

Белесая чайка паслась на воде,
Свободная птица.
Наверно, в меня же на страшном суде
Тот выстрел вонзится.

Я целил в забаву, веселый юнец,
Но вышло иначе —
Летит и летит через годы свинец,
Доныне горячий.

Душа пересилила возраст шальной,
Готовясь к расплате,
Ее несмолкающей тою виной
Нет-нет и окатит.

Который уж раз возвращаюсь назад,
Стою у причала,
А волны тревожно кричат и кричат,
Как чайка кричала.

Юнга

По начертанию светил,
Свободы слыша зов,
Не раз, не раз я уходил
От черных парусов.

Эй, одноглазый капитан,
Погибельный мой час,
За мной пускайся по пятам,
Протрите свой компас.

Трусливых не было в роду,
И я не так уж прост,
Я знаю эту широту,
Удачу и зюйд-ост.

А если будет суждено
Пойти на абортдаж,
С веселой песней заодно
Клинок проверим ваш.

Рули-валяй, руби-валяй,
Губи-валяй, эгей!
Не зря твердит мой попугай
— Три тысячи чертей!!!

По начертанию светил,
Свободы слыша зов,
Я ухожу, как уходил,
От черных парусов.

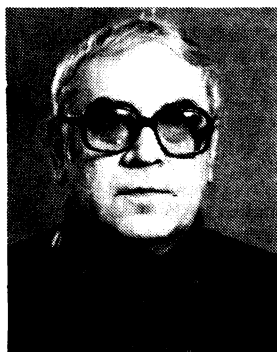
☆☆☆

Решительной силы не убыло,
И чувства надежны пока.
Единственно вот

самолюбие
Побаливать стало слегка.
Казалось бы, все это мелочи,
Числа им в истории несть,
Живут же другие, умеючи
Тщеславием вытравить честь.
Но я отказался лекарствами
Сбивать восходящий недуг,
Пусть в теле здоровом поцарствует
Высокий

взыскующий дух.
Своим,
непридуманным именем
Все вещи теперь назову.
Чем совесть людская ранимее,
Тем ближе она к торжеству.

МИХАИЛ
КВЛИВИДЗЕ



☆☆☆

Если б сызнова жить мне выпало —
кем бы ни было — в радости этой:
елкой в рощице, зайцем во поле
или снова, простите, поэтам,

я просил бы судьбу — не от робости:
сделай так, как еще не бывало,
чтоб топор до меня не дотронулся,
чтоб борзая меня не поймала,

чтоб, прожив стихи свои краткие,
знать в последнюю из минут —
хоть украдкою, хоть догадкою —
«Чем потомки меня помянут!»¹

☆☆☆

Мы оправданы сонной совестью
или просто чужими грехами,
все мы, кажется, знаем полностью,
ничего-то не ведая сами.

И минуту смертного шепота
мы, познавшие все на свете,
все равно встречаем без опыта —
изумленно — как малые дети.

☆☆☆

М. Ш.

Мой милый друг, в моем владенье
нет ни кола и ни двора,
наверное, в мой день рожденья
была ненастная пора.

А тем, чем я богат на свете,
нельзя владеть при свете дня.
И ожиданье нашей встречи —
такое чудо для меня.

☆☆☆

В каменном аквариуме
мощными рывками
плавают дельфины с рваными боками,
тычется об стены,
мечется и рвется,
странною улыбкой плачет и смеется.

Мы стоим, туристы,
разномастным кодлом,
мы следим с восторгом
за морской Джокодой,
про ее улыбку мы азартно спорим,
выгибая губы счастьем или горем.

Себе — переводчику

Ты сумел нарисовать бы
тихий шелест рощи!
Описал бы запах розы,
двух сердец томленье,
вкус едва созревших яблок!
А ведь это проще,
чем перевести хоть строчку
из стихотворенья.

☆☆☆

Вы издайте книгу эту
в небольшом количестве,
чтоб на полках магазинов
не пылилась, бедная,
в час,
пока в кругу таких же
гениальных личностей
я,
холеный и хваленый,
с важностью обедаю.

Но зато ее издайте
в лучшем оформлении.
Пусть она дороже стоит,
но за ней поэтому
тот придет,
кто знает цену
горю и прозрению,
тот,
кто платит эту цену
наравне с поэтами...

¹ Строка из стихов Галактиона Табидзе, широко известных в Грузии.

ПАВЕЛ
ХМАРА



Двадцатый век!

Двадцатый век на финишной прямой
в последнем спурте напрягает жилы.
Наш путь. Наш хлеб. Наш кров над головой.
Мы родились в нем, выросли и жили.

Для нас он был началом всех начал,
он нас лепил, растил наш дух и тело.
Когда мы в мир пришли, он нас встречал
и не упустит за свои пределы.

Каким он был нелегким для Земли!
Какие клокотали в нем идеи!
Какие люди сквозь него прошли!
Герои! Боги! Гении! Злодеи!

Какие громы громыхали в нем!
Какие революции сверкали!
Каким испепеляющим огнем
с лица Земли враги врагов сметали!

А как в нем прогрессировал прогресс!
Как изменил он вид и суть планеты!
Метро. Кино. Автомобили. Стресс.
Телеэкраны. Радио. Ракеты.

Стремглавность самолетного крыла.
Лекарства, растворяющие громбы.
И атом, расщепленный для тепла.
И атомный заряд нейтронной бомбы.

Мы стали пересаживать сердца.
У нас сверкнули лазеры лучами.
В двадцатом веке близ его конца
нас больше стало втрое, чем в начале!

Двадцатый век, прощаемся с тобой.
Тебе осталось ждать недолго смены.
Каким он будет, этот сменщик твой!
Какие принесет он перемены!

Взойдет ли мир на атомный костер
или свернет с пути огня и краха...
В Москве три театра ставят «Трех сестер»,
И плач стоит над урной Тузенбаха.

☆☆☆

По утрам пересвисты и трели
не дают мне досматривать сны:
прилетели скворцы! Прилетели
долгожданные гости весны!
Торопились к началу парада,
чтобы первыми спеть о весне.
И весна им торжественно рада,
все им рады! А впрочем, не все.
В дни, когда они грелись на юге,
и скворцы обожали скворчих,
воробы, задыхаясь от вьюги,
заселили скворечники их.
И спаслись от свирепой метели,
и родные дома обрзли.
Но сегодня скворцы прилетели
из курортных районов земли.
А скворцы, не умея иначе,
как шальные, на север неслись,
не куда-то на летние дачи,
а к домам, где они родились!
Но в домах — новоселов орава,
за жилище готовая в бой...
И сошлись два священные права,
несогласные между собой!
Мировая гармония, где ты!
Диссонансам не видно границ:
необъятности целой планеты
недостаточно даже для птиц!

Петух

Что жизнь его! Фортуны взбрык!
Ее фатальность и беспечность!
В сравнение с вечным — только миг.
В сравнение с мигом — только вечность.

Незнание, что ждет с утра,
но упование на праздник...
Ликующий петух «Ура!»
кричит за полчаса до казни.

А может быть, он прав, крикун!
Жизнь, ты продлишься, заклокочешь!
И будет снова вдоволь хур,
побед и зерен — сколько хочешь!

Когда еще придет пора,
и руки, ласковые прежде,
коротким взмахом топора
обрубят голову надежде!

Петушья песенка верна!
Рви глотку, Петя, это надо!
И будет горсточка зерна
за твой надрывный крик награда!

Труби подъем! Зови на бой!
Меня и целый мир в придачу!
И целый мир пойдет с тобой
клевать по зернышку удачу.

ТАМАРА
ШАРКОВА



В ЧЕСТЬ ПУШКИНА

РАССКАЗ

Рисунок
Н. Протасова.

Старшего звали Лёней, а младшего — «в честь Пушкина». Сначала, когда младший был совсем маленьким, за него отвечал брат. Брат говорил: «Я Лёня, а он — в честь Пушкина». Потом младший подрос и стал отвечать то же самостоятельно. И никто не удивлялся, и все понимали, что зовут его Сашей.

Когда младшему было четыре, а старшему почти шесть, они перебрались в новый район в отдельную квартиру и сразу же оторвались от старой тесной комнаты и веселого соседа, который по ночам пел песни.

Их огромный новый дом был похож на корабль, рассекающий носом зеленые лесные волны. Вот только окна их квартиры были так высоко, что, как ни задирай голову, в комнату не заглянешь.

— А как же «и мать грозит ему в окно»? — спрашивал Лёня и, хватаясь маленькими цепкими пальцами, поворачивал к себе маму Галю, которая вытирала оконные рамы.

— А мы просто будем гулять вместе, — засмеялась мама, и Лёня успокоился.

Когда все в квартире было вымыто, а книжные полки, стол и кровати заняли свои места, они решили отправиться в большое путешествие. Мама уложила в сумку бутерброды, папа налил чай в синий походный термос, а Лёня и Саша вооружились мечами, потому что в пути всякие бывают встречи. Лёня сказал, что в лесу наверняка живет стоглавый дракон и он отрубит ему девяносто девять голов, но только, если дракон нападет первым.

Больше всего на свете Лёня любил цифры, он считал до миллиона, складывал и вычитал трехзначные числа и делал это по своей особой системе, недоступной пониманию взрослых.

Саша любил слова. Поэтому число девяносто девять не пленило его своим круглым совершенством. Зато при слове «дракон» Саша немного заскучал и немного расхотел идти в большое путешествие. Впрочем, мама это вовремя заметила и сказала, что все драконы уже улетели на юг.

До леса было рукой подать, но глинистый путь за домом оказался свалкой, и идти было очень трудно. Все прямо из сил выбились, перепрыгивая с балки на балку, взбираясь и спускаясь по холмам битого кирпича и щебенки.

Но вот наконец и он — беспокойный, шепчущий, шелестящий осенний лес.

— Мама! — вдруг закричал Лёня. — Смотри: «У лукоморья дуб...» А где ж лукоморье?

На поляне облитый золотом уже остывающего осеннего солнца стоял могучий дуб. Две огромные ветви его были подняты на недосягаемую для других деревьев высоту. Казалось, что в предчувствии зимних холодов он по-стариковски греет свои узловатые руки-ветви.

— Лукоморье — это возле моря. А тут другой дуб:

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю, патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

— Патриарх — это кто?

— Это самый древний и мудрый старик.

— А почему он переживает? — не успокаивался Лёня.

— Я думаю, этого не случится. Сашенька, померяйся вон с тем дубком. Видите, этот маленький дубок — будто ваш ровесник, он, наверное, праправнук большого дуба. Вы будете расти с ним вместе и все больше и больше узнавать Пушкина. Ваш дубок станет большим, а вы взрослыми. У него и у вас будут дети. Вы встретитесь здесь, вспомните пушкинские стихи, и новый Сашенька померяется постом... с маленьким дубком, и все повторится.

Саше не совсем понравилось то, что мама сказала про какого-то нового мальчика, тоже «в честь Пушкина», но он не успел обидеться, потому что услышал новые стихи.

**Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса...**

Мамин голос звучал задумчиво и печально.

— Прощальная — это потому, что листья облетят? А что такое багрец?

Это последнее слово, сказанное отдельно от стихов, вдруг рассмешило Сашу:

— Багрец — агрец, удалец — молодец!

И он стал дурачиться, хохотать и падать в еще густую и упругую траву, которую осень уже начала укрывать от холода пестрым лиственным одеялом.

— Багрец — от слова багровый, темно-красный. Вот и ищите, на каких деревьях красные, а на каких — золотые листья.

Мальчики принялись искать и спорить, чье дерево красивее, и тут же мирились, потому что рядом находили еще более удивительные и нарядные кроны.

А когда усталые и захмелевшие от лесного воздуха возвращались домой, Лёня опять спросил:

— А дальше как, после «в багрец и золото...»?

Но мама не спешила с ответом. Она отложила его на будущее, как дорогой подарок.

И дождалась того самого первого октябрьского заморозка, от которого блекнут яркие осенние краски леса, седеет трава, и сказала:

**В их сенах ветра шум и свежее дыхание,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.**

И мальчики долго играли со словами «сени», «осени», «осенний», а потом «морозы-угрозы», перекатывая в них «р» между двух «о», как прощальное грохотанье летнего грома.

Потом был праздник. Сомкнувшись плечами, шли по Красной площади солдаты, и Саша твердо решил стать военным. Его не смущало, что он, названный «в честь Пушкина», будет носить за плечом ружье — ведь сам Пушкин погиб, как солдат, от пули.

Сразу же после праздника мальчики заболели. Сперва Лёня, вслед за ним Саша, и болели долго. А потом случилось необыкновенное происшествие. Когда они были дома одни, раздался звонок в дверь. Лёня встал на стул и посмотрел в глазок. Перед дверью стоял кто-то в военной форме. Лёня сполз со стула и отодвинул задвижку.

— Простите, — вежливо сказал человек с офицерскими погонами, беря рукой под козырек. — У вас в семье есть военные?

— Есть! — с горячей готовностью откликнулся Лёня и исчез в комнате.

Через минуту он тащил за собой растерянного Сашу. Расплывшийся было в улыбке офицер откашлялся и сказал совершенно официальным голосом:



— Тогда разрешите вручить вам головной убор — найден на лестничной площадке. — И протянул Саше фуражку с лаковым козырьком и голубым околышком.

Когда мама первый раз после болезни вела их на прогулку, Саша все порывался надеть фуражку. Но папа Ваня сказал, что военные уже перешли на зимнюю форму, и фуражку спрятали до весны.

Было то странное время года, когда осень уже кончилась, а зима еще никак не приходила. Небольшой пруд у бывшей помещицкой усадьбы сковало тонким льдом. Осталось только маленькое темное оконце посередине.

**...уж роща отряхает
последние листья с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл...**

Как будто они и Пушкин глядели на все одними глазами!

Только не было мельницы. И Лёня сразу же стал строить ее на крошечном ручейке, который бежал из водопроводной трубы. Саша приносил ветки, камешки и выдыхал: «Дохнул... хлад», — а потом, дрожа, озаящими губами: «Журча... беж-жит... ручей», — и затем, как свист ветра: «Последние листья... зас-стыл ос-сенний лес-с».

Зимой у Лёни болели уши. Он сидел в детской на руках у мамы и тихонько плакал, прислонясь к ее груди крутолобой головой, по-девчоночьи обвязанной теплым клетчатым платком.

В другой комнате папа и Саша смотрели и слушали, как высокий старик с запавшими щеками и мальчик в бархатной куртке с большим белым бантом пели, глядя куда-то вдаль: «Буря мглою небо кроет...»

Буря плакала тонким голосом Лёни, и стучала, и выла, и уносила их дом в безбрежную черноту ночи.

В том, что эти стихи пели, не было для Саши ничего удивительного. Если бы его спросили, знает ли он, кто написал для них музыку, он бы очень удивился. Слова сами рождались в нем именно эту музыку, а музыка — именно эти слова. Они казались Саше неразделимыми, и сам Пушкин, конечно же, пел их тоже.

Саша часто повторял какие-нибудь строчки из этой песни. Одна из них звучала так: «Или дремлешь под жужжаньем своего веретена?»

Папа поправил:

— Под жужжанье... Понимаешь — дремлет под звук, под музыку, под жужжание веретена.

Саша удивился: ведь «жужжанье» было теплое, ворсистое, оно не только баюкало уставшую бабушку, оно накрывало ее, сонную, как платком.

А мама услышала их разговор и сказала папе:

— Ванечка, это ты не так слышишь. У Пушкина — «под жужжаньем», да-да, «под жужжаньем», как у Саши.

Весной Лёнечке надели очки.

— Папа! — закричал он. — Я теперь все газетные буквы вижу, не только афишные.

Мама раскрыла наугад томик Пушкина с золотой цифрой «2» на красном корешке, и Лёня, запинаясь от нетерпения, прочитал:

**...скоро ль будет гостя дорогая,
скоро ль луга позеленеют,
скоро ль у кудрявой березы
распустятся клейкие листочки...**

Саша от непонятной обиды вдруг засопел, глаза его под пушистыми ресницами потемнели и подо-

зрительно заблестели, но мама вовремя все это заметила, притянула его к себе и сказала:

— Скоро и Саша будет так читать, правда, Лёня?

— Когда он подрастет, я дам ему свои очки, — ответил Лёня великодушно. — Ведь тогда я из них вырасту, да?

К шестому июня Лёня выучил «У лукоморья...» Он, правда, и раньше знал эти стихи, но теперь он мог не только повторять их за мамой, но и сам читал про все чудеса, глядя в красивую книгу, на обложке которой был нарисован храбрый Руслан, отсекающий длинную бороду свирепому карле.

Саше мама выбрала маленькое четверостишие, у которого вместо заглавия стояли три звездочки.

Он выучил, где стоит каждое слово, и тоже читал эти стихи по книге:

**Надо мной в лазури ясной
Светит звездочка одна,
Справа — запад темно-красный,
Слева — бледная луна.**

В ночь на шестое июня маме Гале не спалось. Она встала и зажгла настольную лампу, чтобы взглянуть на часы. Свет разбудил дремавшие в темноте Ванины рукописи. Непонятные иероглифы физических формул стали странно шевелиться и менять свои очертания. Но мама Галя вовремя это заметила и быстро промокнула глаза ресницами. Поэтому что (она это точно знала) даже за тысячу верст сердце папы Вани почувало бы ее слезы.

С годами им становилось все труднее отрываться друг от друга. А между тем самые светлые события в их жизни — долго и страстно ожидаемое рождение каждого из сыновей — летом вынуждали их расставаться: в свой отпуск Иван стал ездить на лесосплав, чтобы подзаработать денег.

В этом году Галя твердо решила уговорить его никуда не уезжать. Но убедить Ивана не удалось. Очень ему хотелось, чтобы она и мальчики навестили наконец совсем старых людей, которые отогревали маленькую беженку после горького военного сиротства. Этим людям Галя была обязана всем: и светлыми минутами детства, и тем, что выучилась, и самой жизнью, наконец. Уже поженившись, они получали от стариков специальную «соседскую» стипендию, которую бабушка аккуратно заворачивала в носовой платок и укладывала в праздничной посылке среди грецких орехов и сушеных слив ткемали.

Иван, конечно, был прав. Нужно спешить, чтобы эти люди еще раз — может статься, последний — услышали слова благодарности и чтобы мальчики сами успели зачерпнуть из того родника добра, который утолял ее детскую жажду любви.

И в те же давние годы она принесла из школы первую собственную книгу — награду за успехи. Это был томик Пушкина в скромном переплете. В долгие дни бесконечных детских болезней он был ее горячо любимым и часто единственным собеседником.

Вначале Пушкин развлекал ее сказками, потом разбудил сердце. И даже забытые черты милого маминного лица волшебным образом оживлялись пушкинской поэзией.

Читать о Пушкине Галя не любила. В этом чтении ей мерещилось что-то нескромное. Как если бы даже очень доброжелательные люди подглядывали за поэтом в щелку. Галя предпочитала узнавать обо всем от него самого. И жизнь поэта странно вплеталась в ее собственную, как бы продлеваясь во времени и струясь где-то рядом.

Так было только с Пушкиным и сохранилось у нее на всю жизнь.

Он был вечным, Он был одним для всех, как Солнце, и в то же время он был только ее...

**...Есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я...**

Галя задремала. А за окном ранняя июньская заря уже торопила день его рождения.

В этот день они поехали к Пушкину на Тверской бульвар.

Ехали долго. Сперва на автобусе, потом с пересадкой на метро. Саша ехал в первый раз и очень волновался. Лёня приходил к Пушкину, еще когда они жили на старой квартире. Теперь он теребил маму и спрашивал:

— А цветы когда положить, после стихотворения или до?

У памятника было много людей.

— Граждане, пропустите детей с цветами! — громко сказал огромный усатый старик, заметив растерянность мамы Гали.

Люди стали оглядываться, расступились, и мама с Лёней и Сашей заторопились по этому узкому живому коридору к Пушкину, который, наклонив голову, глядел на них в доброй задумчивости.

Лёня положил цветы первым, потом выпрямился и, запрокинув голову так, что очки съехали на лоб, стал читать «У лукоморья», глядя прямо в глаза поэту. Тогда мама притянула его к себе и шепнула:

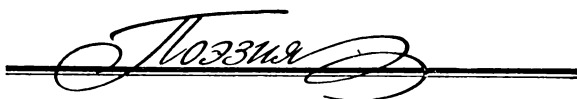
— Он видит, стой свободно.

Вначале голос Лёни был почти не слышен, так много было вокруг всяких звуков. Но потом он стал звучать громче, а разговоры вблизи умолкли.

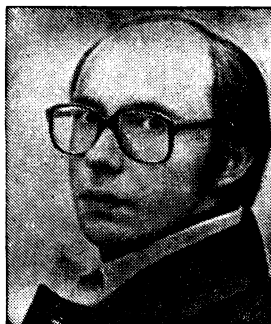
Лёня читал смело, чуть перекатывая во рту букву «р», и ни разу не сбился.

Потом пришла очередь Саши.

Он густо покраснел, положил гвоздику рядом с маминкой и Лёниной и стал читать свое четверостишие, но не звонко и смело, как Лёня. Он читал его шепотом и уткнулся в маму прежде, чем кто-нибудь понял, что и он принес в подарок Пушкину его вечные стихи.



АЛЕКСАНДР ШАТАЛОВ



☆☆☆

**Ей казалось, что это усталость,
Но, конечно, никак не предел,
Ведь и впрямь еще столько осталось
До сих пор неоконченных дел.**

**Ну какие быть могут заминки:
Валидолу глотнешь — и привет,
Можно снова читать без запинки
И бежать на работу чуть свет.**

**В юбке черной и кофточке белой,
Гладко пряди назад зачесав,
Сколько помнят, всегда была первой,
В самый первый входила состав**

**Всех ячеек и всех комитетов,—
И откуда бралось только сил! —
Групп, комиссий, бюро, женсоветов —
Кто б еще ее в них заменил!**

**Сумку в зубы и в руки портфель —
Открывать сотню новых Америк,
Молода, хороша и горда!
Мужики все глаза проглядели,
Все судили, рядили — балдели! —
Косыками ходили всегда.**

**Жизнь свою не прошла — пробежала
Вдоль трибун, коридоров, дверей,
Время, кажется, не поспевало,
А не то, чтобы люди, за ней.**

**Ну и вот тебе вдруг заварушка,
Остановка в такой кутерьме —
Вместо лучшей подружки — подушка,
И в больнице сидишь, как в тюрьме.**

**Ну к чему ей сейчас передышка:
Дел на кафедре невпроворот,
Что давление, отеки, одышка!
Заглотнешь валидол — и вперед!**

**— Дайте времени самую малость
Кончить кое-какие дела!**

**...Ей казалось, что это усталость,
Ну, а попросту старость пришла.**

ФАРИЗА
УНГАРСЫНОВА



Романтизм

**Слог рубленый и крик, гортанные напевы
пленили дух.**

**В сетях имен молчи, поэт.
Не рухнет песни ствол, как древко,
 держат древо
Бараташвили, Лермонтов и Махамбет.**

**Три демона мои,
три дерзких херувима,
низвергнутые в прах,
вы возвратились в высь,
чтоб в голос мой,
тоской извечною томимый,
все ваши три тоски,
как барсы, ворвались.**

Так жизнь мою порой
не отличишь от песни —
сижу всю ночь без сна —
пустынная сова,
и «Злобный дух» дрожит,
и меркнет «Цвет небесный»,
покуда, точно рябь,
не набегут слова.

**Кайсаки, русичи, иверцы —
все мы люди,
и ранит сердце только скорбь одна,
и пусть элизиум блаженных непробуден —
три демона мои воспрянут ото сна.**

Когда моя душа
скребет мне грудь когтями,
чтобы не прерывать
трех начатых бесед,
ничто — больная плоть,
мы побыли гостями,
довольно бранных дел
и праздничных сует.

**Мне недосуг теперь,
мне надо торопиться**

**их истину любви
продлить в своих словах,
как марево, плывут,
зовут родные лица...
И кто кому Христос!
И кто кому Аллах!**

Когда мне скажет вкус
сухой лепешки скудной,
что прожит звездный час
и пройден путь земной,
скажу, прозрачной став:
я не бывала бедной —
един в трех лицах бог поэтов надо мной.

Гимн

Душа с пылью заодно.
 Так жаден вдох, так горек выдох.
 Степь, точно старое рядно —
 наряд весны отцвел и высох!
 О независимый простор,
 благоухающий пылью,
 об умирая старый вздор —
 ничто перед небесной синью,
 перед землею широтой,
 перед дорогою прямою,
 пред степью, солнцем залитой,
 перед прохладною ночью.
 Неполнотой пугает миг,
 когда, не уподобясь гимну,
 он, двойственный, в сердца проник,
 я звуком исхожу и гибну.
 И вдруг затеплился огонь,
 и ожил я, и всеми узнан:
 гимн — призывой фатовый конь
 народом выхолоен и взнуздан.

☆☆☆

**С вершины райского холма
увидела:**

давно знакомую
долину облегла кайма
из снежных гор витком подковы.
О, на равнине жизнь легка,
но, встретив снежный Алатау,
я напилась из родника
и сон о терниях впитала.
И я все выше завожу
глаза на блестящие скалы,
отчетливее нахожу
пути, которых не искала.
Уже слова пишу не те —
и на листке — пробел и пропуск...
— Спеши учиться высоте!

— Спеши учиться высоте!
— Спеши учиться высоте!
— Перо положишь — сбросишь в пропасть!
— Вернись к спокойствию.
— Забудь
на миг о предстоящей доле!!
Вскрутила вечность к небу путь,
учила мужеству и воле.

Перевела с казахского
Т. ФРОЛОВСКАЯ.

ЛЕВ
ОЗЕРОВ



☆☆☆

Каждый владеет малым временем
От рождения своего до смерти.
Но некоторым дано
Большое время за пределами жизни.
Барон Раухенбах бряцал шпсрами,
На балах танцевал лихо,
Но забыт напрочь...
А отец большого семейства Бах,
Сочинявший разные там хоралы,
Прелюдии и фуги,
Запомнился надолго.
Боюсь, барон, что навсегда.
Но это от нас не зависит, барон,
Кому бряцать шпорами недолго,
Кому звучать хоралями вечно.

☆☆☆

В этом городе
Заблудиться невозможно.
Все улицы и переулки
Приводят к морю.
Море — та печь,
От которой танцуют
Все улицы и переулки.
Хороша печь,
В которой вместо огня — вода.

☆☆☆

В Дельфах
Из кастальского ключа
Я пил,
Но вдохновенье пришло не здесь,
А позднее,
Когда в Афинах
Я взглянул на небо,
Чтобы увидеть облако,
А увидел Парфенон,
Он висел, ничем не поддержан,
Он парил,
И земля магнетически
Влеклась за ним
Вместе со мной.

☆☆☆

Я боялся ему помешать.
Видел в окне его свет,
Видел его склоненным над столом,
Но не осмеливался позвонить.
Зачем беспокоить!

А он, оказывается, был так одинок
И хотел, чтоб его беспокоили!

☆☆☆

— Продли жизнь этой розы,
Не дай ей угаснуть,
Запечатлей хотя бы на бумаге
Пламень ее,
Лепестков изгиб,
Синеву багрянца.

— Как же я это сделаю!
Она неповторима,
А то, что родится
На этой бумаге,
Только тень от тени
Этой розы.

— Все равно
Как можешь продли
Ее жизнь,
Ее день,
Не дай угаснуть прекрасному.

☆☆☆

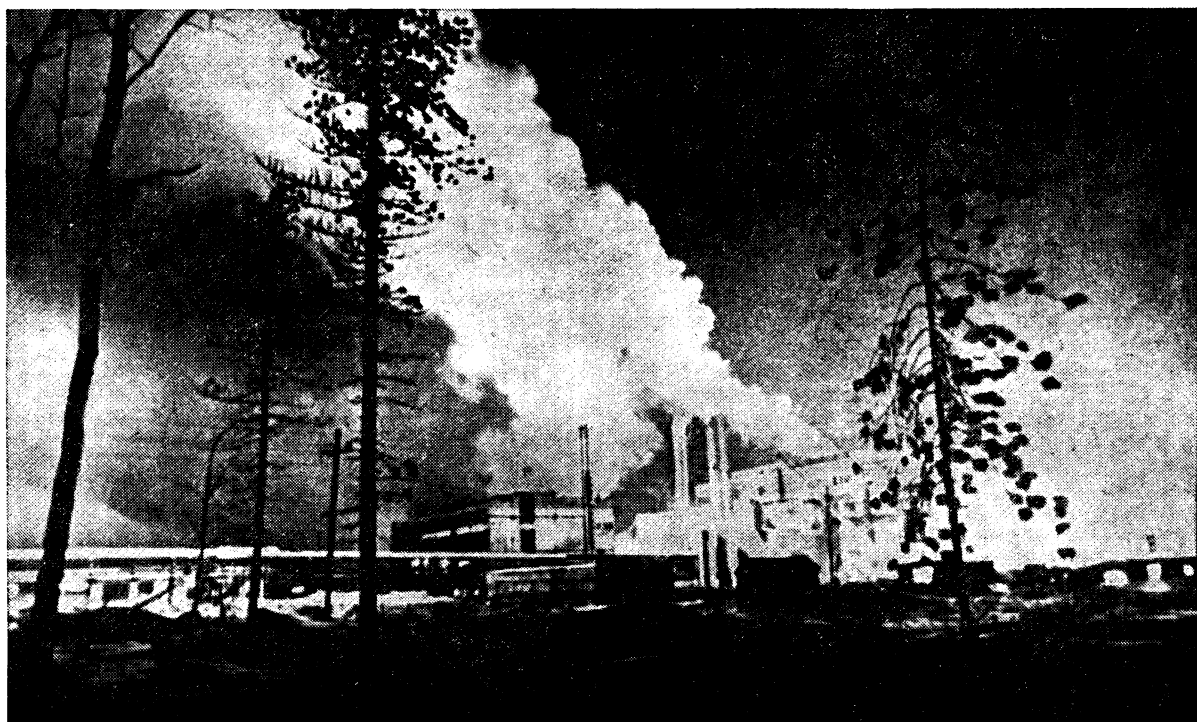
Утром я осмотрел сад.
Ни груши, ни вишни,
Ни пчелы, ни птицы
Не остановили моего внимания
В такой степени,
Как лопата,
Воткнутая в землю.

☆☆☆

Коненков объясняет дереву,
Что это значит — дерево,
Где оно терем,
Где оно дверь,
Где оно кольца времени.

Мастер взглянется в природу
И ничего не исправит в ней,
Немного добавит,
Как в молоко добавляют меду,
Прочтет смутный текст
И сделает его ясней.

Как все просто,
Как все складно!
Были сучки, а теперь пальцы руки.
Природа глядит: ей отрадно —
Были пеньки,
А теперь старички-песовички.



АЛЕКСЕЙ ФРОЛОВ

УРОКИ НА ЗАВТРА

*М*ой товарищ прислал письмо, приглашал приехать на север Тюмени, где работал теперь в крупной геологической организации. «Приезжай, есть на что посмотреть. Жизнь кипит. Скоро выходим на новые земли».

Зацепили последние слова: «выходим на новые земли». Воображение тут же нарисовало просторы, покрытые бесконечными снегами. Колдовскую пляску северного сияния. Блекло-зеленое покрывало тундры... Захватило дух... Но дальше — стоп. Дальше воображению что-то мешало. И, словно пасуя, оно медленно уступало место воспоминаниям, откручивало в знакомое прошлое. В те времена, когда новыми землями были болота да болота в междуречье Оби и Иртыша. Когда о выходе на Сургут думалось как о высадке на другую планету...

...Я появился здесь двадцать с лишним лет назад и первое время жил ощущением отчаянно затянувшейся ошибки между заспанным, неторопливым порядком старой Тюмени и дерзким нетерпением молодых горячих голов, готовых — только позови! — хоть голыми руками, а взять нефть Сибири... Казалось, что здешний уклад, и только он один, мешает немедленному исполнению планов. От него, непривычного к индустриальным темпам, вся эта неразбериха, путаница, робость наших командиров.

Мы угрюмо бродили по пыльным улицам Тюмени, почем зря ругая здешних речников и авиаторов — отправка под Сургут, на Среднее Приобье все откладывалась.

А заминка-то была от другого.

Перед нами лежала бескрайняя земля. Обманчиво-спокойная, безмятежная, ровная, как стол, она на тысячи километров не имела никаких путей-дорог, кроме как Обью или Иртышом. Не имела жилья, способного разместить нашу жаждущую романтики и подвига молодую силу. Не имела сколько-нибудь развитой производственной базы — все было очень далеко.

Выбор был тогда невелик. Или основательно осваивать край — прежде строить современное, надежное жилье, автомобильные и железные дороги, мощную энергетическую и производственную базу, а потом добывать нефть. Или другое — брать ее сразу, с самых первых дней сосредоточивая все силы на промышленном обустройстве месторождений, на прокладке нефтепроводов. А с жильем пока не торопиться, не роскошествовать, побережь силы для дела — обойтись экспедиционным. Что касается дорог, — пользоваться, какие природа заложила.

Нефть нужна была сразу, между открытием и освоением хотелось иметь минимальные сроки, и это определило тогда стратегию и образ освоения.

...Хорошо запомнились жаркие, суматошные дни на берегах Оби, под Сургутом. На десятки километров вдоль реки здесь все было завалено материалами и оборудованием, машинами и механизмами. Доставленное в короткую навигацию, добро это дождалось холодов, чтобы зимником — иного выхода не было — отправиться по назначению. Если зимник вдруг запаздывал, оборудованию суждено было оставаться под снегом. А сразу после ледохода баржи привозили с «материка» новые партии. И поскольку разгружать уже было некуда, старое хранилось под новым. И опять ожидание зимника...

Непонятые, недоучтенные взаимосвязи с самых первых дней напоминали о себе. Не беспокоились загодя о дорогах — запаздывало, а то и вовсе терялось оборудование для промыслов. Народ прибывал, начались неурядицы с жильем, и тут реакция была однозначной. Даже самые отчаянные и неприхотливые из нас, которые еще вчера согласны были жить хоть под открытым небом, вдруг пасовали — пугала неустойчивость, отсутствие перспектив. И уезжали домой. В итоге удорожалось, откладывалось то, ради чего затевался здесь весь сыр-бор, — добыча нефти.

Конечно, со временем и города и дороги «догоняли» человека. Со временем. Железная дорога из Тюмени пришла в Сургут с опозданием в несколько лет. Наверняка подсчитано, во что обошлась такая стратегия. У меня другой счет, другое видение проблемы.

Однажды случилось необыкновенно комариное лето. В тайге на просеке комары и мошка буквально зажирали нас. Мы не работали неделями. Спасаясь от напастей, забирались по горло в холодную речку, днем и ночью жгли сырой лапник... Прораб, который собирал нас в десант, вместо ящика с «антикомарином» положил в перегруженный вертолет запасные цепи для бензопил. Он ничего не перепутал и страшно обиделся, когда мы стали его по-свойски отчитывать. Он действовал, как было заведено: сначала дело, а потом всякие там пустяки... Сложившийся тогда образ освоения нашел отражение и в ПСИХОЛОГИИ И В ОПРЕДЕЛЕННОМ ОБРАЗЕ ДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА. Но вот парадокс — этот тип делового человека, как ни странно, менее всего способствовал делу. Случай, о котором я рассказал, хорошо это показывает. А в выигрыше был другой тип работника, руководителя, также вызванный к жизни характером освоения. Эти люди как бы противостоя-

ли разорительному практицизму, прекрасно понимая, что в сложившейся ситуации успех за теми, кто принимает в расчет «человеческий фактор». Делает все возможное, чтобы в суровых условиях оградить человека от дополнительных трудностей, идущих от слабой, непродуманной организации или, скажем, от чрезмерного увлечения обстоятельствами.

Минувшие годы виделись мне сквозь призму сложных, противоречивых взаимоотношений, столкновений человеческих типов и характеров. И рядом с высоким итогом — достижения в Западной Сибири огромны: миллион тонн нефти в сутки, миллиард кубометров газа, — являлся и отрицательный опыт. Его нужно было учесть, но никак не повторить в будущем.

«...Скоро выходим на новые земли, — писал мне мой старый товарищ. — А их здесь — ой-ей!.. И знаешь, думаю, что нам на первых порах не избежать прежних ошибок, хотя мы всяко стараемся. Теперь у нас в ближних тылах — и современные города и отличные дороги. И опыта освоения накопился дай бог!.. Наверное, велика еще сила прежних привычек, сила инерции...»

Захотелось, не откладывая, увидеть, как все будет на этот раз. Сравнить с прежним, пережитым. В командировку торопаясь записывались пункты моего северного маршрута, пахнущие дымом и снежным ветром: Уренгой, Газ-Сале, Антипаюта, Ямбург... Но сначала — совсем недолго был Новый Уренгой.

В Новом Уренгое самолет долго рыскал по бетонке, словно бы пытаясь найти стоянку поудобней, а потом взревел напоследок, уткнулся в отведенный угол и разом стих, как уснувший ребенок. И тут же в сумраке утра полыхнул полукруг восходящего солнца, будто кто-то рывком открыл дверцу гигантской печки. Полыхнул так жарко, что захотелось расстегнуть пальто. Но когда люди, по необъяснимой привычке торопясь, вышли на трап, образ разрушился. Солнце, поминутно набирая округлость, отдавало холодом. И печать холода лежала на всем: на скромной двухэтажной коробке аэровокзала, сплошь покрытого жестким мехом инея. На винтах стоявшего неподалеку вертолета, обвисших, как сосульки, — обломаясь, только дотронься. На съезжившемся туловище машины-бензозаправщика, которая потихоньку, словно бы преодолевая густой холодный воздух, продвигалась к самолету. На фигурке девушки-дежурной, то ли от холода, то ли от нетерпения приподнимающей ногами, обутыми в оленьи унты. Она попыталась сказать что-то сердитое ретивому пассажиру, но слова застыли на губах. И тогда она махнула рукой, и все нестройно побежали, стараясь сберечь остатки накопленного в самолете тепла — оно еще должно было пригодиться. И уже в вокзальчике, в котором было тесно, как в непечатом спичечном коробке, обнимали, похлопывали встречающих не столько, казалось, на радостях, сколько для согрева.

Я только успел вспомнить полушутливую формулу здешнего житья-бытья — «п + холод», где в качестве «п» могло быть любое человеческое занятие, как меня стиснули в крепких объятиях, и я увидел смеющиеся глаза своего старого друга Валерия Цыганова. По привычке он сразу включил «третью скорость» — на одном выдохе выложил, что сам только-только из Салехарда, совещание там какое-то проходило. Что обстановка в целом нормальная. Что вертолет сегодня в четырнадцать ноль-ноль зайдет за нами с подбазы. Что погода, сам вижу, желать нельзя лучшего. Но север есть север. На той неделе давали трехдневное штормовое предупреждение.

Однако без паники. В случае чего, доберемся зимником, хотя, говорят, зимник изрядно перемело...

Стоит ли говорить, что вертолет не пришел за нами ни в четырнадцать поль-ноль, ни часом позже. Мы напрасно ждали его. Север есть север. Здесь в таком случае говорят: «Погоды сломались».

...Еще пять минут назад небо было чистым и прозрачным, как свежевывитое стекло. И вдруг, когда задул ветерок, его мигом зашторило серой пеленой. Пелена набухала и тяжелела, все ниже и ниже опускаясь к земле. Стало теплеть, пошел снег. Он падал неестественно, как в театре: медленно, чуть косо, хлопьями величиной с ладонь. «Баста,— сказал Валерий.— На сегодня отыгрались».

А утром, открыв дверь из заезжей на улицу, я оказался носом к носу с сугробом.

— Поездка отменяется. Будем загорать,— сказал я.

— Нам бы сначала отсюда вырваться,— усмехнулась Цыганов,— а там видно будет.— И взялся за лопату.

Одет он был не по-походному, а словно бы собиравшись на прием. Костюм был тщательно отутюжен, башмаки матово поблескивали. Когда он наклонялся, чтобы набрать очередную порцию снега, тугой воротничок накрахмаленной рубашки врезался в подбородок. Весь его внешний вид — человека для кабинета — решительно не вязался с теперешним простецким занятием, и я подумал, что за эти годы Валерий не изменил своим привычкам. А ведь я с ним познакомился когда-то, как раз и привлеченный его необычным внешним видом.

Было это на трассе под Тобольском. Из вертолета с толпой бородастых, загорелых, укутанных в полушубки и телогрейки парней вышел совсем юный, хрупкий на вид человек в светлом плаще и ботиночках. Была распутица, и грязь стояла по колено. Я решил, что это новичок. Когда нас представили, понял, что ошибся. Здесь в чем-то другом была собака зарыта. Цыганов в свои двадцать два уже не первый год работал заместителем по кадрам в быту в крупном строительном подразделении. Случай не частый. «Может, он так от неуверенности? — подумал я и, когда представился случай, спросил, наверное, не очень корректно: «Думаете, в белых перчатках дорогу быстрее построим?» Цыганов не остался в долгу: «А вы считаете, человек должен быть рабом обстоятельств?»

Мы сухо расстались, и только со временем я понял, что и в манере поведения — спокойной, рассудительной — и в подчеркнутой манере одеваться был вызов неустроенности, беспорядку, слабости духа.

Кому приходилось работать в нелегких условиях таежного десанта или северной зимовки, тот хорошо знает, как можно быстро, а главное, незаметно привыкнуть к беспорядку, расхлябанности, а то и вовсе опуститься. Этому многое способствует: тяжелая работа, скудность, отсутствие элементарных удобств. И если дать слабину — сегодня не побориться, завтра не сменить вкладыш в спальнике или оставить невымытой посуду, — все, и прежде всего твое нравственное состояние, может пойти наперекосяк.

Я не раз наблюдал, как с появлением в каком-нибудь таежном балке аккуратно одетого, подтянутого Цыганова со стола мигом исчезали почерневшие от заварки кружки. Парни-лесорубы стыдливо скоблели шедельной давности щетину. Тут же протирались закопченные за зиму окна, надраивались полы.

Не боязь начальнического нагоняя — народ тут был не из пугливых, — контраст будоражил воображение. Заставлял подтягиваться, помогал людям, погруженным в тяжелую обстановку, не только просто

выживать — сохранять облик. Здесь в каждом отдельном случае совершалась маленькая победа над обстоятельствами и над самим собой, а это вселяло уверенность и закаляло дух.

Наверное, такое подвигничество давалось Цыганову нелегко. Ведь он жил в одинаковых условиях со всеми, и когда все успевал, это мне было неизвестно. Но по-другому, вероятно, не мог. А по-другому было бы проще: не пытайся выше головы прыгать, жестко требуй, спрашивай с людей — и точка. Может, он не умел?

Уже потом, когда мы с Валерием подружились, мы не раз обсуждали эту проблему. И вывод был таков: всерьез с человека можно требовать только после того, как создашь настоящие условия. Глупо делать выволочку за грязные простыни, если вместо стиральной машины в «медвежий угол» забросили лишнюю бочку солярки. Курам на смех издавать грозные приказы, объявлять выговоры за то, что некто в сорокаградусный мороз соорудил в своем вагончике дополнительный самодельный обогреватель. Бей во все колокола, стучись во все двери, чтобы скорее покончить с неустроенностью. Чтобы люди видели и понимали — будут перемены. А пока все средства хороши, и среди них — личный пример, каждодневно доказующий, что и в нечеловеческих условиях можно жить по-человечески.

— Смотри-ка, пробились, — с уважением, но как-то без особого энтузиазма сказал шофер Володя, когда мы с Цыгановым раскидали наконец завал перед «заежкой» и теперь утаптывали тропинку.

— А ты думал, мы там зимовать будем? — спросил Цыганов, набрасывая пальто.

— Зимовать, — не зимовать, — сказал Володя, — а я бы на вашем месте сегодня не поехал. Снегу что здесь, что там, на зимнике, навалило. Лопатой не разгрестишь!

Володя стоял, опершись на свой запорошенный, обледенелый «Урал». Работал двигатель, и тело огромной машины нервно подрагивало, словно разделяя настроение хозяина.

— А если завтра еще больше навалит?

Володя пожал плечами.

— То-то, — сказал Цыганов и полез в кабину.

Пока мы крутились по улицам Нового Уренгоя, ухитрившись дважды пересечь железную дорогу, которая по чьему-то недосмотру проходила через центр города, — пока мы крутились и Валерий сдержанно знакомил меня со здешними достопримечательностями, я слушал его вполуха и вспоминал свой первый зимник.

Совершенно отчетливо мне виделся огромный костер, разложенный прямо на льду озера. И расстроженные, озабоченные лица ребят в неверных отблесках мечущегося огня — тогда поднялся сильный ветер, и снежный заряд все норовил загасить пламя... Третьи сутки мы пробивались санно-тракторным поездом в «голову» трассы. Зимник должен был вот-вот закрыться, весна ожидалась ранняя. Мы торопились и для скорости шли ночью. И ночью, когда неожиданно запуржило, потерялся самый последний, замыкающий колонну трактор. Потому и развели костер, употребив бочку драгоценной солярки, деревянные нары и табуретки из жилого вагончика. Авось, увидят сигнал... Ничем другим помочь не могли, пурга перепутала стороны света... А утром развиделось, и вертолет, патрулирующий зимник, сбросил вымпел. Наши пропавшие были живы-здоровы. А запутали потому, что трактористу захотелось раньше других попасть на место, и он срезал угол. Когда мы узнали обо всем и вздохнули облег-



ченно, наш старший, Коля Малышев, сказал откровенно и зло: «Пацаны. Гнать таких надо...» Ребят этих больше никогда с собой не брали.

...Мы уже с полчаса ехали по загородной бетонке, я начал придремывать, и тут Валерий сказал огорченно:

— Маху я дал, второпях ни унтами, ни валенками не запаслись... А путь до Старого Уренгоя не близкий — под сотню километров...

— Так всегда бывает, когда торопишься, — сказал Володя. — Выехали бы завтра, так уж точно при полной экипировке...

— Дело поправимое, — сказал Цыганов, — стоит только вернуться...

— Э, нет! Тут хоть увольняйте, не вернусь. Плохая примета!.. И потом у меня есть пара валенок запасных — не первый год бороздим севера.

— По одному, выходит, на брата, — сказал я, пытаясь разглядеть, что там впереди...

За окном мутнело, сгущалось пространство. В зеркале заднего обзора уже не видно было машины, которая шла с нами в паре. Огни встречных машин становились различимы только в самой опасной близости. Непонятно было, как видел наш шофер дорогу. Да он и не видел ее, а скорее чувствовал колесами своего «Урала». Когда машину чуть уводило, Володя сбрасывал скорость и на самой малой как бы прощупывал дорогу. Почувствовав твердь, он прибавлял оборотов.

...А потом бетонка резко перешла в зимник. И этот переход по ощущениям был похож на прыжок с твердого берега в лодку, которая пляшет на свежей волне. Теперь мы как бы плыли по зимнику, отдаваясь то бортовой, то килевой качке.

— Бойкое место — машина за машиной, — сказал Володя, — вот и раскатали дорожку...

— Обстановка домашняя, — подтвердил Валерий. — Это тебе не прежний зимник — по тысяче километров в безлюдье. Тут базовый город под боком. Три-четыре часа, и ты на самой крайней точке. А случись что с машиной, в пределах получаса обязатель-

но кто-нибудь на тебя наткнется. И вот проблема — старожилов это расхолаживает...

— Да-да, — обрадовался Володя, — не взяли же вы с собой унты!..

— ...а новичкам, — продолжал Цыганов, — и невдомек, что здесь не Подмосковье...

— А по-моему, — сказал Володя, — дело еще и в технике. Не настраивает она на серьезный лад. Не дает почувствовать салажонку, что работает он в необычных условиях... Возьмите мой «Урал». Зверь-машина. Прет, сами видите, как. А оборудование для человека заночевавшего или заблудившегося плевое. Самим приходится разные печурки да радиаторы для тепла придумывать...

— Правильно, — сказал Валерий. — Но дай ты даже самое лучшее в руки человека, морально не подготовленного к работе в наших условиях, будь он трижды профессионал — и тогда оплошает... Тут недавно случай вышел. Мастеру срочно понадобилось стонять на подбазу. Время было нерабочее. Мастер — к водителю вездехода домой. Так, мол, и так, нужно позарез. Водитель как был в домашних тапочках, так и прыгнул в машину. А на полдороге двигатель заглох. Как быть? Пришлось мастеру, благо он был в унтах, топтать десяток километров за помощью. А наш герой меховые варежки на ноги напялил — кабина, естественно, без подогрева, а на улице минус сорок пять!.. Хорошо, до ближайшего жилья десять километров было, а не сто...

Трагический исход может случиться и поблизости. Когда наконец добрались до Старого Уренгоя, нас встретили печальной вестью. В тундре пропали два паренька — тракторист и помбур. Они перегоняли трактор с буровой на буровую, и неожиданно началась пурга. Ребята очень быстро потеряли колею. Они остановились и заглушили двигатель. Наверное, им казалось, что буровая где-то неподалеку. Они слили из радиатора воду и ушли в пургу. Следующим утром трактор нашелся. В кабине был термос с неостывшим чаем, пачка печенья, спальник. Топливный бак был почти полон... Угнетало, что ребята

Вот такие дома
вертолет-кран
монтирует за сутки
(снимок слева).

Строители, инженеры-проектировщики ищут оптимальный вариант уютного современного жилья для северян (снимок справа).

Фото
Л. Шимановича.



твердо усвоили: нельзя оставлять технику на морозе с водой в радиаторе, — и совершенно не знали, как быть, если случится непогода. А все было элементарно: не надо было глушить двигатель и покидать машину.

Я подумал: непременно нужно учить людей северу, как учат трудной науке. Но вот с чего начать? Поводом для размышлений послужило маленькое дорожное происшествие на самых подходах к Старому Уренгюю. Все мы были уже изрядно вымотаны. Шофер Володя то оставлял машину и устало ложился на руль — отдыхал, то прямо на ходу открывал дверцу, становился на подножку, пытаясь разглядеть редкие вешки, указывающие край зимника. И тогда в кабину жадно врвалась пурга. Она мигом съедала тепло и как рукой снимала сон, в который мы впадали, разморившись в тепле.

В один из таких моментов Володя, чертыхнувшись, резко тормознул. Прямо перед нашим бампером полудежал на боку оранжевый «Магирус». В крошечной снежной круговерти слабо тлели зажженные подфарники.

— Живы-здоровы. Только крепко в яму угодили, — определил Володя, — и мне их оттуда не вытащить.

Вылезать наружу в ботиночках не хотелось. Но Цыганов сам во всем должен был разобраться, и мы двинулись к потерпевшей машине, с трудом выдирая ноги из вязкого, всепроникающего снега.

Кузов «Магируса» уже почти запесло. Белый холмик забрался и на крышу кабины, но внутри было тепло. Там сидели двое.

— Почему в одиночку ездите? — резко спросил Цыганов.

— Да напарник вперед умотал, — нехотя ответил шофер.

— Он что, новичок?

— Хочет лишний рейс сделать, вот и торопится...

— Бросил, значит, — заключил Цыганов. — Ладно, потом разберемся... Продукты, бензин имеются?

— Бензину под пробку — проехали всего-то двадцать пять километров. А вот с продуктами туго.

— Володя, — сказал Цыганов, — выдай ребятам из наших запасов...

— Может, дернуть попробуете? — робко поинтересовался шофер.

— Братцы, — сказал Володя, — да вы тут так втяхались, что вас не вытаскивать — вынимать нужно. Я эту ямку знаю. Коварная, как моя теща. Здесь трактор потребуется...

— И еще, Володя, дай им твою паяльную лампу. Трактор сюда не раньше, чем через пять часов притащится...

— А сам я, случись что, на спичках чай варить буду?

— Дай, — жестко сказал Цыганов. — У тебя напарник висит на хвосте, а их бросили...

Остаток пути мы ехали вчетвером. Пришлось взять с собой экспедитора с «Магируса». Он должен был привести помощь... В кабине было тесно, душно. Не оставляла досада.

Незадолго до моей поездки на тюменский север я встречался с доктором архитектуры, одним из самых крупных специалистов по русскому деревянному зодчеству, Александром Викторовичем Ополовниковым. Александр Викторович, человек уже немолодой, прошлым летом побывал на реке Алазее, неподалеку от Среднеколымска. Он рассказывал о последних своих находках и, между прочим, обронил любопытную мысль. Мы сейчас выходим на новые земли — на север Тюмени, в Восточную Сибирь. А так ли уж эти земли новы? Там следы тысячелетней культуры. Сложившееся экологическое равновесие. Там уникальные климатические условия. Иными словами, гигантский природно-этнографический комплекс, а не просто земли с богатейшими недрами. А готовность человека к встрече с этими землями в лучшем случае воспитываем только профессиональную. Тогда как этому непременно должно предшествовать, так сказать, освоение интеллектуальное — подробное, глубокое знакомство с природой края, его историей, какими-то присущими только ему одному особенностями, написанными законами, традиционно сложившимся характером взаимоотношений.

Это не только оградит землю от безоглядного расточительного пользования. Это избавит человека от безразличия, нравственной глухоты, пробудит в нем настоящего хозяина, избавит от одностороннего развития.

Я соглашался с Александром Викторовичем: все так. Мне даже вспомнился курьезный случай. Отличную производственницу, проработавшую в Сургуте год или два, прислали на встречу к московским школьникам, и она не могла показать Сургут на карте... Но на памяти было много и других примеров, когда явные поведенческие перекосы мы относили за счет легкомыслия, неопытности, молодости лет. Кто-то забыл плотно закрутить вентиль, и целая цистерна солянки оказалась в реке. Кто-то не залил как следует костер, и тайга полыхала неделю. Кто-то оставил трактор на лето в тундре, и коварная мерзлота, протаяв, проглотила дорогостоящую машину... Возможно, всего здесь было понемногу — и незнания, и легкомыслия, и неопытности. Но основная загвоздка все-таки крылась в другом: в разноречивых установках, вызванных самим характером освоения. Я хорошо помню те времена. С одной стороны, мы горячо призывали знать, хранить и приумножать все, что нас окружает. С другой (и это всего очевидней именно в районах освоения) — требовали неприменной деловой отдачи от каждого шага, чего бы это ни стоило. И человек, конечно же, прежде всего должен был подчиниться требованию, а не призыву или проповеди. Тем более, что требование всегда подкреплялось материально... Но было здесь и еще одно. И в это меня посвятил московский социолог Виктор Переведенцев спустя годы. В тяжелых бытовых условиях человек, совершенно естественно, стремится как можно быстрее обеспечить тот минимум, который даст ему на Большой земле запланированные блага: кооперативную квартиру, машину, мебель. Зачем испытывать неустроенность, годами ждать обещанной нормальной жизни, если есть возможность получить все в кратчайшее время. Только не крути носом, не жалуйся, не сетуй, не распускай нюни...

...И вот уже не «кто-то», а вполне реальный человек, имя которого Цыганов записал в блокнот, бросает своего напарника в тундре, торопясь сделать лишний рейс... Да, это вероятнее всего крайний случай. Но как он схож, словно бы от одного корня, с давней нашей историей на трассе, когда прораб подкинул в вертолет запасные цепи для бензопил, а мы не знали, куда себя девать от мошкар. «Для вас же, чертей, стараюсь», — обижался прораб. — Что бы не протаскивали. Чтобы заработок был...» Некоторым моим товарищам эти доводы показались резонными: «Прав человек, что с этой дыры еще возьмешь?» Но большинству такая постановка вопроса пришлась не по душе: «Мы что, рвачи? Себя не уважаем?» Их тут же записали в неисправимые романтики. Я искренне удивлялся: совсем недавно были сообща, я вдруг разные цели. Мы все больше чуждались друг друга, с каждым днем конфликт нарастал...

Я хорошо помню ехидные реплики наших смысленных оппонентов: «Бросьте носить с вами удобствами, клубами... Может, театр с филармонией вам сюда подать?»

Мы были бы не прочь. Мы приехали сюда надолго — перестраивать землю. И нам не хотелось делать это второпях, начерно, поступаясь своими принципами и потребностями. Отступая перед временными неурядицами, которые — мы верили! — обязательно преодолеем... А им было все равно. Они уже не собирались связывать себя с этой землей. Их деловой

импульс был энергичен — в перазберихе первых лет эти люди горы воротили, — но короток — ничто не могло их удержать, если программа-минимум была выполнена.

Уезжали и наши, не выдержав напряжения, испытаний. так и не усвоив науку преодолевать. Но как по-разному это было: у нас и у них!

Шум, веселье, бравата: «Хватит, мы свое отработали, пусть другие поупираются!» Это они.

Горечь, душевные муки и переживания, боязнь взглянуть в лицо товарищу. Нередкое вслед: «Слабак, дезертир...» Это мы.

Говорят, нашего брата, так называемых, романтиков, энтузиастов, уезжало больше. Но ведь нас и было больше в сотни раз. А сколько крови попортили нам «деловые» своей показушной нетребовательностью, мнимым пренебрежением к уюту, удобствам, комфорту — нормальной жизни, которая догнала нас через многие годы, но которая еще сегодня несет на себе груз прежних ошибок.

Мы прибыли на место, но Цыганов не стал забегать домой. Сразу же в контору, а в конторе к телефону.

«Как обстановка?» Этот необычный для слуха вопрос летел в десятки концов по проводам и радио. И по выражению лица Валерия можно было легко догадаться — как. Он мрачнел, хмурился, а то лицо его светлело, и он улыбался. Но голос не выдавал истинных эмоций. Для собеседника на том конце провода он звучал ровно и спокойно. «Без паники!» — словно бы предупреждал он одних. «Не стоит особенно обольщаться», — должны были понимать другие.

По обрывкам фраз понемногу создавалась картина теперешних забот Цыганова — заместителя генерального директора по быту крупнейшего заполярного геологического объединения.

Где-то на дальних буровых кончались продукты, и он теребил вертолетчиков — все должно быть отправлено без задержки.

Ставился на ремонт дом, и надо было срочно подыскивать резерв. Не выставлять же людей на улицу!

Заведующая детским садом наотрез отказывалась принять какого-то ребенка — в садике яблоку негде упасть. А отец ребенка — нужный специалист. Как быть?

На новую точку требовалось перебросить вагончик-столовую. Триста километров зимником. Это когда же вагончик прибудет на место?

Предстояло распределение квартир в новом доме. Список внушительной стопкой лежал перед Цыгановым. Он спокойно говорил явно взволнованному собеседнику, что никаких внеочередников не будет. Только строго по списку.

Потом в кабинет повалил народ. И в Приполярье людей одолевала обычные заботы. Несли бумаги на подпись, чертежи и синьки, заявления и жалобы. Валерий развел руками, как бы говоря: «Извини. Вот что значит отсутствовать трое суток».

Я вышел на улицу.

В полусвете просыпающегося полярного дня Старый Уренгой вовсе не выглядел старым. Может, потому, что все кругом было надежно укрыто нетронутым снегом... Ровные ряды двухэтажных оштукатуренных домов. Широкие прямые улицы. Компактный общественный центр — с чистенькой столовой, Домом культуры, спортзалом, магазинами. Все это, расположенное на правом берегу Пура, обрамлялось небогатой растительностью лесотундры, которая

сейчас, зимой, больше походила на прибранный парк и радовала глаз. И хотя эта идиллическая картина мало вязалась с тем, что я слышал в кабинете у Цыганова, я подумал, что когда-то люди садились здесь основательно и крепко.

Поселок строился в шестьдесят пятом, в самый сложный момент освоения, когда вокруг было немало неразберихи и бестолковщины. Но Старый Уренгой не носил следов поспешности. И не только во внешнем облике, планировке и наборе удобств. Я заглянул в клуб. Как и все здешние постройки, клуб был деревянным, из бруса. И в нем было то, что имеет клуб в поселке городского типа на Большой земле, — от кинозала до зала для танцев... Я осмотрел и первую попавшуюся квартиру, и она оказалась вполне благоустроенной даже в теперешнем понимании — отдельные комнаты, кухня, центральное отопление, вода и теплый туалет. И уже возвращаясь в контору к Цыганову, я подумал о левом берегу, огни которого сквозь сумерки хорошо просматривались отсюда, с правого берега Пура. Там был поселок транспортных строителей, станция Коротчаево на пути полуторатической железной дороги Тюмень — Уренгой. ...Мне был дорог человек, именем которого названа станция. И с самой «железкой» связывало многое. Я с горечью подумал, что строители дороги никогда не начинали жить так, как геологи. Да и сейчас вряд ли что-то изменилось там у них в лучшую сторону. Берег левый, берег правый... Откуда, почему такая разница?

...У Цыганова сидел посетитель. Они о чем-то спорили. Собеседник Валерия горячился, тыкал карандашиком в записи. Цыганов был по обыкновению невозмутим. Постепенно до меня дошла суть спора.

У них было свое небольшое подсобное хозяйство — коровы, свиньи. Пока с молоком было не густо — четверть тонны в сутки. Хватало только больным и слабеньким ребятишкам. Мечтали о полутора тоннах. Тогда могла быть свободная продажа...

Собеседник Цыганова Алексей Петрович Ковынев, человек, судя по всему, беспокойный и неутомимый, командовал тогда в Уренгое всем технологическим транспортом. Был у него и беспоконный довесок — подсобное хозяйство. Недавно по проекту Ковынева закончили строительство нового коровника. И животных успели прикупить. Теперь — корма. Проблема!

— Говорю, с Большой земли надо корма возить, — давил на Цыганова Ковынев. — Железная дорога — вот она, под боком. Уже договорился, прессовать брикетами будут сено и солому...

— Лучше уж сразу слитками, — нехотя говорил Цыганов.

— Это как так?

— А так. Солома-то у тебя получается золотая. За три тысячи верст везти... Послушай моего доброго совета. В низовьях Пура осока — в человеческий рост. Руби ее да смешивай с чем хочешь. — Цыганов устало повернулся ко мне. — Все торопимся, спешим. Лишь бы, лишь бы. А потом локти кусаем...

— А мне показалось, что у вас тут все обдуманно, без торопежа, — сказал я и, чтобы прекратить спор, выложил им про берег левый и правый.

Ковынев рассмеялся.

— Если бы не торопились, не поставили бы поселок в зоне затопления. Раз в три года весенний Пур, как миленький, разгуливает по Старому Уренгюю. На лодке можно в магазин или на работу!..

— Дело не только в том, что торопились, — сказал Цыганов. — Пур летом — единственная надежная дорога. Это взяли в толк, а коварство речки не учли...

— И теперь водичка поселок точит, — подхватила Ковынев. — Дома-то деревянные, подгнивают потихоньку.

Помолчали. Потом Цыганов сказал:

— Насчет преимуществ нашего правого берега верно подмечено... Когда-то Серго Орджоникидзе сказал, что геологи могут обогатить страну, а могут сделать ее нищей. Чтобы этого не случилось, разведка обязательно должна опережать добычу — пополнять запасы... Наша суть — в постоянном опережении. Мы раньше всех появились на этой неласковой земле. Раньше других поняли, что, хотя мы здесь и временно — не сегодня-завтра придется уходить на новые земли, — надо все равно устраиваться прочно. Сейчас ситуация осложнилась...

— Рассуждаешь, будто всю жизнь в геологии, — сказал я.

Цыганов не принял реплики.

— Там, где я проработал большую часть жизни, — сказал он, — дело обстояло хуже. Сначала — помнишь? — без дорог здесь решили обойтись. Экономил на дорогах. А когда поняли, что так просто нефть не взять, и заторопились, — о каком комфорте и удобствах можно было думать? Заикнуться о нормальном жилье было неловко...

...Я вспомнил, как в очередной мой приезд в Тюмень Дмитрий Иванович Коротчаев, начальник строительства железной дороги, разыскал меня и велел предстать пред очю. Я поспешил на вызов и застал Коротчаева не как обычно — за огромным письменным столом, за которым он мог работать сутками, если только не разъезжал в своем стареньком вагоне по трассе. Дмитрий Иванович был на ногах. Своей семенящей походкой он мерил просторы кабинета, потирая при этом руки. Семенящая походка была профессиональной — от долголетнего хождения по шпалам. Коротчаев построил десятки железных дорог. Был героем легендарного Абакан — Тайшета и, несмотря на преклонный возраст, отличался завидной энергией, умением широко мыслить и действовать решительно, без оглядки... То, что он потирал руки, было дурным предзнаменованием — Коротчаев был сердит, так что ждать хорошего от встречи не приходилось.

— Тут рабочие прочли ваш очерк... Не на то надеетесь молодежь. Какие такие хоромы мы должны здесь возводить, когда в Сургуте ждут не дождутся дороги!

— Извините, Дмитрий Иванович. Это вам не рабочие жаловались, а рвачи, — услышал я голос Цыганова, незаметно пристроившегося на стульчике в дальнем конце кабинета. — Им наплевать, в каких условиях жить и работать, лишь бы платили.

Цыганов тогда работал заместителем начальника комсомольского штаба стройки. Мы успели с ним подружиться и найти общий язык.

— Хорошо, — сказал Коротчаев. — А как понимать, когда ко мне приходят ваши комсомольцы и просят перевести на жилье из домов в палатки? Мол, о палатках мечтали, а вы нас в «удобства» засовываете?..

— Новички. Немного погорячились, — сказал Цыганов.

— Дмитрий Иванович, это как корь в детстве. Ею должны все переболеть...

Коротчаев смягчился.

— Не навязываю своего мнения, но твердо при нем остаюсь. Надо, чтобы молодежь испытала на себе все. Откуда может быть закалка, умение сопротивляться невзгодам, если человек отсиживался в теплице?

В этих словах была своя логика, но уже тогда мы имели дело с непривычным для Коротчаево человеческим материалом. Дмитрий Иванович и сам это со временем поймет и с присущим ему мужеством скажет в самую последнюю нашу встречу: «А знаете, я тогда был не прав...»

...А тогда нас ждали за триста километров от Тобольска. Ждали на пятачке, окруженном болотами. Здесь на сухом взгорке должен был расположиться поселок строителей, а пока ютилось несколько стареньких балков. Ждали с двумя первыми сборно-щитовыми домиками, которые мы везли тракторным поездом. Люди жили скученно, табором. Один уходил в тайгу, на просеку, другой занимал его койку. И поэтому, когда мы доставили домики на место, ходили именинниками... А в мае поднялась Обь, и залила все кругом большая вода. Пришли баржи, и мы разгружали новую партию щитовых домов и днем и ночью. Разгружали вручную. Сходили скрипели под тяжестью, и мы всё боялись — не обломились бы, не ухнут бы в воду... Не помню, сколько весил один щит, но когда мы уже собирали в поселке дома, щиты поднимали и ставили не руками — автокраном. И черт подери, как было досадно, когда в первые же холода выяснилось, что наше новенькое, словно бы с иголочки жилье совершенно не держит тепла. В комнатах гулял ветер, и люди мрачно шутили: «Дед Мороз нас любит. Пришел в дом в октябре, уйдет не раньше мая». Сборно-щитовые домики, наверное, вполне годились для средней полосы России, но никак не для условий Среднего Приобья. Э-эх, сколько времени потрачено, сколько сил!

Скоро выяснилось, что это была не самая наша большая беда. Здесь кое-как вышли из положения. Закопатали щели, пробрали полы драпкой. Наставили самодельных обогревателей — электрических «козлов». Можно отлежаться, отдохнуть в тепле после многочасовой работы на воздухе. Можно кое-как обсушиться, сварить чайку. Но ведь это удовлетворялись самые элементарные потребности, и будь здесь трижды раскрепасное жилье, его одного для полноценной жизни было бы недостаточно. А детский садик? А клуб? А приличная столовая с домовой кухней? А вечерняя школа? А библиотека с комнатой для занятий и читалкой? Да, да, все это было предусмотрено построить, но не сразу. Постепенно, во вторую или третью очередь, через год-два. Сейчас нужно было выполнять «физические объемы». И редко кто мог взять в толк, что сюда, на стройку, приехали современные люди. В основном молодые, горожане, сплошь со средним образованием — люди с развитыми потребностями. И рано или поздно эти потребности должны были войти в противоречие с неустроенностью. Мы уже знаем, во что это выливалось.

Вечером мы сидели дома у Цыганова и ели суп из концентрата. Оба изрядно притомились, но разговор шел — давно не общались с глазу на глаз.

— Знаешь, — сказал Цыганов, — я тут подумал, а ведь ты не совсем прав насчет левого берега. Конечно, там, в Коротчаево, многое намешано, но строить теперь и они любого-дорого смотреть. На две семьи — домишко, ванная чуть ли не кафелем выложена! Годы научили...

(Я потом специально ездил в Коротчаево. Здесь и впрямь было всякого намешано. Рядом с симпатичными домиками, о которых рассказывал Валерий, ютились старенькие щитовки, небрежно обитые только для тепла. Эти дома были из того времени. Из того времени тянулось и живучее представление

об устройстве человека на севере как о деле второстепенном. Мне рассказывал товарищ, вернувшийся недавно из Коротчаево, как там встречали нынешней весной большой комсомольский строительный отряд. Встречали не палатками и не балками — домами, в которых были предусмотрены все удобства. Годы научили... Теперь человек, не тратя времени на устройство, создание элементарного быта, мог «с колес» включаться в работу... Однако и на этот раз не обошлось как надо. Строили второпях, то и дело отвлекаясь на «дело». И в некоторых домах к приезду отряда не успели настлать полы. А на дворе стоял апрель — в здешних местах самый что ни на есть зимний месяц!)

— А у нас, — продолжал между тем Цыганов, — далеко не все благополучно. И внешний вид поселка редко кого теперь обманывает. — Он налил мне крепчайшего чаю, который заваривал особым образом прямо в чашке. — Ты, наверное, недогадал, я тебе потом покажу, — целый городок вырос в Старом Уренгое из балков. Триста штук в поселке и окрестностях...

Это был тревожный симптом. На моей памяти балки, самостроевское жилье, которое потом десятилетиями портило вид молодых городов, появлялись там, где люди теряли надежду в ближайшее время получить жилье. Ведь когда начиналось освоение, расчет был на одиночек, семейных не брали. И многие — лишь бы попасть сюда! — скрывали свое семейное положение. А потом, не выдержав разлуки, потянулись к мужьям жены с ребятишками, молодые обзаводились семьями здесь, на месте. Расчет лопнул. И без того робкое жилищное строительство не могло удовлетворить еще и незапланированного наплыва. Люди брали в руки пилы и топоры. А у кого с плотницкими навыками было плохо, тоже не отчаивались. В Сургуте балок можно было приобрести за деньги — предприимчивого народа здесь хоть отбавляй... Кстати, в балках обретались в первую очередь «деловые» люди, которым лишь бы крыша над головой. Но очень много было и семейных, им не было места в общежитиях. Эти одной крышей обойтись не могли. Ребенку нужны были ясли или детский сад. Жене — работа. А ведь на место в детском саду и рабочее место для женщины в районах освоения всегда был острый дефицит.

В Старом Уренгое рос городок из балков, и я не завидовал Цыганову.

— Ну а жилье-то строите? — спросил я. — Тут ведь только и был выход.

— Строим, — сказал Цыганов. — Как не строить. Но сначала о старом поселке. Алексей Петрович говорил: подточила поселок водичка, на ладан дышит. Мы тут над ним трудимся, как реставраторы над тобольским кремлем. Помнишь?

Как не помнить. Пока тобольские реставраторы восстанавливали очередную башню, приходил в негодность, терял вид только недавно восстановленный кусок стены. Средства отпускалось мало, и реставрация растягивалась на годы, во многом теряя смысл.

— Средств не хватает?

— Хватает, да распыляемся. Если тот же тобольский кремль есть резон сохранять и восстанавливать, ремонт нашего старого поселка только отвлекает средства от нового строительства...

— Да плюньте вы на старый поселок — в делу конец!

— Легко сказать... А куда мы людей денем? Ведь это только в шестидесятых поселок, как ты верно заметил, отвечал потребностям, потому что на одну организацию, на две с половиной тысячи народа был рассчитан. А сейчас у нас двадцать одна орга-

низация, десять тысяч человек! И все нужные, все специалисты. Чувств?

— Где же выход?

— Строить, — ответил Цыганов. — Но думать, строить не такими темпами, не таким образом, как раньше, как приходится сейчас. Недалеко от конторы рабочие двенадцатиквартирный дом из бруса делают. Видел? Сколько, по-твоему, на строительство уйдет?

— Полгода, ну год по крайней мере...

— Вот-вот. А жилье получат только двенадцать семей. А у меня в балках живет семей четыреста. И каждый год по двести пятьдесят детишек рождаются...

— Заколдованный круг, — сказал я. — Чего же запустили строительство? Раньше опережали...

— Строим больше, чем прежде. Только не зря, наверное, про нас говорят и пишут, что, мол, геологи в последнее время излишне увлеклись детализацией уже открытых месторождений и не выходят на новые земли. Видно, топчемся на месте, и поэтому скопилось на базах народу, не поспеваем с жильем...

— Глядела вглубь в забыли, что надо иногда посмотреть еще и вперед.

— И вперед глядела, вправда твоя. Последние годы испытывали вахтовый метод, а он как раз и привлекателен тем, что не требует интенсивного строительства в северной глубинке. Рабочие прилетали на десять дней из своего Ивано-Франковска или Грозного, жили на точках в благоустроенных вагончиках. Отработав, возвращались к семье, в привычную обстановку, к привычным занятиям. Однако в таком виде вахта, сам знаешь, не прижилась...

Два года назад я был на Ямале, на мысе Харасавэй. Здесь базировалась одна из «летающих» геологических экспедиций. Не было ни одного руководителя, ни одного буровика, который бы с симпатией относился к новому методу. Дальние полеты выматывали. Часто не было погоды, и люди просиживали в промежуточных аэропортах. Трудно переносился переход из одного часового пояса в другой. На работоспособность влияли и климатические перепады. По общему признанию, человек по-настоящему включался в дело только на второй-третий день. И уже за день-два до окончания вахты производительность вновь падала — люди собирались домой. Так называемый метод «длинного плеча» себя не оправдывал. И сейчас, когда готовился большой выход на Ямбург, на газовых промыслах которого должны работать несколько десятков тысяч человек, о вахте из дальних городов старались не говорить. Но ведь и немалый риск строить город в условиях, малопривычных для жилья... Мы с Валерием рассуждали обо всем этом, и разговор вроде бы совсем уходил в сторону. Но Цыганов знал свое дело.

— Думаю, в освоении высокоширотных земель будущее за методом «короткого плеча», — говорил Валерий, а за окном лежала глубокая ночь, нам нужно было хоть чуток передохнуть — завтра день обещал быть напряженным. Но Валерий ничего слышать не хотел. Он «завелся». — Мы тут имеем изрядный опыт. Он, глядишь, и промысловикам пригодится. Наши рабочие летают вахтой не за четыре тысячи километров, а за триста — четыреста, это самые дальние точки от базовых поселков, давным-давно выдвинутых на север. Так замыслился Старый Уренгой. Так работает Газ-Сале. Но прежде, чем выходить на новые земли, повторяю, надо строить и строить. Нельзя допустить, чтобы люди из балков на базе ездили и мучались в балках на буровых. Не те времена.

— Эдак мы не скоро выйдем на новые земли — двенадцатиквартирный дом год строите!

— А я верю, отыщем способ строить равноценное жилье быстрее, — сказал Цыганов и пошел заваривать новую порцию чая. Ложиться спать уже не имело смысла.

Утром я улетел вертолетом в Газ-Сале. Вчерашней пурги словно бы и не бывало. На небе без единого облака скупое светило сонное, только-только проснувшееся солнце. Пейзажи тундры были удручающе однообразны. Казалось, или вертолет недвижим, завис на месте, или окошечко-блистер забрало морозным узором. Там, словно горсть рассыпанных по земле монет, застыли круглые озера и озера. Причудливо кружили реки. На взгорках редким чубом дыбились кустарники. Все это было щедро припорошено снегом и вспыхивало, загоралось ослепительно белым, едва солнечный луч успевал коснуться земли.

В памяти был свеж ночной разговор с Цыгановым. То и дело мысленно возвращаясь к деталям этого разговора, я вдруг понял, почему последний год Валерий настойчиво просил присылать литературу о жилье для северян. Почему, бывая в Москве, он все время покупал какие-то каталоги, завел знакомство со старыми полярниками, переписывался со специалистами из ленинградского института, занимающегося проектированием северного жилья. Он искал выход уже тогда. Значит, его теперешний оптимизм, вера, что новый способ строительства жилья — быстрый и экономичный — будет найден, не были беспочвенными... И что-то он мне недоговорил. Может, потому, что еще недодумал?

И вот тут меня натуральным образом осенило, и, досадуя, я не удержался и поступал себя пальцем по лбу. Ведь мне было что предложить Цыганову, не отсылая его ни к каким каталогам, ни к новейшим отечественным разработкам или зарубежному опыту. Эксперимент с домами, о которых мечтал Валерий, проводился не далее, чем в Тюмени!.. Но если по правде, то сейчас мне нужно было сетовать не на свою забывчивость, а на фантастическую неинформированность людей, работающих бок о бок, делающих одно дело, но разделенных ведомственными интересами и потому часто дублирующих друг друга. Все это походило на анекдотичную историю многолетней давности. Проложив однажды через болота дорогу-лежневку, мы, транспортные строители, собирались было сняться с лагеря. А тут пришел обескураженный мастер и сказал, что рядом с нами высадился десант нефтяников. Мастер каялся и божился, что у нефтяников задание проложить дорогу там, где уже лежала сработанная нами. Мы не поверили. Сбегали к соседям и посмотрели задание. Мастер не соврал.

Итак, экспериментальные дома были у соседей геологов — строителей нефтяных и газовых сооружений. Более того, мы с Цыгановым видели их вчера утром рядом с аэропортом Нового Уренгоя.

...Пока мы разыскивали где-то поджидавшую нас вахтовку, я обратил внимание на двухэтажки с непривычно большими окнами, симпатичными подъездами под шатровыми крышами. Дома и выкрашены были необычно. Мне они показались знакомыми.

— Польские это, — сказал Цыганов. — Из Варшавы... Домики — класс, — добавил он с нескрываемой завистью. — Несколько штук на весь Новый Уренгой...

Польские... Это меня сбilo с толку. Здесь, на севере, не первый год опробовались чешские вахтовые общежития. Почему бы не быть польским?

Только теперь я смекнул, что не польские а не из Варшавы, а от Варшавского Ильи Павловича, начальника главка западносибирских строителей. Он налаживал производство этих домов под Тюменью, в поселке Винзля.

Я был там и видел, как все делается. Идея не показалась новой — дома из объемных деревянных блоков. Блок — комната. Еще блок — кухня. И далее — прихожая, санузел с ванной... Но вот в чем была принципиальная новизна: эти блоки поступали на место в полной заводской готовности. Там все было смонтировано: электропроводка, отопление, водопровод, канализация. Стены были оклеены обоями, на полу лежал линолеум. Вези и собирай!.. На заводском полигоне я наблюдал сборку. Она велась как в детской игре в кубики. Кубик к кубику — готова секция. Секция к секции — есть двадцатичетырехквартирный дом. Дом за неделю!.. Видел я и сборку с помощью вертолета-крана. Здесь были вообще рекордные сроки: один день — и дом готов. Небольшой вес блока, всего четыре тонны, позволял вертолету транспортировать его за двести, а то и триста километров. Одна беда, деревянных домов из объемных блоков выпускалось крайне мало. Наверное, поэтому я только и увидел их в деле в Новом Уренгое. Увидел я не сразу признался...

Захотелось увидеть такие дома в Старом Уренгое. Я решил сразу же по прилете в Газ-Сале связаться с Цыгановым по радио, обрадовать его и укорить — искать далеко не надо. Искомое было по соседству.

На крупномасштабной карте Газ-Сале не помечен. Но если хотите знать, где это, найдите поселок Тазовский — он на южной оконечности Тазовской губы. Газ-Сале в двадцати километрах от этого поселка. По холодам жители общаются зимником. Летом — вертолетом и рекой.

Раньше Газ-Сале назывался Новой Мангазеей. Потом название почему-то поменялось, и я подумал, что зря. Название это сообщало поселку не только романтическую приподнятость. Новая Мангазя (Старая почти в тысяче километров от здешних мест вверх по Тазу) — это действительно оазис среди холода и безмолвия тундры. Здесь был газ, а значит — тепло, свет и энергия — то, чего человеку на севере всегда недоставало. Отсюда по «короткому плечу» геологические партии забрасывались в глубь тундры: местными геологами был открыт знаменитый Ямбург. Газ-Сале был самым ближайшим тылом освоения.

...Перебираю впечатления первых часов пребывания в этом необычном поселке и думаю, что в память особым образом запад вроде бы пустынный эпизод.

Прямо с вертолета мы попали под плотную опеку Валерия Августиновича, заместителя начальника экспедиции. Этот молодой энергичный человек сразу провел нас в свой кабинет, намереваясь дать «вводную», и тут секретарь внесла поднос с чаем и конфетами. Сделано это было буднично, и потом я узнал, что у них в конторе был маленький буфетик, где человек, вернувшийся с холода, с дальней буровой, мог обыкновенно за беседой или отчетом перехватить стаканчик чаю.

Я далек от того, чтобы умиляться по мелочам. Что за событие! Но тот, кто пожил в Западной Сибири в самые горячие денечки, знает, что здесь тогда и в прямом и в переносном смысле было не до чайных церемоний. У нашего брата-первопроходца просто глаза на лоб полезли бы, случись подобный жест. Подумаешь, вежливые, чай тут гоняют!.. Поглядели бы кругом — до чаев ли, до неторопливых бесед? Я сказал об этом Августиновичу. Он согласился. Действительно, тогда в цене были (да еще и есть!) те черты и качества, которые могли продвинуть, ускорить дело. Если ты хорошо ориентировался в обстановке, умел, не медля, принимать решение, вызывался на самую срочную и трудную работу, но, входя в клуб или столовую, не имел обыкновения

снимать шапку или не уступал дорогу женщине, идущей навстречу по узенькому тротуарчику, то есть не церемонился, — тебе все прощалось. О таких ли мелочах думать, когда человеку вздохнуть некогда!.. И совершенно естественно, был убежден Августинович, любая черточка, могущая обличать в тебе неуверенность, колебание, неумение или слабость, была не в чести, а то и подвергалась насмешкам. А кому не известно, что воспитанность, следование правилам хорошего тона, а то и простое нежелание идти напролом принимаются в иных человеческих сообществах за слабость?

А я думал, что в такой ситуации трудно было молодым, и особенно на первых порах. Им приходилось подальше прятать свои «школьные» привычки и пыжиться, лезть из кожи вон, чтобы казаться прошедшими все огни и воды... Но сколько ни напрягаюсь, не вспомню, чтобы развязный тон или брань хоть на чуть когда-нибудь помогли делу. А вот что даже нарочитая грубость очень скоро превращается в привычку и потом долго мешает жить — это бесспорно.

Десятки умных, честных, добрых старых моих друзей — тюменцев частенько приезжают в Москву, и мы, разумеется, встречаемся. Как правило, встрече предшествует звонок. «Кто?» — сурово спрашивают тебя с другого конца провода. Чаще всего, забывшись, растерянно называешься. «Узнал?» — следует очередной вопрос. Ага, теперь узнал!.. Но сколько ни пеняй, человек краснеет, но отмахивается: «Что с нас взять?.. Мы там созсем одичали...»

Если столь невинно, куда ни шло... А если прежняя нарочитость переродилась, переплавилась в хамство по отношению к домашним, подчиненным, товарищам?

Конечно, думал я, сопротивляемость упрощению прав у молодых на стройке была разной. Но не все тут зависело от прежней закваски. Не будь таких, как Цыганов, с его многолетним столичским вызовом неустроенности, нравственные потери были бы куда заметнее.

Чайная церемония в Газ-Сале, у черта на куличках, показалась мне добрым знаком преемственности неупрощенной жизни, незрящих условий того нового типа сибиряка, который рождался здесь в муках, сопротивляясь обстоятельствам и меряя окончательный успех не на тонны и кубометры, а на человеческую судьбу.

Валерий Августинович, не торопясь, показывал поселок.

В здешних местах всегда можно было легко определить, откуда дуют господствующие ветры. С той стороны, со стороны Ледовитого океана, люди старались не прорубать окон. Тут и тройное остекление не выручало. Мало того, что ветер — снежные заносы поднимались под самую крышу. И кто по ошибке, случалось, рубил все же северное окно, мерз всю долгую зиму.

Постройки в Газ-Сале подчинялись иной целесообразности. Как только неподалеку был найден газ, его, не дожидаясь промысловиков, пустили на нужды открывших залежь геологов. Никогда прежде такого не бывало. Но факт остается фактом: уже самые первые дома были с газом. И лопатки турбин, приводящих в движение буровые, вращались энергией газа... Словом, благодаря теплу поселок застраивался так, как хотелось человеку — с окнами на все стороны света. Но если первые — старые дома — носили печать унылого стандарта: двухэтажный короб из бруса, оштукатуренный для дополнительного тепла — точь-в-точь такие я видел в Уренгое, — то новые, последних лет постройки не просто выгодно

отличались в лучшую сторону. Они были принципиально иными. В них был тот вызов, который я когда-то чувствовал во внешнем виде и манере поведения Валерия Цыганова... Новый поселок как бы поддразнивал старую часть. Знал же дотянуться до своей необычности, до своих бесспорных высот. Здесь было так: если крыша, то острроверхая с башенками. Если вход, то или под шатровым сводом, или с теремом-прихожей. Деревянные резные наличники, подзоры, полотенца и коньки. Дерево здесь не прятал за толстым слоем краски или декоративной штукатурки. Напротив, оно обнажалось. Тесанные бревна, рейки, доску тонировали, олифили и лакировали. И в самое ненастье деревянные дома выглядели теплыми и нарядными.

Здесь было на что «положить глаз». И я невольно вспомнил, как пусто и скверно было на душе (особенно в осеннюю пору) в нашем затерявшемся в тайге поселочке на трассе. Слякоть. Серое небо, серо-черная тайга, серые, выгоревшие на солнце, побитые многими метелями и ветрами дома-щитовки... Однажды утром мы проснулись и не узнали поселка. Дома были покрашены в самые разные цвета. Все ахнули, и почему-то стало легче и веселее. А девчонки-малыры, которые израсходовали весь наличный запас краски, предназначенной для каких-то особых нужд, сидели в конторе, покорно ожидая наказания. Наказания не последовало. Цыганов, молча покачивая головой, отпустил девчат по домам. Кто-то, а он-то прекрасно знал, как устает глаз от удручающего однообразия. Как тоскливо без яркого, необычного. Как требует молодая душа красивого, взрывающего серое накатанное течение дней. Знал, а единственно, что мог по-настоящему тогда сделать, — это молча одобрить поступок девчат.

Теперь другое дело. Годы научили. Но я хорошо знаю, что никто не требовал от молодых газалинских руководителей строить новый поселок с «затейми» — было бы добротно, тепло и с удобствами. А строили. И не тщеславие ими руководило, хотя лестно далеко за Полярным кругом такие построить; не страсть к украшательству — тут поспевай обыкновенное делать, да и не дешевое это, видно, удовольствие, — руководило широкое, неупрощенное понимание потребностей и нужд.

— Эх, архитектурного надзора на нас нет! — весело сказал Александр Тимофеевич Тomin, здешний профсоюзный «бог», человек проницательный и, как очень скоро выяснилось, многознающий и толковый.

— Это у нас нет за ними надзора, — сказал Августинovich. — А надо бы такой завести. Хотя бы на общественных началах. Приезжают наши в какое-нибудь столичное «кабэ»: «А ну-ка, товарищи архитекторы, покажите, что вы тут для нас, северян, на творили, — опять избушку на курьих ножках?»

— Факт, — сказал Тomin, — складывается впечатление, что у проектировщиков десятилетиями на потоке примитив. Нашим строителям самим приходится сочинять и придумывать, чтобы поинтересней выглядело. А чаще всего для этого и требуется-то пустяк. Поставили, к примеру, шатровую крышу над входом в общежитие, и здание «заиграло»...

Мы уже хорошо походили по поселку, и я видел и типовое жилье с «добавками», которые делала почти неузнаваемым оригинал. Видел перепланированную «начинку» жилья. Нравилось, что здесь не держались за установленное. Все определяла первоочередные нужды. Скажем, сделали в прошлом году анализ. Выяснилось, что большинство очередников на жилье — малосемейные. И в доме-новостройке вместо заложенных по проекту трехкомнатных квартир было решено строить двух- и однокомнатные...

И все-таки смущала изыщность. Понимал: они не ради роскоши, но годами нарабатанная психология сопротивлялась, заглушала чувство реальности. Мы как раз подошли к строящемуся зданию новой школы, и Августинovich с гордостью начал было рассказывать, что здесь у них будет большой зимний сад, и тут я спросил:

— А скажите, не слишком ли дорого все это обходится?

И Тomin и Августинovich посмотрели на меня, будто бы увидели впервые.

— Дорого, — сказал Августинovich. — Но у нас здесь недаром говорят: «Дорога дорога, да бездорожье дороже!»

— Как думаете, — спросил Тomin, — какова себестоимость литра молока на нашей подсобке? — И сам себе ответил: — Не догадаетесь, рубль десять копеек. Но даже если будет рубль шестьдесят, хотя мы всячески стараемся себестоимость снизить, мы будем держать здесь коров. Свежее молоко — это здоровье наших детей...

— ...Так же как нормальное жилье, — подхватил Августинovich, — нормальные бытовые условия — это работоспособность наших людей. Их нормальное физическое и нравственное самочувствие. И с этой точки зрения — статья огромной экономии... Хотите знать, почему?.. Обустройство одного человека в районах освоения обходится в тысячи рублей. Зная это, мы решили истратить поменьше, урезав запланированные удобства или, скажем, строительство лишнего детского садика. И вот результат: не выдержав бытовых перегрузок, отчаявшись устроить ребенка в детский сад, человек уезжает. Экономия оказывается мнимой. На его место, скажете, приедет новый? Не спорю, но ведь это опять тысячи. А если вспомнить, что у нас, на севере, приживается только каждый третий, легко подсчитать ущерб и понять преимущество «изыществ»...

Экономия и в самом деле была расточительной, но ведь не только по части средств, и я это знал. Я подумал, что, растягивая на годы и годы нормальное обустройство человека в здешних местах, мы как бы консервировали, вынуждали откладывать на потом воспитанное всем строем нашей жизни стремление молодых к продолжению учебы, духовному и профессиональному росту. Урезывая удобства, сводя их к минимуму, мы урезывали, сводили к минимуму возможности человека. Молодые «голосовали ногами» — уезжали на Большую землю еще и потому, что там возможности роста и самосовершенствования были куда шире. Да, место разочарованных беглецов занимали свеженькие энтузиасты и романтики. Но вскоре история вновь повторялась. Так что велик был не только материальный, но и нравственный ущерб. Сколько раз в аэропортах и на вокзалах мне приходилось встречать ребят и девушек с рюкзаками и чемоданами. Ехавших туда можно было без труда отличить от тех, кто возвращался домой, обратно. Одни были радостны, приветливы и общительны. Другие замкнуты, угрюмы, разочарованы. Я всегда думал, глядя на них: скоро ли зарубцуются рана и зарубцуются когда-нибудь вообще?

— А ведь у вас здесь тоже пока живут неровно, — сказал я, вспомнив унылые дома у края поселка, над обрывом. — Одни — в новом. Другие — по старинке.

— Правильно, не все сразу, — сказал Тomin. — Но ведь живут-то с перспективой. Значит, не сегодня-завтра и у них будет все нормально...

— Нам важно поломать десятилетиями сложившуюся традицию, — сказал Августинovich. — Чтобы подхвачено было то, что мы здесь затеяли. Мы со своими бедами со временем справимся. Во вкус вошли...

Утром следующего дня, отправляясь к Томину, который обещал познакомиться с некоторыми тонкостями строительства на вечной мерзлоте, я то и дело возвращался ко вчерашнему нашему разговору... Конечно, им здесь не в пример легче, чем Цыганову в Уренгое. И главным образом потому, что не тяготит, не отсасывает средства гигантский фонд старого, отслужившего свое жилья. Потом не в воображении и не на бумаге — найден, существует реальный образ нового поселка. Но проблемы, однако, схожи, как схожи и цели. Разве отказались бы в Газ-Сале от строительства жилья в темпе, о чем мечтает Цыганов? Ведь здесь тоже на каждый дом уходила уйма времени... Еще я думал, что энтузиазм Цыганова не энтузиазм одиночки. Он опирается на оправдавший себя опыт. У Цыганова есть единомышленники!

...Мы с Томиним едва успели присесть у чертежника, на котором он изобразил здешний способ стыковки бревен под названием «замок», как в дверях появился крепкий, приземистый человек в шапке-малахее, с быстрым зорким взглядом. Это был председатель Тазовского райисполкома Валерий Алексеевич Жариков.

— Что постигаем? — спросил Жариков.

— Да вот интересуюсь, как строят на мерзлоте...

— Хорошо бы не журналисты, а строители с этого начинали, — сказал Жариков. — А то в Новом Уренгое построили хорошую капитальную школу, но без учета наших условий. А она вся пошла трещинами, того и гляди развалится. Металла на бандажи ухлопали — не сосчитать, а школа так и пустует...

— Мерзлота — штука коварная, — сказал Томин. — У нас в поселке, бывает, тоже «играют» строения.

— У вас «играют», да только по причине другой, — сказал Жариков. — У вас вон в старых домах сточные воды сливают под фундамент. Какая тут мерзлота выдержит?

Я уже не раз обращал внимание на резиновые шланги, которые свешиваются с глухих торцевых стен старых двухэтажек. Спросить, для чего это, все как-то откладывал. Теперь ясно. Жители, не имея в старых домах канализации, сливали воду от стирки и мытья посуды прямо на улицу.

— Удобства, выходит, добирают? — сказал я.

— Именно так, — сказал Жариков. — Чем они хуже тех, кто живет в новостройках со всеми удобствами? Почему должны в стужу ведро на улицу выносить? Логика здесь есть, и знаете, рука не подымается наказывать людей за это... Не чаем, когда уже эти дома пойдут под снос... Но если думать о перспективе, то ясно одно: эту землю нельзя осваивать сначала начерно, а потом набело — в два присеста. Это накладно, непрактично. Без пользы для человека, для дела, для будущего земли. Возьмите ситуацию в Антипаюте. Поселочек такой национальный есть у нас на севере. Недавно там высадили десант геологов. Ошибки — прежние.

— Правильно. Ошибки прежние, — сказал Володя Салтыков. — И вот вам главная: десант наш разрешили высаживать неподалеку от традиционного поселка. Все бы хорошо, только здесь, где мы сейчас находимся с вами, зона затопления. Старожилы говорят, дважды в год вода в реке поднимается. Весной и когда сильные ветры с Карского моря дуют... Повторяем уренгойский вариант. Там — небось слышали? — народ весной ходит по поселку по колено в воде.

Володя взволнованно туда-сюда мерил скромные габариты своей комнатки в вагончике. При его огромном росте и массивной фигуре это было совсем просто: два шага до койки, два — до стола.

Вчера я рискнул прилететь в Антипаюту. Жариков обещал — там встретимся. Да и самому мне не терпе-

лось увидеть, как сегодня выходят на самый передний край. Ведь, наверное, так будут выходить и завтра? А вообще не было человека, который бы не отговаривал меня от поездки. «На неделю, как минимум, застрянете. Там погода меняется по десять раз на день. А время нынче штормовое».

Прилетели, и от яркого, ослепительного солнца некуда было спрятаться. Как на южном берегу... «Так и есть, — подхватил Володя мою реплику. — Только если с небольшой поправкой на холод, — как на южном берегу Северного Ледовитого океана!»

Володя был мастером газ-салинской экспедиции и прибыл сюда в июне прошлого года водой из самого Уренгоя. Добирались на баржах двое суток. Привезли жилые вагончики, кое-какую технику, буровое оборудование. Задача была осесть, окопаться и постепенно начать монтаж буровой. В конце июня здесь все уже плавает. По тундре пешком делаешь шаг с трудом — нога проваливается, а тут нужно было перетаскивать многоотное.

— Высадились на самом берегу речки, — рассказывал Володя. — Флот не ждешь, там простоять не любят. Плавучего крана у нас не было. Кое-как с помощью тракторов стянули свое хозяйство на сушу. А в глубь тундры и не совались. Решили пока здесь закрепить, а зимой, когда подмерзнет, уже двигать... Но знаете, как бывает, стоит только сесть и тут же накрепко врастаешь. Глядь, и уже целый поселочек — увы! — на самой кромке берега.

Я не сразу взял в толк это последнее замечание Володи. Поселок на берегу реки — это ведь всегда привлекательно. Но бережок тут был особый...

А вообще ребята, а их было тут около пятидесяти человек, успели основательно устроиться. Сблочили, согнали под один крытый тамбур жилые вагончики — теперь в самые страшные и затяжные метели можно было друг с другом общаться. Поставили котельную и «обвязали» вагончики телом. Соорудили уютный балочек-столовую. И даже баня у них теперь была... Ну и на точку вышли — стали монтировать буровую.

— Теперь ждем весны, — сказал Володя. — Весна точно покажет, где дали маху...

В общем, это можно было почти с точностью сказать и сегодня. Во-первых, в паводок подтопят. Но если паводок — дело двух-трех дней, то уж раны, которые оставили на берегу, когда при посадке тащили волоком вагончики да емкости и начисто содрали покров, — это серьезней. Тут где-то неподалеку выходил на поверхность мощный ледяной купол. Под весенним солнышком оголенный ледяной купол явно подтает, и поселок с кромки берега может вполне уплыть в речку... Но более всего Володю беспокоила ситуация с жильем. Особенно для буровой, которая находилась в четырех километрах от пионерного поселка.

— Мы там и так не роскошествуем. Иногда приходится двери с петель снимать и — на две табуретки, вот вам и ложе на ночь!.. Сейчас, понимаете, самое время забросить туда вагончики — зима. Только где их взять, с бора получаем по сосенке. А весной поздно будет. Трактор два-три раза прошел по одной колее — конец дороге, тори новую, иначе никакая техника не пройдет. И тундра конец: след три десятка лет не зарастает... Можно вертолетом?.. Да вертолет восемь тонн не потянет. А в вагончике именит восемь. А казалось бы, с чего такая тяжесть? Хотя бы теплыми, приспособленными для здешних мест были. А то, когда приходят с завода новенькими, ребята, которые не хотят зимой в холодрыге жить, снимают внутреннюю обшивку, дополнительно утепляют паклей, стекловатой. Дело ли?

И еще одно угнетало Володю: здесь приходилось делать двойную работу. Только успели поставить поселок на берегу, пришлось бить сваи под новый. Народ явно прибавится. Одно время предполагалось, что даже не партия — целая экспедиция здесь развернется. Размещать людей надо всерьез.

— Ума не приложу, почему не можем делать все сразу, без репетиций, без двойных, а то и тройных затрат! — говорил Володя...

— Это я и называю освоением начерно, — сказал Жариков, когда я ему поведал о Володиных заботах. — Вы думаете, мы зря не разрешили высаживать десанту на сухое место в стороне от старой Антипаюты? Не зря. Не хотели, чтобы вместо одного невзрачного поселка здесь появилось два. Чтобы ценнейшие охотничьи угодья и пастбища оголились и погибли. Если уж приходите на новые земли, делайте это враз и основательно... Зона, говорите, затопления? А кто мешаает намыть здесь песчаную подушку при технике-то, которой располагают геологи?.. Скажете, хитрые. За счет пришельцев хотите поправить свои дела... А я скажу: расчетливые. Геологи для нас не пришельцы, так же, как для них здешние земли — часть родной земли. Так стройте здесь сразу по-настоящему, как в Газ-Сале, — школу, детский сад, больницу. Чтобы вам и вашим детям хорошо было. И чтобы нам осталось — здесь ведь тоже люди живут... Идет освоение земли, а не только недр, — вот что нельзя забывать. И еще, — заканчивая свой горячий монолог, сказал Жариков, — сперва начерно, а потом набело здесь совершенно не годится, потому что земля у нас, как нигде, ранимая. Многолетняя толчая переделки, перепланировки ее погубит. Здесь стройку нельзя затягивать на годы. Нужны темпы...

Я подумал, как все сходится. И в Уренгое, и в Газ-Сале, и в Антипауте в один голос — темпы.

Два дня спустя я летел обратно в Газ-Сале, переполненный впечатлениями. Перед глазами стояли картины земли обетованной. Бескрайние дали тундры, оживляемые гигантскими разноцветными сполохами северного сияния. Островерхне чумы, похожие на маленькие курящиеся вулканы. Бег оленьего стада, словно бы парящего по воздуху. Фигура рыбака в малице у проруби-майны... А то вдруг вспоминалась небольшая мастерская в школе-интернате, где ребятишки вышивали бисером торбазы и пояски, а молодая учительница, торопясь и волнуясь, показывала школьный зимний сад с экзотическими, как она сказала, растениями, среди которых я угадал герань и фикус. И виделась ровная гладь аэродрома, раскинувшегося в русле замерзшей реки...

Я смотрел вниз на убегающие пейзажи, и эта земля не казалась мне, как прежде, безжизненной. Я подумал, что к ее вековым заботам скоро прибавятся новые, и насколько она справится с ними, будет во многом зависеть от нас.

На подходе к Газ-Сале в салон вышел взволнованный механик. «Школа в поселке горит!» И все посрывались с мест, прилипли к окошечкам. А вертолет уже заложил крутой вираж, и летчики, словно бы для того, чтобы рассмотреть размеры беды, низко прошли над поселком. В центре его открылся жаркий костер в окружении опеченных, бессильных что-либо сделать людей, которые молча и скорбно смотрели, как догорало здание...

— Только и успел на пепелище, — сказал Цыганов. — Он прилетел спецрейсом и сейчас вместе с другими помогал растаскивать пал. — Счастье, что сегодня воскресенье, никто не пострадал.

— Ребятам-то завтра в школу, — сказал я.

— В конторе будут пока заниматься. Места хватит, прикинули...

— Будете форсировать новую школу?

— Только так, — сказал Цыганов. — С новым жилым домом сначала хотели подождать: брус-то теперь пойдет на школу. Потом решили перекинуть сюда сборно-щитовой самолетом. Уже дал команду полосе готовить под АН-двенадцатый...

— Золотой будет домишко, — сказала я.

— Станет в копеечку, — согласился Валерий. — А что можешь предложить?

И тут я ему напомнил про дома Варшавского — в одну неделю могли бы построить нужное сейчас Газ-Сале жилье.

— Дом из объемных блоков? — переспросил Цыганов. — Слушай, да я о таком последнее время и думаю. Записку вот готовил в главк, чтобы попробовали на базе нашего леспромпхоза пустить объемные блоки на поток!

— Ты думаешь, а тюменцы уже выпускают. И в Новом Уренгое — помнишь, у аэропорта? — два домика их серии.

— А-а, понял, почему их зовут польскими! — сказал Цыганов и тут же добавил невесело: — Так ведь главк Варшавского не геологический. Нам оттуда не перепадет...

— Чудак-человек! Геологический, не геологический...

— Нет, — сказал Цыганов, — им бы самим обойтись, а тут еще чужие беды навешиваются...

Илье Павловичу Варшавскому я все-таки позвонил. Объяснял, что случилось в Газ-Сале. Он ответил без колебаний: два дома для геологов будут вне всякой очереди, вопрос решенный. И потом уже, месяц спустя, когда мы встретились в Москве, поделился радостью. В Тюменской области работала выездная коллегия Госплана СССР, которая знакомилась с условиями труда и быта тюменцев, со здешней техникой, состоянием дорог. Прицел делался на будущее — с чем выходим на новые земли? И вот, в частности, принятое решение о закупке высокопроизводительной линии для изготовления деталей деревянных объемных блоков. Теперь эти дома пойдут по Тюменскому северу!

Хотел сообщить об этом Цыганову и все никак не мог его застать. Говорили, что он зачастил в Антипауту, на самый передний край освоения. Его, как всегда, волновали уроки на завтра.

Уренгой — Тюмень — Москва.



АХМЕД
ИСАЕВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОДВИГА

В

начале лета в Кировабаде, втором по величине культурном и промышленном центре Азербайджана, состоялась читательская конференция, посвященная военно-патриотической теме на страницах «Юности». Около тысячи человек — школьников, студентов техникумов и вузов, призывников и демобилизованных воинов, ветеранов войны и труда, учителей, преподавателей, партийных и комсомольских работников — участвовали в конференции. Ее вели секретарь Кировабадского горкома партии Сабухи Абдинов и первый секретарь городского комитета комсомола Акиф Алекперов. Полторачасовой разговор выявил большой интерес наших читателей к военно-патриотической теме, к публикациям на страницах «Юности» материалов о Великой Отечественной войне, о жизни современной армии. Такой заинтересованный разговор был не случаен. В Кировабаде свято относятся к памяти павших. Здесь чтят подвиги отцов и учат «держат порох сухим», воспитывая готовность молодежи ко всякого рода неожиданностям. Недаром в 1983 году городская комсомольская организация была награждена переходящим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ «За успехи в военно-патриотическом воспитании и подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах».



После окончания конференции участники сфотографировались на память у родника имени Героя Советского Союза Исрафила Мамедова. На снимке: Ахмед Исаев (первый справа) и Заур Эминбеги (второй слева) среди учеников первой интернациональной Кировабадской школы.

Фото Р. Арыхова.

Мы попросили журналиста Ахмеда Исаева, автора книг о героях-фронтовиках, инициатора многих патристических начинаний в городе и республике, подробной рассказать о кировабдадах военной и нынешней поры.

— Особый интерес жителей нашего города к военной теме понятен. Скоро вместе со всем советским народом мы будем праздновать 40-летие Победы. А в приближении этого светлого праздника принимали участие не только двадцать тысяч кировабдадцев-фронтовиков, отцов и братьев сегодняшней нашей молодежи. Занимаясь разысканием документов военной поры я не раз получал подтверждение того как самоотверженно трудились мои земляки в тылу. Как бескорыстно отдавали они все для фронта и для победы. Вот несколько документов тех дней.

«Для нужд фронта я отдала свое золотое кольцо, десять килограммов меда,— писала домохозяйка Гюльбетин Кулиева.— Мы с подружкой связали для наших защитников 129 пар носков и 5 пар рукавиц».

«Вместо двадцати четырех станков я обслуживал тридцать два,— писал Павел Тавакарян.— Дополнительно к заданию дал Родине тридцать шесть тысяч метров высококачественной ткани».

«Я донор,— писала Клавдия Коломийцева.— Уверена, что моя кровь окажет определенную помощь в приближении Победы».

И вот уже письмо с фронта от солдата Ивана Шеладко:

«Потеряв много крови, я находился при смерти. Мне влили кровь, поступившую из Кировабада. Вскоре я пришел в себя. Выздоровел. Встал на ноги и теперь в строю. Спасибо. Ваша кровь спасла жизнь мне и моим товарищам...»

В моих записях есть и удивительные цифры. Кировабдады собрали и послали на фронт пятьдесят тысяч единиц различной одежды. Более двадцати восьми тысяч посылок. Семь тысяч килограммов фруктов. Но, говоря сейчас об этой посильной помощи, я думаю, что все-таки главным вкладом в победу были сила духа наших людей, любовь к родной земле. Они поднимали человека до высот подвига.

«Я дала Родине сына-богатыря» — с гордостью говорила мать первого азербайджанца — Героя Советского Союза Исрафила Мамедова. Этот кировабдадский юноша совершил подвиг на Новгородской земле. И в канун 40-летия Победы там ему будет открыт памятник.

Преемственность сильных духом жива. Мне уже приходилось рассказывать на страницах «Юности» о славном сыне азербайджанского народа Наджафе Эминбейли героически погибшем под Днепропетровском. Но сегодня мне хочется вспомнить о подвиге — по-иному это не назовешь, — подвиге его сына Заура. Почти сорок лет спустя после гибели отца младший Эминбейли разыскал его могилу и перевез останки

в родной город. Тридцать тысяч кировабдадцев участвовали в похоронах старшего лейтенанта Наджафа Эминбейли. Однако подвиг Заура заключался не только в сыновней доблести. Заур выполнил наказы своего отца, который в письмах с фронта завещал ему, не жалея сил, жить и работать на благо Родины. Сегодня Заур — директор научно-исследовательского института, ставшего настоящей кузницей научных кадров для сельского хозяйства республики. Под руководством этого известного ныне всей республике ученого работает более семидесяти аспирантов. В ближайшее время целый отряд ученых-специалистов выйдет на поля Азербайджана.

Подобных примеров реальной преемственности поколений я могу вспомнить немало.

Музамил Абдуллаев — сын орденоносца-фронтовика, известнейший в республике агроном. Его отец вместе с тремя братьями героически сражался с первого до последнего дня войны. И после Победы трудился в колхозе, передавая сыну любовь к земле. Музамил — директор агропромышленного комбината. На землях этого комбината выращивается невиданный урожай винограда, в три раза превышающий среднюю урожайность по республике.

Подвиг на фронте и трудовой подвиг взаимосвязаны. Это аксиома. Но взаимосвязь эта, особенно в мирные дни должна воспитываться, пестоваться, чтобы непременно превращаться в поступки достойные памяти отцов.

...Когда я хожу по коридорам и классам кировабдадских школ, где развернуты галереи славы, где героическому прошлому Родины уделяется не меньше внимания, чем, скажем, общеобразовательной подготовке, я думаю, что успех преемственности обеспечен, и мы сумеем передать наше дело в надежные руки.

НИКОЛАЙ ТЯПКИН



☆☆☆

Не с того, так с этого
Снится сон Аленушке,
Как жила во младости
На родной сторонushке.

Как жила и мучилась,
Горю не сдавалась,
Как всегда зеселая
Песенка певалася.

Ой, шумела, гнулася
В поле рожь высокая,
Проносились ласточки
Над речной осокою.

Пронеслись и скрылись
Где-то за туманами,—
С молодыми песнями,
С кровавыми ранами.

И проснулась девушка
На другой сторонushке,
На другой сторонushке,
На корявом пенушке.

Далеко остались
Те ли дни покосные,
Чьи-то речи сладкие,
Словеса поносные.

Замолчал, состарился
Тот ночной соловушка.
Думала — красавица,
Оглянулась — вдовушка.

Оглянулась — вдовушка,
Белая головушка.
Вот опять проухала
За рекою совушка.

И все так же грезится,
Снится сон Аленушке,

Как жила во младости
На родной сторонushке,

Как всегда веселая
Песенка певалася,
Только эта памятка
В сердце и осталася.

☆☆☆

Ты похаживал все — чок-каблучок,
Ты фуражечку носил на бочок,

Ты подпрыгивал, злодей-воробей,
Фертом, вертом за сестренкой моей.

Фертом, вертом, петушком, петушком —
Да все в землю каблучком, каблучком.

Ах ты господи, трава-лебеда!
Где та улица и та слобода!

Не припомнишь ты, злодей-воробей,
Где тот крестик над сестренкой моей,—

То ли крестик, то ли просто кусток,
То ли запад, то ли юг, то ль восток.

Исклепала тебя сношка твоя,
Истрепалась вся гармошка моя,

А ты все-то бережком, бережком
Да все в землю посошком, посошком.

Ах ты, господи, трава-лебеда,
Ничего, что до колен борода.

Можно цветики и ночью срывать,
Можно причетку с конца начинать.

Детская скороговорка

Уточка с утятами
Ходила за опятами,
Ходила за поселочек,
Сновала между елочек,
Сновала утя, крякала,
А там лягушка квакала,
Про то она и квакала,
Что утя громко крякала.
А бедные опятчики
В росе студили пяточки
И плакали в сторонushке —
У той ольхи, на пенушке.
А утя все-то крякала,
А лягва все-то квакала,
А бедные опенушки
Просились в кузовок.



АНАТОЛИЮ АЛЕКСИНУ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ

От всей души поздравляем
Лауреата Государственных премий СССР и РСФСР,
Премии Ленинского комсомола
и Международной премии
социалистических стран имени М. Горького,
члена нашей редколлегии, давнего друга «Юности»
Анатолия Георгиевича АЛЕКСИНА
со славным юбилеем.
Желаем доброго здоровья
и больших творческих радостей.

«Юность»

КОНСТАНТИН
ЩЕРБАКОВ

БРАТЬ ВЫШЕ СЕБЯ



Почти четыре десятилетия прошло со дня окончания Великой Отечественной войны, все меньше людей, для которых она не только история, но и живой личный опыт, оплаченный кровью. Не одно поколение выросло с тех пор, время залечило раны. Можно ли, чтобы давняя боль бесконечно преследовала человека? А книги о войне — все пронзительней. Неотступная тревога владеет художниками, для которых сорок первый и сорок пятый стали судьбой, определили все последующее в жизни и в литературе: с годами убывают силы, а так еще много не сказано сокровенно важного, такого, что никто больше не сможет сказать. Людям, и особенно молодым, надо знать все, что было тогда, и героическое, и страшное, и справедливое, и несправедливое, — знать и ощущать частицей собственного душевного опыта.

«С дороги, от большака мало что указывало на бывшую усадьбу, разве одна из двух лип, некогда красовавшихся возле хуторских ворот... Прилетавшие из леса птицы почему-то никогда не садились на ее ветвях, предпочитая рослый ольшаник поблизести. Вороны, возможно, помнили что-то, а может, своим древним инстинктом чужли в изуродованном дереве дух несчастья, знак давней беды».

«Знак беды» — так называется последняя повесть Василя Быкова. Писатель начинает ее, будто захлебываясь тем, что должен сказать, обречен, обязан. С первой страницы задает тональность такую высокую, что ее трудно выдержать, не сорвав голоса. Но до расчета ли ему, если память преследует, память болит, — трудная, неотступная память...

В предыдущих повестях Быкова действовали прежде всего солдаты и партизаны. Они попадали в ситуации трудные, предельно драматические, но они были призваны, предназначены для войны, для борьбы и для гибели, если жестокая реальность не оставляла иного исхода. В «Знаке беды» нет бойцов, есть мирные деревенские жители, пожилые люди, никогда не державшие в руках оружия. И это на них обрушилось, накатило фашистское нашествие всей своей безжалостной тяжестью.

Что же они могли ему противопоставить?

Впрочем, о смертном противостоянии поначалу не думалось. «Я за поросенка боюсь, — устало сказала Степанида, поправляя на голове платок. — Ведь забегут». В армии — сын, в лесах — партизаны, они не допустят, чтобы оккупация длилась долго. Вот только какой она будет, оккупация, — этого ни Степанида, ни ее муж Петрок не могли представить даже в самых страшных снах.

Со временем литература наша все дальше отходила от плакатности в изображении фашистов, врагов. Черные души, подлые души становились предметом художественного исследования. Быков, казалось бы, возвращается к опыту более ранней военной прозы, — в оккупантах, пришедших на двор Степаниды и Петрока, нет ничего человеческого, это некие антилюди, враждебные всему естественному, живому. Неточность, художественный просчет? Но почему же ни на секунду не оставляет вас ощущение раздражающей душу правды изображаемого? Оккупанты в повести Быкова увидены глазами тех двух людей, в чей дом они вторглись. Глаза эти видят остро и зор-

ко, подмечая в поведении пришельцев мельчайшие детали, подробности, даже такую, например: «рыженьки» немец, с виду еще мальчик... хихикнув, замахнулся надкушенным яблоком». Но то нечеловеческое, с чем пришли сюда эти «рыженькие», что сотворили, метит их особым клеймом — одним на всех. До жути реальные нечеловеки встают перед нами со страниц «Знака беды». Такие, какими вошли они тогда в этот дом, избил хойяку, постреляли кур, корову зарезали, но «на удивление самой себе, Степанида не слишком убивалась по корове — как ни жаль ей было Бобовку, она чувствовала, что рушилось что-то непомерно большее, неотвратимая опасность приближается уже к ним самим вплотную... подступила уже так близко, что сомнений не оставалось: немцы схватят обих за горло!»

Не много понадобилось времени, чтобы мысль о возможности затаиться, переждать беду предстала во всей своей трагической нелепости. Не убив свою душу, не испакотив себя, просто существовать под оккупантами — не получится. Степаниде и Петроку предстояло решать, как жить, когда жить нельзя. И нужно ли сопротивляться, если знаешь, что сопротивление заведомо ничего не даст, ибо все, решительно все возможности для этого у тебя отняты. Степанида и Петрок сделали одинаковый выбор, но пришли к нему очень неодинаково. Ибо очень разными людьми они были, хотя и прожили вместе долгую жизнь.

Глава семьи Степанида — ведущее, решающее начало. До сих пор не может она примириться с забитостью, «тихостью» Петрока, корит его за боязливость, пассивность. С самого начала так было — пассивность дает не только военные дни, но и ретроспекцию жизни героев, прочно вплетая ее в жизнь белорусской деревни той поры, когда проходила она через неизбежную и драматическую ломку вековых устоев. Одной из первых вступила Степанида в колхоз, ибо поняла, что только вместе, всем миром можно осилить, выдюжить, что задохнутся, надорвутся они вдвоем с Петроком на их скудном клочке земли. А вступив, не могла не стать активисткой, ибо такова ее натура, чуждая всякой срединности, зыбкости. Но если видела: совершается несправедливость, ретивые администраторы неразумно крутыми мерами компрометируют колхозное дело, — если она видела это, то, не раздумывая, вставала на защиту обиженных.

Это на нее поднял руку Гуж в слепой ненависти, с оружием вставший наперекор новой жизни, что пришла в белорусскую деревню. И это она прямо в глаза сказала все, что думала, мелкому доносчику Колонденку, который, пользуясь сложной ситуацией, писал в районную газету клеветнические заметки, сводя счеты, очерняя достойных людей. Степанида не принимала несправедливости и насилия, в каких бы формах ни проявлялись они, и это неприятие всякий раз обретало форму конкретного действия.

В некоторых книгах о деревне, причем серьезных, талантливых книгах, терпение и покорность обстоятельствам представляли едва ли не главными свойствами народного характера. По-моему, очень вовремя появилась в литературе нашей непокорная, нетерпеливая Степанида. Быков всегда писал людей, способных на поступок, героическое деяние, живущих и борющихся в экстремальных обстоятельствах войны. В «Знаке беды» писатель сказал о том, что способность эта входит в состав народного характера необходимо и органично, а война только обостряет ее, доводит до драматического совершенства. Степанида от себя не отступится, окажись против нее Гуж, Колонденко или целая отлаженная военная машина фашистской Германии. И то, что Гуж, Колонденко,

вновь возникнув в ее жизни мучительными призраками прошлого, стали частицей этой машины, полициями, дошли до последнего предела человеческого падения, не удивило героиню Быкова. «Степанида их не боялась, потому что презирала. Более того, она их ненавидела. Впрочем, ей не было до них никакого дела. В той жизни, которую обрушила на свет война, Степанида держалась давней, исповедуемой людьми правды, и, пока у нее было сознание этой правоты, она могла смело глядеть в глаза каждому».

С каким-то почти фанатическим упорством искала Степанида способы помешать оккупантам, в чем угодно помогать или просто сделать не то, что они бы хотели, что от нее ждали. Выдонтить корову на траву, только чтоб молоко не досталось незваным гостям. Забрать среди ночи винтовку, бросить ее в колодезь. Господи, да что эти булавочные уколы для обнаглевшей, распясавшейся солдатки? Но почему же так нервна, так злобна реакция на булавочные уколы? Не потому ли, что гложет, мучает страхом с неизбежностью напрашивающийся вывод: если беспомощная старая женщина делает то, что делает, что же сделают те, кто не стар и не беспомощен?

И, значит, не совсем это верно — беспомощная старая женщина. «На счастье или на беду, она знала, в чем ее хватит с избытком, от чего она не отречется хотя бы на краю гибели. За свою трудную жизнь она все-таки познала правду и по крохам обрела свое человеческое достоинство. А тот, кто однажды почувствовал себя человеком, уже не станет скотом».

С отчаянной, безоглядной решимостью ищет Степанида неразорвавшуюся бомбу, потом перепрыгивает ее, чтоб было надежнее, вбивая в полубезумное предприятие это все оставшиеся еще силы. Как использовать бомбу, к чему приспособить конкретно — представления об этом были у Степаниды самые смутные. Но то, что бомба свое дело сделает, — это Степанида знала. Даже тогда знала, когда, поджегши дом, чтобы не даться живой врагу, задымилась в дыму и последние проблески сознания оставляли ее. Бомба не взорвалась, она осталась в земле, дожидаясь своего часа. Но разве смогут оккупанты спокойно ходить по этой земле, зная, что в ней затаилось возмездие, затаилась смерть?

Пора уже сказать о муже Степаниды, тихом Петроке, но прежде еще несколько слов. Рядом с Гужом, Колонденком действует еще один полицей, Антось Недосека. В отличие от тех двух он пошел служить немцам без охоты, переступая через себя. И Степаниду он пожелать готов и поплакаться на свою кривую судьбу. Плохо, страшно в полиции, не дай бог еще людей вешать заставят... Только если заставят — повесит. Потому что жить-то надо, хоть и под немцами, раз они сила. Детей кормить, обувать, одевать — ради детей все...

И кажется поначалу, что Петрок и Антось, слабые, малые люди, существуют по близким, по сходным принципам. В самом деле, разве вот это — жить-то надо, хоть и под немцами — не лежит в основе поступков Петрока? Разве не взялся он за такую унизительную работу, как рытье клозета для ставшего на постой офицера? И разве не занялся самогонноварением, чтобы убажить полицейев, залив их глотки мутной дурманящей жижей? И говорил с полицией, с немцами заискивающе, искательно, ежась под презрительным взглядом Степаниды... Она уже все поняла и все решила, а муж еще делеял призрачную надежду как-то выкрутиться.

Степанида — человек героического склада. Петрок — неприметный, обычный, податливый, до того робкий, что, кажется, каждый, кто захочет, будет из него веревки вить. Если в Степаниде с поразитель-

ной силой выразился дух народного непокорства, то боязливая осторожность Петрока тоже имеет свои давние корни: батрачество, неизменное ощущение своей зависимости, подвластности. Многие, кажется, оближают Петрока с Антоном Недосекой, но только... только в решительные минуты находила Степанида в муже поддержку, опору. Что-то знала она про своего Петрока такое, что мирило ее душевный максимализм с мужниной забитостью, робостью.

Кто однажды почувствовал себя человеком, уже не станет скотом. Петрок разделал со Степанидой трудные годы, но именно в эти годы и он почувствовал себя человеком. И потому его осторожность, «тихости» и осторожности, «тихости» Антося Недосеки — разная цена.

Писатель подчеркивает некоторые общие психологические качества Петрока и Антося, но потом, когда настанет пора, разводит этих людей непримиримо и резко.

Петрок, каким написан он Василием Быковым, всем существом своим ощущает границу, где осторожность и «тихость», отступая под натиском наглой силы, оборачиваются изменной человеческому в себе самом. Никогда не перейдет он этой границы. И чем безысходнее отесняют к ней фашисты, гужи с колонденками, которые хуже фашистов, чем неотступнее отесняют они робкого, безответного мужика, тем большее сходство со Степанидой проступает в его способе существования, общения с миром. А когда никакого уже расстояния не осталось и граница обозначилась во всей своей последней определенности...

«А вот хрена вам, а не водки! — сказал Петрок, сплевывая наземь кровь, кажется, ему выбили последние зубы. — Вот, нате! — ткнул он Гужу фигу. — Бейте! Я вас не боюсь! И Гитлера вашего не боюсь! Вот и ему тоже! Кол в глотку всем вам!»

Ведь слова эти, вырвавшиеся из уст Петрока, могла и Степанида произнести. Общие их, у смертной черты навсегда сплотившие их слова.

Да, они не были солдатами. Они были усталыми, старыми людьми, очень хотели жить, берегли свой дом, скупой достаток, тяжким многолетним трудом наработанный. Но когда оказалось, что жить нельзя, не предав в себе человека, они предпочли умереть, но не пошли на такое предательство. Степанида и Петрок сопротивлялись до последнего в obstоятельствах, когда сопротивление их было, казалось бы, бесполезно, ибо не могло привести ни к какому реальному результату. Но самый факт сопротивления до последнего — это уже результат, хотя ни один фашист не был убит. Степаниде и Петроку были отпущены возможности очень скудные, но весь их запас они положили на то, чтобы оккупантам было труднее ходить по нашей земле. И так же поступили многие-многие другие, и у многих-многих других запас был мощнее, результативнее. «Сволочи! Душегубы!.. Погодите! Мой Федька придет! Он вам покажет!.. Не надейтесь... Мой сын придет...» Так кричал Петрок в морды своим палачам. Да, Федьке, вооруженному бойцу, освободителю, мстителю, наверное, больше удастся. Но безмерно важно то, что и отец, и мать, и сын, каждый по-своему, делали одно праведное, святое дело. И уважение наше, благодарная, скорбная память наша — поровну: Федьке, Степаниде, Петроку.

Они сделали все, что могли. Все и еще сверх того.

А много ли могла совсем юная Лена Бахарева из романа Артема Анфиногенова «Мгновение — вечность»? Стала военной летчицей. Посадила в степи

неисправный самолет, отремонтировала его, подняла в воздух под самым носом у наступающих немецких танков. Эпизод ее личной биографии — в лучшем случае едва приметная точка в общей грандиозной панораме битвы за Сталинград. Но художник на то и художник, чтобы сегодня, спустя почти сорок лет, дать эпизоду этому новую жизнь, светом памяти осветить лицо хрупкой девочки Лены и увидеть в этом лице «все, что может собрать в себе человек, противостоя этому дикому, сотрясавшему степь скрежету металла».

Анфиногенов оттеняет в людях обыденное, житейское. Не боится деталей смешных или даже выставляющих героев в не слишком выгодном свете. Писатель неукоснительно верен правде увиденного собственными глазами и твердо убежден, что только она, эта правда, поможет нам ощутить в его героях «самые реальные резервы из всех... резервы духа».

По ходу чтения думаешь о том, что люди не только воевали, что они жили на войне, как жили до поры на оккупированном хуторе Степанида и Петрок, пусть иной какой-то, не похожей на прежнюю жизнью. Даже во фронтовых условиях одно самолечение не всегда сходилось с другим, и темпераменты сталкивались, и любовные соперничества случались, и способность тратить себя для других вызывала глухое раздражение тех, кто и на войне ухитрялся грести под себя. Все любили Мишу Баранова, летчика милостью божьей, упоенно творили легенду о нем, ибо он был достоин этой легенды, и посмеивались над Венькой Лубком, слегка презирали его, потому что знали: трусоват и не может через это переступить, хочет, наверное, но не может. Что ж, не секрет: люди вокруг разной пробы. Но вот звучал сигнал на вылет, и они уходили в небо рядом: Миша Баранов, и те, кто, видя в нем воинский, человеческий образец, делом чести считали на него равняться, и те, пусть немногие, кто делом чести это для себя не считали. И там, в грозном фронтовом небе, их земная жизнь проявлялась, сказывалась.

Лейтенант Павел Гранищев, начинавший нелегко, без блеска, увидел однажды Баранова, потянулся к нему всей душой, так, что угадал, понял барановский главный секрет: свобода в бою, способность принимать самостоятельные решения, отвечающие головокружительно меняющейся обстановке. И еще — навсегда запомнил Гранищев барановские слова: «Братолюб я. В братскую поддержку верю, взаимопомощь...»

Капитан Горов, крепкий, профессиональный летчик, отважный человек, отвага которого, однако, была особого свойства: бесхитростно прямым человеком был капитан Горов, свято верил в непогрешимость и мудрость того, кто ведет, кто впереди. Свято? Слепо? А где грань?

Младший лейтенант Дралкин, смелый в бою, а вне его безответный, робкий. Было, еще до войны, летное происшествие, получил свое, а что незаслуженно — кому теперь докажешь? Не поминуют, машину доверили — и на том спасибо. Нет, врагу не поддается Григорий Дралкин, а вот арану, нахалу может поддаться.

И старший лейтенант Кулев — аран и нахал, ловко лезущий на глаза начальству, из тех, кто-то умея, всегда претендует на большее, чем заслужил. Кто само умение свое — а Кулев неплохой штурман — целиком подчиняет собственным интересам, приносит им в жертву все, без исключения. Наверное, на войне такие обнаруживаются скорее, чем в мирное время. Но вот с утихающей, десятилетия не утихающей болью пишет Анфиногенов о том, что

и на войне, случилось, обнаруживались тогда только, когда содеянного ими было уже не поправить.

Так и вышли они в перелет на Ростов — впереди хорошо знавший дорогу лидер, бомбардировщик «Пе-2», где командиром младший лейтенант Дралкин, а штурманом — Степан Кулев (Гриша перед всяким, кто старше его по званию, робел, а тут — в непосредственном подчинении старший лейтенант с большими, по слухам, связями); следом — Горов во главе эскадрильи дальневосточников, впервые идущих этим маршрутом; замыкающим — Гранищев. И еще влюбленная в Дралкина младший лейтенант Бахарева — она сама направилась именно в эту группу. Принявший прямо в воздухе эскадрилью «Яков», Дралкин не знал, что в одном из них — Лена. Знал это ревновавший ее Гранищев.

Если бы я был кинорежиссером, то дорого дал бы, чтобы снять такой фильм, запечатлеть на пленке трагедию, где порывы и страсти, душевные озарения и бездны людские воплотились в машинах, которыми эти люди повелевали, воплотились на смертной черте. Как высокомерно третирует лидер следовавших за ним «Яков», лидер, где упоенный открывшимися служебными перспективами Кулев совсем подмял, подавил командира, — и как замешательство вдруг ощутилось в нагло-уверенном лете «Пе-2», как начал он тыкаться из стороны в сторону, совершать некие таинственно-бессмысленные маневры, ибо потерявший ориентировку штурман не смел в этом сознаваться. Как вздрогнул самолет Гранищева, понявшего, что происходит, — и как, ломая порядок и строй, сжигая последние литры горючего, метнулся он к одному, к другому, зывая, упрямая: не туда идете, не туда, не туда, путает лидер, поворачивайте за мной. Как с жесткой прямолинейностью не отзывался ему самолет Горова, засомневавшегося было, но истовой верой в то, что лидер ошибаться не может, сомнения подавившего. И как без тени сомнения, с упоенной, радостной беззаботностью не отзывался ему вплотную пристроившийся, приникший к массивному «Пе-2», к ненаглядному Грише маленький «Як» Лены Бахаревой, которая даже пулеметно-пушечную трассу, последний отчаянный предупреждающий крик гранищевского «Яка» поняла чисто по-женски: «У всех на виду, перед посадкой... предупреждает Дралкина... В том смысле примерно: на чужой каравай рот не разевай. Не с вашей улицы девочка. Слишком много Паша на себя берет». Как вдруг отвалил в сторону «Пе-2», во вместительных баках которого еще оставалось горючее, ибо понял, наконец, в последний момент понял Кулев, что вывел он эскадрилью не к нашему ростовскому аэродрому, а к занятому немцами Таганрогу, — отвалил, оставив на расстрел зениткам беспомощный, без капли горючего ястребок Лены, и в гибели верной любимому, не поверившей, что он ее бросил. И как приземлился на вражеском аэродроме, приняв его за свой, не подававший сомнения «Як» Горова, а потом хозяин его всаживал пулю за пулей в недвижимый, обманутый, преданный самолет, пытаясь его взрывать, и только последнюю пулю оставил в стволе — для себя.

«Долг выполнить нетрудно, труднее знать, в чем он состоит», — пишет Анфиногенов. Горов и Гранищев — оба выполнили свой долг честно и до конца. Но как же по-разному они его выполняли...

Последние страницы романа почти безраздельно отданы Гранищеву. Признак человеческой низости — в любых обстоятельствах, даже перед лицом наклонной ею трагедии искать и находить себе оправдания. Признак человеческого благородства — мучиться малостью сделанного всегда, даже тогда, когда переступлен предел физических и душевных сил

и всякому видно, что никто, никто на твоём месте не сумел бы сделать большего. Павлу удалось все-таки увести от смерти троих, но он беспощадно казнил себя за то, что не спас Горова и остальных ребят, попавших в ловушку, и черное отчаяние поднялось в душе, когда перед мысленным взором его вставало открытое, улыбающееся лицо Лены. Он думал не о том, что совершил высокий воинский подвиг, а о том, что не простит себе их гибели, и рвался, рвался в бой, чтобы искупить хоть часть несуществующей, мнимой, но от этого не менее тяжко давившей вины, только человеку чести знакомой. И став свидетелем героического боя Гранищева, сбившего с одного захода двух фашистов, изумится даже хорошо знающий своих летчиков командарм. Изумится восхищенно, гордо и скажет Павлу Гранищеву, представляя его к награде: «Человек ни перед кем не должен преклоняться... Человек — это то, чем он может стать. А чтобы стать чем-то, он ни перед кем не должен преклоняться. Брать за образец, да, но не преклоняться...» С этим напутствием и пойдет Павел продолжать свою великую и страшную, отечественную свою войну, яростно продираясь вперед — к победе, к победе, только к победе...

В повести «Знак беды», в романе «Мгновение — вечность», таких разных и по материалу и по авторской манере, нам представлены ситуации трагические, гибельные, в какие ставила человека война. И показано, как и почему одних эти ситуации внутренне перемалывали, ломали, а в других открывали такие «резервы духа», которые помогали совершать, казалось бы, невозможное, поднимали обычных, ничем не примечательных людей на захватывающую нравственную высоту.

В военной литературе нашей немало описано воздушных боев, перелетов, впечатляюще, сильно описано, однако у Анфиногенова они совершенно неповторимые, свои, личные. Самолеты одной конструкции и одного типа были похожи друг на друга как две капли воды, но вот проходят они перед нашими глазами — и ни одной одинаковой. Машины управлялись людьми, и мы видим, как самолет будто бы сливается с летчиком, обретая его характер, его душу. «...девичий голосок... проверял в эфире: «Ишачок, ишачок», прикрой хвостик!» «А поцеловать дашь?» — прогудел в ответ находчивый басок. «Дам, дам!» Летчик и вылететь-то мог сегодня на одной машине, завтра на другой, но тот «Як», который пилотирует Лена Бахарева, вдруг становится меньше, изящнее... милевиднее, — и как перепутаешь его с виртуозно-молниеносным, мощным, по-мужски надежным «Яком», на котором сбивает своего очередного фашиста Михаил Баранов...

Свой воздушный бой у Артема Анфиногенова, пронзительные, воющие отзвуки этого боя до сих пор не дают спать по ночам. Своя атака у Анатолия Генатулина, наново захватывающая нас, сегодня о ней читающих, хотя ведь были уже яростные, отчаянные атаки в книгах Бакланова, Быкова, Бондарева. Но приходит еще один художник — и все открывается будто впервые. На той же самой войне он увидел, запомнил то, что только один он мог увидеть, запомнить. Увидел только еще на подходе к передовой «кисть человеческой руки, лежащую вверх ладонью, вернее сказать... большой и указательный пальцы, согнутые, толстые, корявые от работы мужские пальцы с окаменелыми, желтыми от табака ногтями... морщинки, складки на этих серых, припорошенных пылью мертвых пальцах». Запомнил полуприкрытые мертвые глаза человека, убитого страхом. И до сих пор живо в писателе ощущение,

«как под меня в почву вошла пуля и остановилась». Повесть Анатолия Генатулина «Атака» — о том, как в тяжком бою батальон захватил высоту, выбил оттуда немцев. Повесть живет и дышит пронзительной достоверностью этой атаки. «Сколько времени мы в бою, сутки или двое суток, я не помню и не могу понять. Прошли мы за это время что-то около километра... да еще шагов пятьдесят».

Локальный эпизод войны? Из бесчисленного множества таких эпизодов складывалась победа.

Еще есть у Генатулина рассказ «Сто шагов на войну» — о том, как на открытом ровном поле охотился на солдата немецкий снайпер и как солдату чудом удалось уйти от смерти. Эпизод и вовсе локальный? «А я вот живу. И всю жизнь бегу, бегу, ощущая на спине черную тень крестика... убегаю от смерти или бегу туда, где ждет меня неотвратимый выстрел... И звучит, звучит в душе моей трагически-торжественное чувство войны...»

А начинается рассказ так: «Все дальше и дальше от меня война, уже десятилетия минули после ее окончания, десятилетия, которые я прожил как-то спешно, без душевного покоя. И вот с годами война эта как бы снова начинает приближаться ко мне, вспоминается все чаще и пронзительней, и мнится порой, что она, только она и была главным событием, главным делом моей жизни, или как будто всю жизнь я был солдатом, только солдатом. Забывается многое: имена, лица, голоса, чувства, ощущения, пережитые там, на войне, но никогда не забывается одно чувство — чувство войны».

Живет это чувство в книгах прозаиков военного поколения и тогда, когда обращаются они к годам послевоенным. О вернувшихся фронтовиках рассказывает Вячеслав Кондратьев в повести «Встречи на Сретенке».

В нашей критике уже писалось о том, что повесть эта отмечена известной вторичностью, знакомостью характеров и ситуаций. Но надо сказать и о другом. «Не знал еще Володька, что война, с которой, как показалось ему, покончил он, не оставит ни его, ни всех воевавших никогда... как не знал и того, что четыре года войны останутся для них самыми главными». Сопоставьте это с тем хотя бы, что написал Генатулин, и общность мироощущения, predetermined общностью судьбы, обнаружится со всей очевидностью.

Кондратьев не первый поведал о душевном смятении совсем, в сущности, молодых ребят, которые после фронта, потребовавшего предела сил, попали в мирные будни, ничего о них толком не зная, не будучи к ним готовыми. И здесь возникали свои драмы — драмы внутренней, психологической перестройки, которую не каждому дано было выдержать.

Конечно, огромное большинство выдерживали, открыто и достойно вступали в мирную жизнь, принимая на свои плечи всю тяжесть послевоенной каждодневности, восстановления разрушенной страны. Но и тех, кто не выдерживал, пусть немногих, пусть единицы, не могла обойти молчанием наша верная правде литература. В повести «Однополчане» Юрий Додолев рассказывает о встрече двух фронтовых друзей, один из которых стал сельским учителем, а другой — сельским попом.

Галинин, зовущийся теперь отцом Никодимом, честно, не прячась, прошел через все фронтовые невзгоды. Как солдат из рассказа «Сто шагов на войну», должен был погибнуть и не погиб: немецкий танк, который вот-вот мог превратить Галинина в кровавое месиво, вдруг, в последний момент отвернул по причинам, одному ему ведомым, и прошел в нескольких сантиметрах от распростертого на зем-

ле человека. Страшные мгновения, когда смерть глядела в лицо, действовали на людей по-разному. Галинин поверил в чудо. В нем произошел душевный, психологический сдвиг, который и определил дальнейшую жизненную дорогу.

Додолев пишет драму человека, страстно ищущего покоя, так необходимого после нечеловеческого напряжения военных лет, жаждущего умиротворения, и остро, пронзительно ощущающего, что разлад с самим собой становится все глубже, бесповоротнее. Галинин искренне шел к богу, и потому осознание ложности своего душевного поиска так больно ударило отца Никодима, поставило на грань психологического расстройства. Он уезжал из села, не обретя мира в душе, а фронтовому другу оставил самую свою дорогую книгу, Библию, с листком бумаги, на котором было написано: «Эта книга теперь вряд ли понадобится мне...»

Писатель не говорит ничего относительно дальнейшей судьбы отца Никодима. Но что же произошло, какое чувство водило рукой, когда писалась записка? Может быть, «чувство войны», отвергающее всякие полурешения, требующее абсолютной правды в отношениях с собой, с друзьями и с миром? Вновь в ситуации неожиданной, странной возникает тема неисчерпанности «резервов духа»...

«...война научила преодолевать все, брать выше себя...», — пишет Вячеслав Кондратьев. Разные жизненные пласты и характеры, разные сюжеты разрабатывает наша военная проза, но этот мотив возникает в ней с упорством и неизбежностью. Сделать все, что можешь, если случится нужда, все, что в твоих силах. Все, и еще сверх того. Люди должны, перед памятью своей и перед будущим своим обязаны жить так, чтобы им предстояли иные, не военные испытания духа. Но напоминание о том, что способность «брать выше себя» нужна человеку, достойна его, — не есть ли это одно из главных напоминаний тех, уже ставших историей лет?

АЛЕКСАНДР
ТКАЧЕНКО

Петр Вегин

ВАЛЬС ДЕРЕВЕНСКОЙ ЛУНЫ

И

и думать не думал, что есть две луны — деревенская и городская». Эта строчка из книги П. Вегина «Вальс деревенской луны», вышедшей в издательстве «Советский писатель», — ключ к пониманию сегодняшнего мироощущения поэта.

А. Ф. Лосев, старейший представитель нашей сегодняшней эстетической мысли, назвал пограничную ситуацию деревенской и городской жизни одной из причин Ренессанса. Значит, эта линия издавна чревата новыми художественными ценностями. П. Вегин впервые почувствовал себя на этой линии. Отсюда неожиданность новой книги и для читателя и для самого автора. Если в книгах «Переплыви Лету», «Лет лебединый», «Зимняя почта», «Созвездие Отца и Матери» внешнее было активнее, а выражалось это в эффектной форме, то в новой книге «Вальс деревенской луны» внутреннее, т. е. голос поэта, его судьбы, звучит весомей. Лично мне это кажется очень важным моментом.

В предыдущих книгах взгляд Вегина был направлен только вперед. Сейчас он оглядывается, вспоминает, все больше грустит, пытается найти «утраченное время», как свое, так и своих сверстников. Серьезное время зрелости:

«И все кафе забытой музыкой наполнилось — вошла та девочка, негласная легенда шестидесятых...» Легенда шестидесятых... А может, это у П. Вегина больше ностальгия по себе самому, совсем молодому еще и неопытному, обживающему мир в мансардах, необновленному еще желанием «смотреть на стариков — серебряных и хрупких»? Сравним эти его состояния хотя бы с крупницей из книги десятилетней давности:

Вдох — воздух, выдох — музыка. Вот так
достойно жить, не изменив природе,
и так все выдыхать на каждой ноте,
чтобы при вдохе трескался пиджак!

Первые книги Петра Вегина появились в середине шестидесятых, и поэтому его имя не причисляется к уже сформировавшейся обойме так называемых «шестидесятников». У него свое место в ряду поэтических смен. Он появился вместе с И. Шкляревским и О. Чухонцевым. Они преломили в себе, теперь это уже видно, и частичный опыт молодых предшественников и частично предвосхитили тех, кто пришел позже. Будущее воздействует и на прошлое и на настоящее. Во всяком случае, если поэзия семидесятых — восьмидесятых, как говорится, тяготеет к усложнению, то это по-своему сказывается и на П. Вегине.

У него это определилось позднее всех, но закономерно, ибо, как поэт, он не мог пройти равнодуш-

но мимо открытости жизни за городской чертой, и, будучи раньше сугубым урбанистом, сейчас с радостью выдыхает: «Наконец-то судьба привела меня в Гончаково...» И далее — «такая музыка может быть только в России, когда земли от неба и отличить нельзя!».

И все-таки глаз поэта цепок, и зримое, пожалуй, занимает значительную часть в поэтике Вегина. Он видит, что регулировщик движения похож на Шиву. Пусть он не развивает образ, а только обозначает, но вот пример, когда увиденное несет в себе глубокий философский смысл, и здесь не избежать развития вплоть до завершения образа, включая даже его сюжетную линию. Здесь уже сказывается мастерство поэта, его жизненный опыт:

На тебя gazeют женщины,
словно на свое прошедшее.
Вся меж завтра и вчера,
ты на детском пляже — женщина,
но ты девочка — на женском.
Заблудилась. Забрела.

Чем нравятся книги Петра Вегина? Особенно тем, что в каждой книге есть своя сверхзадача. Он, как прыгун в высоту, устанавливает планку на новой отметке. Каждое стихотворение — это попытка. Из сложных движений складывается книга, и так преодолевается высота. П. Вегин пытается воздействовать на действительность самым сильным и единственным, что есть у писателя, — словом. Отсюда повелительность глагола Вегина. Может быть, это звучит порой назойливо, но это опять же из задач поэта — требовать, будить, напоминать: «Обогрейте женщину!», «Вставай! Мерцают нестинарские костры», «Циники, цыц!», «Танцуй, мое чудо! У мира аритмия. Танцуй!». И здесь, думается, по активности мировосприятия можно говорить о причастности Вегина ко всему, что происходило в поэзии в самом начале шестидесятых, хотя, повторяю, он — другой. Он меж двух начал и в этом. Но больше всего сам себя Вегин объясняет в стихотворении «Классические розы»:

Я думал, можно розою классической
все, что в душе творится, объяснить.

Это интересное откровение художника, которого захлестывают волны времени, ритмы городов и теперь уже «деревенская свобода», — трудновато уместить все это нахлынувшее в законченном квадрате четверостишия. И здесь у Вегина проявляются два начала, заложенные в его поэтике, идущие от свободной к классической форме или наоборот. У Вегина в книге «Вальс деревенской луны» это обозначено границами верлибра, с одной стороны, и традиционным стихом — с другой.

В этом многообразии художественных средств П. Вегина сказалась и его богатая поэтическая культура. Поэт немало переводил из польской поэзии, из чешской, из американской, переводил также наших прибалтийских поэтов, и это не могло да и не должно пройти бесследно. Но Петр Вегин все время возвращается домой, как бы к своим палисадникам, чтобы проверить — все ли цветы на месте? Мне кажется, что существование поэта меж двух начал — это путь поэта, испытывающего все время сопротивление материала слова и жизни.



НЕМИЛОСТИВЫЕ



ообразим...

Вот к чему — вроде бы совсем неожиданно — призывает нас Юлия Радченко, завершая и закругля книгу «Под заветной печатью...» (изд. «Детская литература»). Это после того, как сама же на протяжении двух сотен страниц обнаруживала, напротив, пристрастие к дотошной документальности, присягала его величеству факту.

Ладно. Попробуем.

«Вообразим, что главные герои этой книги вдруг сошлись за одним столом, одной трапезой, одной беседой: кто — в тюремном рубище и цепях, кто во фраке, кто в купеческой шубе.

Долгонько им пришлось странствовать, чтоб сойтись: один из XVII столетия, по двое из XVIII и XIX, наконец, один — из первых лет нашего, XX...

Наконец, сойдясь, еще неизвестно — поладят ли?

Длиннобородый протопоп косо глянет на соседа в парике... Автор «Войны и мира» улыбнется ли «Гавриилиаде»?

Уже можно с уверенностью узнать двух из героев книги (Толстой, Пушкин). Еще об одном можно догадаться: протопоп из XVII века — это, конечно, неистовый Аввакум. Назовем и остальных. Александр Герцен. Григорий Шелихов, «Коломб российский», человек «огненной души» и дерзостного ума. Дени Дидро — Денис Дидерот, как величали его в России позапрошлого столетия.

Почему — они? Почему — вместе? Что их собрало если не за одной трапезой, то под одной обложкой?

«А н а ф е м а», — говорит автор. «Проклятие, отлучение от православной церкви», намеренный или хотя бы ненамеренный (однако неизбежный) раздор с официальным вероучением.

Герои — разные, и книга о разном; по ней раскиданы пестрые микросюжеты, сами по себе прелюбопытные. Допустим, рассказ о таинственном Беловодье, об этой мужицкой Утопии, ласкавшей сердца российских рабов. Или приключения — сперва печальные, потом счастливые, затем безнадежно горестные — библиотеки Дидро — Дидерота. Или история памятника мореплавателю Шелихову: не слишком обыкновенная история необыкновенного памятника совершенно необыкновенному человеку. Знаменательная карьера дьячковского сына Василия Дроздова, ставшего могущественным митрополитом Филаретом. Судьба озорной «Гавриилиады», сулившей ее гениальному сочинителю беды, отнюдь не шуточные... и т. д.

Книга о разном. И об одном. В ее пестроте есть цельность — да и обязана быть, не имеет права не быть: речь ведь о русской истории.

Это, так сказать, история по горизонтали, и это всегда занято, даже если бы вроде абсолютно случайно: «Когда пятимесячный Александр Герцен бес-

смысленно улыбался и махал ручкой на зарево гигантского московского пожара 1812 года и когда его отца допрашивал сам Наполеон, именно в этом году карьера тридцатилетнего Филарета резко пошла вверх».

Сперва это выглядит всего-навсего занятой параллелью, но скоро линии двух судеб захотят скреститься, сойтись и уж не расходятся, хотя это близость не удивительного содружества, а безжалостной рукопашной. Для начала — августовский день 1826 года. Москва. Коронация Николая Первого. Митрополит Московский и Коломенский Филарет, благословляющий убийцу декабристов. И мальчик Герцен, клянувшийся отомстить за казненных и обрекающий себя «на борьбу с этим треном, с этим алтарем, с этими пушками». А затем дальше, дальше, по годам, по десятилетиям — их непрестанная, хоть и заочная схватка: меткие обличения Герцена, у которого, кажется, отняты все реальные средства борьбы, но который может так много, и противодействия князя церкви, казалось бы, чуть не всесильного, однако беспомощного перед словом Искандера.

И уж вовсе не выглядит случайностью то, что означенный Филарет прежде стычек с Герценом столкнулся с Пушкиным, ответив назидательными стишками на его трагическое, мятущееся, «кошунственное» стихотворение «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?».

Я упомянул самую близкую во времени встречу двух русских вольнодумцев, но и все шесть очерков книги пронизаны той же упрямой вертикалью...

Вот «про что» эта книга. Прочитируем признание автора: «Это не столько борьба церкви и неверия, сколько борьба деспотизма и вольной мысли...» А можно сказать — просто мысли, ибо что ж за мысль, ежели она не вольна? В этом печальном случае она уже нечто совсем иное.

Родство по мысли, родство по борьбе, родство по борьбе мыслью прочнее кровного. Вот почему прихливая фантазия свести шестерых за одним столом, в одной беседе «всего лишь» естественна. Вот почему еще естественнее, что, сойдясь, эти люди непременно заспорили бы, глядишь, и перессорились крупно: тем и жива вечно ищущая, вечно неудовлетворенная российская... виноват, забыл про Дидерота — тем и жива общечеловеческая мысль. Тем и близка она, высказанная или выкрикнутая сто, двести, триста лет назад нам, нынешним.

«...Вы нам близки, милостивые государи!» — последняя фраза книги.

Но тут — стоп. Поправка. «Не м и л о с т и в ы е» — в этом штука. Немилостивые к деспотизму, к неправде, к безмыслию и полумысли. К себе самим. Порою и друг к другу. Потому близки. Потому живы.

СЕРГЕЙ
ПОВАРЦОВ

ДЕРЕВО, ПТИЦА, ЦВЕТОК...



ТИМОФЕЙ
БЕЛОЗЕРОВ
ПОДСНЕЖНИКИ

В

Омском книжном издательстве вышла новая книга известного детского поэта Тимофея Белозерова «Подснежники». Она представляет собой до некоторой степени итог более чем двадцатипятилетней плодотворной работы поэта. Стихи, сказки, загадки и веселки, пятнашки и считалки, собранные под одной красочной обложкой, обращены преимущественно к детям, но, думается, что книгу Белозерова прочтает с интересом не только юный читатель. Мир русской природы, сдержанные краски сибирских ландшафтов едва ли оставят равнодушным и взрослого человека.

Коренной сибиряк, не понаслышке знающий жизнь села, Белозеров с любовью, одухотворенно и поэтично воссоздает в своих стихах атмосферу деревенского быта, освященного веками. Память автора благодарно воскрешает и запечатлевает в художественных образах детали крестьянской жизни, прелесть северных сибирских пейзажей. Поэт учит наблюдательности и доброте, бережному отношению ко всему живому на земле. Только очень чуткий человек может услышать, как «подсолнухи, качаясь у дороги, брезентовыми листьями шуршат», как «золотые усики пшеницы тенькают о чашечку цветка», а листва мелькает в ельнике, точно «волшебное огниво». Лирический герой большинства белозеровских стихов предстает перед нами в облике очаровательно традиционного крестьянского мальчика, озабоченного красотой прекрасной, гармоничной жизни.

Таяжная деревня, где «хоровадят кедры, распушив белесые чубы», дорога к манящему Данилову озеру, тишина ночного, когда можно любоваться дремлющими у костра спутанными конями, «шелом родного шалаша» в лиловой полумгле на иртышском берегу, родные березы под окнами отчего дома — таковы излюбленные мотивы и образы в книге Белозерова. Лирика Белозерова восстает против потребительского отношения к природе. А ее-то он по-настоящему любит.

Темно и тихо. Слышно за версту,
Как в теплых стенах лопаются бревна.
Сороки замерзают на лету,
И все вокруг бесцветно и бескровно.
...В морозной мгле затеплилась зоря,
Легла на снег скупая позолота,
И малыши, по зову букваря,
Из жарких изб выходят за ворота...

Не случайно в связи с новой книгой поэта я сказал о традиционности и традициях. Читая «Подснежники», видишь, что он возрос на отечественной классике: Пушкин, Бунин, Есенин. Некоторые строфы и строки Белозерова вызывают в памяти знакомые с детских лет образы, интонационно, ритмически с ними перекликаются.

Книга «Подснежники» не исчерпывается темой «векового родства» человека и природы. Жанр-

вый диапазон книги достаточно широк. Есть в ней стихи прямого дидактического звучания («В Шушенском», «Вечный огонь» и др.), немало лирических сценок-воспоминаний, множество живописных, зачастую лукавых миниатюр, рассчитанных не только на малышей.

Спит луна
Над рыбаками,
Рыбаки
Над поплавами,
Червячок
Над окуньком
Светит
Красным
Ночником.

Поэт тяготеет к акварельному эскизу, миниатюре, наброску. Но и в сюжетных стихах, в забавных сказках о Лесном Плакунчике, Буке или Огородном Подрастае он раскрывается как яркий, незаурядный наблюдатель и выдумщик. А сколько фантазии в его «бесконечках» и загадках! Какое чувство слова, юмора, ребячьей психологии! Белозеров тонко чувствует игровое начало в жизни, без которого невозможна литература для детей.

Воздавая поэту должное, я, однако, далек от желания представить дело так, будто в книге стихов «Подснежники» все идеально. Отнюдь. Обидны самоповторы и просто неуклюжие строки. «Из темных волн выходят якоря, в сырые клюзы втягивая лапы». Вряд ли эти самые клюзы украшают, к примеру, «Пляску на реке»:

...Весело посапывают клюзы,
Вздрагивают
Серьи
Якорей!

Тем более, что «серьи якорей» уже блеснули у Маяковского в стихотворении «Порт» семь десятилетий назад...

«Подснежникам» предпослано предисловие Сергея Баруздина, отметившего гражданственное звучание поэзии Белозерова. Действительно, автор занимает активную жизненную позицию в разговоре с современниками, он убежден, что

Время может быть любым:
Легким и тяжелым,
Хлебосольным и скупым,
Скучным и веселым.
Все зависит от того,
Что ты сделал для него!

НЕЗАМЕТНОЕ ВОСПИТАНИЕ



моей книжке о поэте Владимире Луговском есть фотография, изображающая подростка в широкополой шляпе, который сидит на траве, поджав под себя ноги. Рядом две девочки, одна постарше, другая совсем маленькая. Подпись под фотографией: «В. Луговской с сестрами. Игра в индейцев. 1915 г.». Теперь эта фотография неожиданно ожила. Произошло это благодаря тому, что самая маленькая девочка — в детстве ее звали Таня, Туся, Тучка, а потом она стала художницей Татьяной Александровной Луговской — написала книгу «Я помню» (М., «Детская литература», 1983).

Книга эта не мемуары, а действительно повесть с динамически развивающимся сюжетом, стройной композицией, точно выписанными образами. Особой похвалы заслуживает своеобразная манера повествования, соединяющая в себе взрослую пронзительность и детское озорство, серьезность и хитрецу, благопристойность и лукавство.

Маленькие герои повести Вова, Нина и Таня — называю их в порядке старшинства — родились в московской семье Ольги Михайловны и Александра Федоровича Луговских. Александр Федорович был преподавателем и инспектором старших классов Первой мужской гимназии. Для него не возникло вопроса: принимать или нет Октябрьскую революцию? Он тотчас пошел в только что созданный Наркомпрос. Его избрали председателем школьного совета, что равнялось прежней должности директора гимназии.

Повесть о своем детстве Т. Луговская заканчивает скорбными словами о смерти отца. Он умер 3 мая 1925 года пятидесяти лет от роду. Со смертью отца началась новая полоса в жизни маленькой Тани. До сих пор она с ним никогда не разлучалась. Отец всегда был рядом. Он вызывал в детях не страх, а уважение, любовь и боязнь его огорчить. Виновный в шалости подвергался самому строгому наказанию: ему приходилось молча посидеть на стуле в отцовском кабинете.

«Его уроки, — писал в автобиографии В. Луговской, — были удивительно занимательны: он приносил в класс то старую гравюру, то павловскую фарфоровую чашку...». Сестра также рассказывает об этом: «Незаметно для себя мы узнавали, когда и кто строил Адмиралтейство, Горный институт или Казанский собор. Каким был русский фарфор в то время. Из какого стакана мог пить Пушкин, в какую чернильницу макал перо Державин». И далее: «Может, он и воспитывал меня, но воспитание это было незаметным» (подчеркнуто мной. — Л. А.).

У маленькой Тани множество самых привлекательных качеств. Она умна, наблюдательна, на все смотрит с юмором, неизменно замечая смешное, забавное, потешное. Это относится ко всем, о ком она пишет, за исключением отца.

Ее озорное и лукавое зрение особенно тонко, с истинной прелестью юмором и с нежной любовью за-

печатлевает образ старшего брата. Мы видим, как он сидит на стуле в отцовском кабинете «с независимым лицом и делает вид, что он не наказан, а просто присел среди книг и думает...», и как он рассказывает маленькой сестре сочиненные им самим сказки, и как утверждает, что мыть уши — не мужское дело, и как странно, «несоразмерно» растет («Сначала у него страшно выросли ноги. Потом голова сделалась такая большая...»), и как вдруг решает идти на флот («Только на флот — и никуда больше»), и как никогда не врет, а только выдумывает (эти слова мамы повергают Таню в смещение: «Но как отличить выдумывание от вранья?»), и как начинает писать стихи («Тишь лесов голубых и воздушных, и небес золотая река»), и как надолго исчезает из дому в дни Октябрьской революции, отправляясь в полевой контроль Западного фронта, и как приезжает на побывку в Сергиево-Игрищевскую сельскохозяйственную школу, которую поручили создать Александру Федоровичу, и как читает свои новые стихи. «Ни небес, ни золотой реки, ни плавности и в помине не было в этих стихах. Они ходили ходуном по комнате, гремели и ударили по голове. Какие-то поезда, пути, шум, треск и пальба вылетали из Володиного горла и оглушали меня» (здесь удивительно точно схвачена атмосфера ранних стихов Луговского, в 1926 году вошедших в его первую книгу «Сполохи»), и как, уезжая в Москву, просит сестричку сбежать в соседнюю Розановку и передать записку некоей Тамаре — той самой Т. Э. Груберт, которая вскоре станет его женой и которой он посвятит свою вторую книгу — «Мускул», вышедшую в 1929 году...

Обо всем этом Т. Луговская рассказывает с такой простодушной и в то же время лукавой искренностью, что нельзя не поверить каждому ее слову.

В автобиографии Луговского упоминается няня Екатерина Кузьминична Подшебякина, родом из деревни Непрядва на Куликовом поле. Это его Арина Родионовна. В книге Т. Луговской няне уделено много внимания. Няня говорит: «минтом», что значит «быстро», и «однава дыхнуть», что означает «моментально». Этого достаточно, чтобы перед нами возникла живая фигура. Но вот беда — няня любит выпить. Время от времени ее отлучают от дома, но Таня каждый раз умеет добиться, чтобы няню вернули и простили.

Книга Т. Луговской густо населена: кроме семьи Луговских и ее окружения, автор подробно и с такой же веселой наблюдательностью рассказывает об учениках сельскохозяйственной школы. Но главное все же — семья Луговских, принадлежащая к лучшей части русской предреволюционной интеллигенции. Именно в этой подлинно интеллигентной и подлинно демократической семье и сформировались поэт Владимир Луговской и художница Татьяна Луговская.

Исподволь и мудро готовились к трудной взрослой жизни брат и сестры, для которых не прошли бесследно уроки отцовского «незаметного воспитания».

Т. АСТАПОВА

КОГДА МАРИНА БЫЛА ЮНОЙ

*Воспоминания о гимназических
годах М. ЦВЕТАЕВОЙ*

Так бывает после увиденного во сне близкого,
утраченного человека: ты снова был с ним!
Прочтенное — подарок прошлого —
вдруг, чьим-то желанием вызвать из мглы
и прислать — мне, до этих лет —
неведомое...

Волшебством памяти даже не близко
дружившей с Мариной соученицы,
порадившейся несходством ее с окружающими,
честно, четко восстановлены далекие дни,
во всех остальных подругах — погасшие.

Я узнала не только те случаи,
события ученической Мариной жизни,
которые суть уже сами — подарок! —
я узнала в каждом — Марину, с которой
столько лет мною прожито,
самых, должно быть, важных
лет, детства и юности.

Но я с Мариной жила день за днем
в том обреченном на гибель царстве,
которое зовется «дóма» — а ведь Марина жила
еще вне дома, в том мире «учения»,
который звался «гимназия», где мы,
по странности наших гимназических лет,
всего полгода ходили на ту же улицу,
в то же здание, о чем я так мало сказала
в печати. Но кто-то подглядел
нас тогда — теперь неожиданно...

Эти воспоминания — Астапова не писательница —
писаны талантливым пером.

Тут нет облегченного «рассказа» о том,
какая была Марина, — тут только «показ»!
Марина показана нам, как в стереоскопическом
ящичке — конкретно, объемно. И я — на
своем девяностом году до недр
взволновалась, увидев живую Марину...

Анастасия ЦВЕТАЕВА



тех пор, как мы учились вместе с Мариной Цветаевой в двух старших классах гимназии, прошло очень много лет. Ей было тогда лет 16—17.

Между нами не было никаких дружеских отношений, мы были слишком разными по характеру и склонностям, но, несмотря на это, Цветаева всегда интересовала меня, привлекала мое внимание, и иногда я невольно наблюдала за ней. Мне казалось, что за своенравием, порой даже эксцентричностью ее поступков скрывается нечто более глубокое, что свойственно только незаурядной, одаренной натуре. Многие из нас знали, вернее угадывали, что Цветаева что-то пишет, но она никому не показывала своих стихов, и нам было неизвестно, чем она живет, какие строки слагались в ту пору в ее уме. Это были строки ее «Вечернего альбома», где уже проявились и богатство воображения и подлинный поэтический дар. Впечатление, оставленное Цветаевой, не изгладилось с годами — в памяти моей легко оживают сказанные ею слова, какой-нибудь жест, улыбка, а бывает, что вижу ее во сне. Всегда при этом станет так радостно, хочется сказать ей что-нибудь хорошее, какой отклик находит ее поэзия в сердцах путников, идущих во след...

Марина (с п р а в а) и Анастасия Цветаевы.
Снимок 1911 года.

В нашу гимназию¹ Цветаева поступила в 1908 году и проучилась в ней два года, в 6-м и 7-м (выпускном) классах. Но, пожалуй, вернее было бы сказать не проучилась, а пробыла в ней два года. Это была ученица совсем особого склада. Не шла к ней ни гимназическая форма, ни тесная школьная парта. И в самом деле, в то время как все мы, а нас в классе было 40 человек, приходили в гимназию из дома в день, готовили дома уроки, отвечали при вызове, Цветаева каким-то образом была вне гимназической сферы, вне обычного школьного распорядка. Среди нас она была как экзотическая птица, случайно залетевшая в стайку пернатых северного леса. Кругом движение, гомон, щебетание, но у нее иной полет, иной язык.

Из ее внешнего облика мне особенно запечатлелся нежный, «жемчужный» цвет лица, взгляд близоруких глаз с золотистым отблеском сквозь прищуренные ресницы. Короткие русые волосы мягко ложатся вокруг головы и округлых щек. Но, пожалуй, самым характерным были для нее движения, походка — легкая, неслышная. Она как-то внезапно, вдруг появляется перед вами, скажет несколько слов и снова исчезнет. И гимназию Цветаева посещала с перерывами: ходит несколько дней, и опять ее нет. А потом, смотришь, вот она снова сидит на самой последней парте (7-й в ряду) и, склонив голову, читает книгу. Она неизменно читала или что-то писала на уроках, явно безразличная к тому, что происходит в классе; только изредка вдруг приподнимет голову, заслышав что-то стоящее внимания, иногда сделает какое-нибудь замечание и снова погрузится в чтение.

В то время в нашей передовой гимназии была сделана попытка исключить отметки среди года. За ответ преподаватели ставили зашифрованный значок в свой журнал, а табель с отметками мы получали только в конце учебного года. Все как будто шло хорошо. Но как быть с такой непокорной ученицей, как Цветаева? Некоторые предметы, как, например, естествознание, ей были неинтересны, она просто не хотела ими заниматься, а длительные отсутствия вызывали у педагогов тревожные замечания: «Она должна подчиняться общим правилам», «Так нельзя посещать гимназию». Об этом говорили, а в общем, все оставалось по-старому.

Вот урок русской литературы. Казалось бы, сам предмет должен быть близок Цветаевой, но преподает Ю. А. Веселовский без особого подъема, и Цветаева по-прежнему читает что-то свое и не слышит, о чем не спеша, ровным голосом рассказывает Юрий Алексеевич.

Однажды Ю. А. Веселовский принес в класс статью Писарева о Пушкине, и одна из учениц читала вслух «издевательскую» критику на письмо Татьяны. То и дело раздавались взрывы смеха. Большое оживление в классе заставило Цветаеву приподнять голову. Некоторое время она слушала молча, без тени улыбки, в раскрывшихся глазах было удивление. «Что это?» — наконец спросила она. «Это Писарев, Писарев», — с разных сторон зашептали ей ближайшие соседи. «Боже мой!» — Цветаева возмущенно и пренебрежительно пожала плечами и снова погрузилась в чтение. (Этот презрительный жест произвел на меня впечатление. Я тогда много читала Писарева, и возникшие в уме сомнения улеглись еще не совсем.)

Урок истории... В классе легкий гул. Е. И. Вишняков рассказывает как будто и умно, и с бунтарским

пафосом, и иногда прочитает умело подобранный отрывок, а все же слушают его плохо и не обращают внимания на раздающиеся время от времени призывы к тишине. Вот он вызывает Цветаеву. А надо сказать, что преподаватели вызывали ее очень редко, как будто решили — лучше не тревожить. Цветаева рассказывает о французской революции. Вишняков внимательно смотрит на нее и не прерывает до конца ни единым вопросом. А рассказывает Цветаева долго и, конечно, не по учебнику, а по таким источникам, которые мы тогда еще не держали в руках. Мы слышим о Мирабо, о жирондистах, Марате. Речь ее льется свободно, красиво, она воодушевлена. Не могу сказать, что рассказ ее захватил меня своим содержанием, в то время это было мне не по плечу, да и интересы мои клонились в другую сторону, но мне стало ясно, насколько эта девочка стоит выше всех в классе по своему интеллектуальному развитию. И преподаватель понял, что этот «ответ» не укладывается в рамки обычного, что нецелесообразно прерывать его, и так и закончился он только со звонком, возвестившим об окончании урока.

Уроки французского и немецкого языков в частных гимназиях велись на высоком уровне, с разбором фольклора и старых классиков. Иностранные языки Цветаева знала прекрасно, но и здесь она не удовлетворяла «учить уроки» и никогда не знала, «что задано».

Однажды у Цветаевой появилось небывалое желание: стать прилежной ученицей. Придя утром в класс, она уселась на первую парту в среднем ряду, разложила учебники, тетради, ничуть не заботясь о том, что заняла чужое место. Оно принадлежало одной тихонькой, малозаметной девочке. Когда та пришла и растерянно остановилась около своей парты, Цветаева во всеуслышание заявила, что с этого дня будет заниматься по-настоящему, слушать на уроках, записывать и никуда отсюда не уйдет. В классе зашумели, заспорили, девочка чуть не плакала. Со всех сторон послышались упреки, порицания — ничто не помогло. Цветаева возражала, что на последней парте трудно следить за уроком, что она долго пробыла там и почему-то должна оставаться там навсегда. И в конце концов ее оставили в покое, а огорченную девочку где-то пристроили в сторонке. Как и следовало ожидать, дня через три внезапно нахлынувшее рвение исчезло. Цветаевой не понравилось сидеть слишком близко от кафедры, и, забрав свои книги, она вернулась на прежнее место. Инцидент был исчерпан, и все пошло по-старому.

В классе Цветаева держалась особняком. Она присматривалась ко многим, но найти среди нас настоящей подруги не могла. Бывало и так — кто-нибудь из учениц другого класса вызовет в ней восхищение, она начнет ее идеализировать, сближается с ней, но, узнав поближе, разочаруется, отойдет. Однажды она подошла ко мне: «Пойдемте походим». В ее манере обращаться к людям было что-то подкупающее — мягкое и вместе с тем властное. Ей никто не отказывал. Она легко взяла меня под руку, и мы сделали несколько кругов по залу. Я поняла, что ей захотелось меня «прошупать». Я больше всего интересовалась естествознанием и сообщила, какие предметы особенно люблю и чем они меня привлекают. «Нет, — сказала Цветаева, — по-моему, они скучны. Вот химия мне еще нравится, пожалуй: во время опытов в пробирках получаются такие красивые цвета!»

Из всего класса Цветаева уделяла внимание только моей подруге Радугиной, беседовала только с ней одной. Моя подруга была старше меня на два года, умная, сдержанная, воспитанная, со способностями в равной мере как к гуманитарным, так и к естест-

¹ Частная гимназия Брюхоненко находилась в Б. Кисловском переулке № 4 (ныне улица Н. А. Семашко), имела хороший состав преподавателей и считалась «либеральной».

венным наукам. Бывало, мы ходим с Радугиной на переменах по коридору или по большому залу, подойдет Цветаева, возьмет ее под руку с другой стороны, расскажет что-нибудь и отойдет. Однажды медленно, почти про себя Цветаева начала декламировать: «Был тихий вечер, вечер бала...»: «Был тихий вальс...» — в тон ей продолжила моя подруга. «Радугина! — радостно воскликнула Цветаева, — вы знаете стихи Виктора Гюффана?.. Как хорошо!»

Иногда она делала беглые замечания о ком-нибудь из учениц. «Мне нравится лицо Дзянычевой. Я часто смотрю на нее», — сказала она как-то об одной девочке, напоминавшей молодых послушниц с картин Нестерова. В другой раз, внимательно посмотрев на меня, сказала: «У вас янтарные глаза. Вы читали Мережковского «Воскресшие боги»? У ведьмы Ксандры были янтарные глаза». А когда мы как-то выходили после уроков из гимназии, спросила: «Вы, наверное, катаетесь на коньках?» «Да, почему вы узнали?» «Я так ясно представила себе вас на льду, на катке, в этой пушистой шапочке». Она могла легко опозитизировать действительность, порой искажала ее... «Нет, как могла я так ошибиться!» — с волнением говорила она об одной ученице из старшего класса, которая недавно заинтересовала ее. Цветаева рассказывала, что они долго ходили с ней вечером по Москве, много говорили, и все очарование исчезло. «Сначала мне почудилось в ней сходство с одной девушкой, живой, энергичной, порывистой, а внешне такой худенькой, хрупкой. Оказалось, совсем не то: она груба, неинтересна, и что за привычка говорить и наваливаться всей своей тяжестью на чужое плечо. Это так неприятно!» Цветаева сделала брезгливый жест рукой, как бы стряхивая что-то со своего плеча.

Если она возымела неприязнь к кому-нибудь, то это чувство проявлялось в ней с такой же силой, как и разгоревшееся увлечение. В нашем классе была одна ученица, охотно принимавшая участие в школьных спорах, конфликтах; разнервным тонким голосом она доказывала, убеждала... «Что она все пишет? — говорила Цветаева. — Она думает, что это умно. А она просто пискля». Их антипатия была взаимной. «В ней есть что-то кошачье. Терпеть не могу кошек», — говорила «пискля».

Как-то раз, когда мы ходили втроем по коридору, навстречу прошла одна «новенькая» из другого класса, с большим ястребиным носом. «Какой у этой девочки громадный нос!» — невольно вырвалось у меня. Цветаева помолчала немного и потом задумчиво начала: «Вот так всю жизнь при встрече с этой девочкой будут думать — «какой у нее большой нос», и всегда сперва будет бросаться в глаза ее нос. У нее будет радость или горе, она с волнением будет рассказывать об этом, а все невольно будут смотреть на ее нос». Радугина засмеялась. «Ну, полно, Цветаева, что это вы, перестаньте...»

А то, бывало, сообщит что-нибудь забавное: она подала домашнее сочинение, написанное в синей тетради, на которой ей пришлось заменить ярлык. Приклеив новый белый лоскут бумаги красным сургучом и посмотрев на свое изделие, она сделала в уголке надпись: «Сочетание цветов, допустимое только во Франции». После проверки тетрадь пришла с зачеркнутыми «крамольными» словами, а наверху рукой Ю. А. Веселовского написано: «Прошу не делать на тетрадях никаких посторонних надписей».

Вообще Цветаева была далеко не прочь напракаться, и шутки ее были такими, какие мне никогда не пришли бы в голову. Мы как-то целой ватагой возвращались из гимназии. Впереди шел молодой человек, не то военный, не то лицеист, не припомню, но в форме с иголки. Он всегда заходил за одной

гимназисткой из выпускного класса, а в тот день, вероятно, узнав о ее отсутствии, возвращался один. «Тираспольская!» — вдруг отчетливо и громко произнесла Цветаева. Лицеист вздрогнул, круто обернулся и увидел незнакомые юные лица, веселые насмешливые глаза; он смутился и, прибавив шагу, поспешил скрыться, затерявшись среди прохожих.

Однажды Цветаева, появившись утром в классе, вызвала общее удивление: волосы у нее за один день стали необычного соломенного цвета, и к ним была прикреплена голубая бархатная лента. По-видимому, в ее воображении все это должно было выглядеть иначе. Быть может, тут сыграло какую-то роль название сборника стихов Андрея Белого «Золото в лазури». Ее волосы привлекли внимание, ей задавали вопросы. Вероятно, Цветаевой это надоело, а возможно, эта причуда разонравилась и самой, но только вскоре она остриглась наголо и некоторое время носила черный чепец.

Мне кажется, что если Цветаева и держалась обособленно от других учениц, то это все же не исходило из гордости или сознательного намерения уединиться, а получалось как-то само собой. Она не отказывалась принять иногда участие в наших литературных чтениях, которые мы устраивали в классе или у кого-нибудь из учениц на дому, в совместных прогулках. Помню ее на одном из таких чтений. На этот раз мы читали одну из «проповеднических» статей Льва Толстого, в то время находивших отклик среди молодежи. Цветаева участвовала в обсуждении прочитанного и отнеслась отрицательно к жизни «в келье под елью».

Кроме того, ей не нравилось, что Толстой, ратуя за непротравление, старался доказать, что доброе в ответ на злое приносит хорошие плоды и самому «непротравленцу», то есть оказывается как бы выгодным для него.

А вот мы в Петровско-Разумовском раннею весной. С нами и Цветаева. Мы приехали на маленьком паровичке, совершавшем свой путь каждые полчаса от Бутырской заставы, и здесь, среди полей и лесов, всем стало легко и радостно. Вот Цветаева ловит лягушку, подносит к близоруким глазам, внимательно рассматривает, стоящая рядом Лопатина испуганно отскакивает. Цветаеву это забавляет, ей хочется поддразнить, она подходит ближе, Лопатина отмахивается и наконец спасается бегством. За ней легко несетса Цветаева с болтающейся лягушкой на вытянутой руке. Из группы девочек раздаются упреки, призывы прекратить погоню. Я стояла поодаль и смотрела на них со стороны. Лопатина с ее визгом, искаженным от страха лицом была жалка, а бег-полет Цветаевой показался мне красивым. Ведунья! Потом Цветаева внезапно остановилась, отбросила лягушку в сторону, пошла прочь.

Настоящим другом Цветаевой была ее младшая сестра Ася, учившаяся в той же гимназии. Меня всегда удивляло, с какой радостью Цветаева встречает свою сестру и как подолгу они ходят вместе и оживленно беседуют друг с другом. Можно подумать, что они давным-давно не виделись. Вот вижу их на площадке второго этажа, откуда три большие двустворчатые двери ведут в зал, в кабинет начальницы и в столовую. Они стоят у пролета лестницы, возле чугунных перил; если одна говорит, другая слушает внимательно и с улыбкой смотрит на сестру. Ася младше Марины года на два, на три и не походит на нее — тоненькая, нежная, с гладко причесанной головкой, на высоких каблучках, с изящным ридикюлем в руке. В ней было что-то старомодное, что-то от тургеневских времен. Я поглядывала на них и не переставала удивляться их долгой беседе. У меня тоже любимая сестра училась в той же гимназии,

но мне показалось бы странным приветствовать ее при встрече и разговаривать с ней. Ведь мы каждый день видимся дома, а здесь столько девочек, столько общих интересов в кругу своих одноклассниц.

Мне остается только рассказать о поездке в Крым, которую наша гимназия устроила на пасхальные каникулы для старших классов. Мы были тогда в шестом классе. Цветаева ездила с нами. К сожалению, нас не предупредили, что в Крыму в эту пору погода переменчива, и мы в своих легких весенних пальто очень зябли. В Севастополе нас разместили в гостинице группами по пять-шесть человек. Когда наша шестерка вошла в отведенный номер, Цветаева тотчас распахнула все окна, дверь на балкон и быстрым легким шагом принялась ходить по комнате. Она была легко одета, а подходя к балкону, с наслаждением подставляла лицо свежему, порывистому ветру. Озябшие девочки запротестовали, начали спорить. Цветаева сначала упорствовала, настаивала на своем, потом внезапно, как это было ей свойственно, покинула нас и переключилась на другую группу из выпускного класса. Среди учениц этого класса была одна армянка — высокая стройная девушка с выразительным, энергичным лицом, с красивыми черными глазами, горделиво смотревшими из-под дуговидных изогнутых бровей. Сильная, ловкая, она прекрасно лазила по горам, а своими рискованными прыжками с камня на камень у края отвесных скал вызвала однажды испуганный возглас педагога: «Госпожа Джамгарова! Мы верим, что вы смелы, но просим прекратить эти опасные занятия!» Она была колоритной фигурой на фоне Крымских гор. Цветаева отдала ей дань своего восхищения и держалась около нее все время нашей поездки.

Из Севастополя в Ялту мы переправлялись на пароходе. Дул сильный ветер, и многих укачало. Помню, как мы с Радугиной хмурые, притихшие сидели на палубе, прижавшись друг к другу, закутанные в плед. Выглянув из-под угла пледа, я увидела Цветаеву, бодро ходившую по палубе в оживленной беседе с кем-то из пассажиров...

В Ялте повеяло теплом. Каждый день мы совершали экскурсии — то на линейках, то пешком. Розовые облака цветущего миндаля на яркой синеве неба показались нам волшебной сказкой. Но погода все еще не устанавливалась. Во время нашей поездки на Ай-Петри вдруг повалили густые хлопья снега. Но никогда я не видела, чтобы Цветаева зябла и куталась, как остальные. Она предпочитала ездить рядом с возницей, и я помню ее фигуру на козлах с развевающимися волосами, легко одетую, с бусами вокруг шеи. Она часто покупала ожерелья из всевозможных ракушек, разноцветных камешков. Бывало, перебирает их пальцами, прислушивается к их шелесту, скажет с улыбкой: «Люблю эти гадюльки», — потом нацепит на себя. И они к ней шли.

На обратном пути домой все были веселы и от новых впечатлений и от предстоящей встречи с родными. Затеяли игру во мнения. О Цветаевой мне запомнилось только одно — нашего преподавателя по естествознанию А. Н. Брюхоненко: «Душа поэта». Сказано это было со снисходительной улыбкой, так как сам он был совсем другой ориентации. Когда собирали мнения о Радугиной, Цветаева старательно искала в уме, что сказать о ней, и обратилась ко мне за советом. Я назвала какую-то смешную черточку в ее характере. «Нет, нет, — сказала Цветаева, — я хочу сказать что-нибудь хорошее». Мне не запомнилось, на чем она остановилась. Мнение Цветаевой обо мне было: «Нуждается в ласке». Именно так понимала она мою дружбу с Радугиной.

Помню еще, как Цветаевой захотелось выкинуть какую-нибудь забавную шутку. «У кого есть стар-

ший брат?» — спросила она. «У меня», — сказала я. «Как его зовут?» «Борис». «Сейчас я напишу ему открытку с дороги». И она тут же, поглядывая временами в окно, написала моему брату письмо в духе наивной, восторженной гимназистки. «Милый Боря!» — начала она, а дальше было что-то о необъятном просторе, о селах и деревушках, живописно раскинувшихся среди полей и нив, о маленьких беленьких домиках, утопавших в кудрявой зелени.

А то — один раз я подбежала в вагоне к своей скамейке и вижу: на моем месте, свернувшись калачиком, спит маленькая девочка из 5-го класса. Сидевшая рядом Цветаева остановила меня: «Не будите ее, смотрите, как хорошо она спит». В ее голосе и глазах было много нежности.

Ехали мы двое суток. Цветаева уже отошла от Джамгаровой и ее одноклассниц и снова была с нами. Вечерами она любила стоять в тамбуре вагона. Однажды мы с Радугиной последовали за ней. Пронеслись полосы света, мелькали причудливые тени, грохотало и лязгало железо. В полумраке дрожало бледное пятно ее лица. Вот она меняет его выражение, поднимает руки, шевелит пальцами, что-то говорит, страшая нас. Нам и жутко и весело.

Она могла, если захочет, как магнит, притягивать к себе людей и, думается, так же легко могла и оттолкнуть.

По окончании семи классов мы с Радугиной учились в гимназии еще один год, в восьмом (педагогическом) классе. Цветаева в нем не осталась, и я больше ее никогда не встречала. Но, будучи гимназистками 8-го класса, мы держали в руках ее первый сборник стихов, и нам вспоминались ее вскользь брошенные слова: «Вскоре я вас всех удивлю». Я читала и перечитывала стихи из «Вечернего альбома» и вышедшего вслед за ним «Волшебного фонаря». Мне нравились поэтические образы ее юной фантазии и хотелось лучше понять «душу поэта».

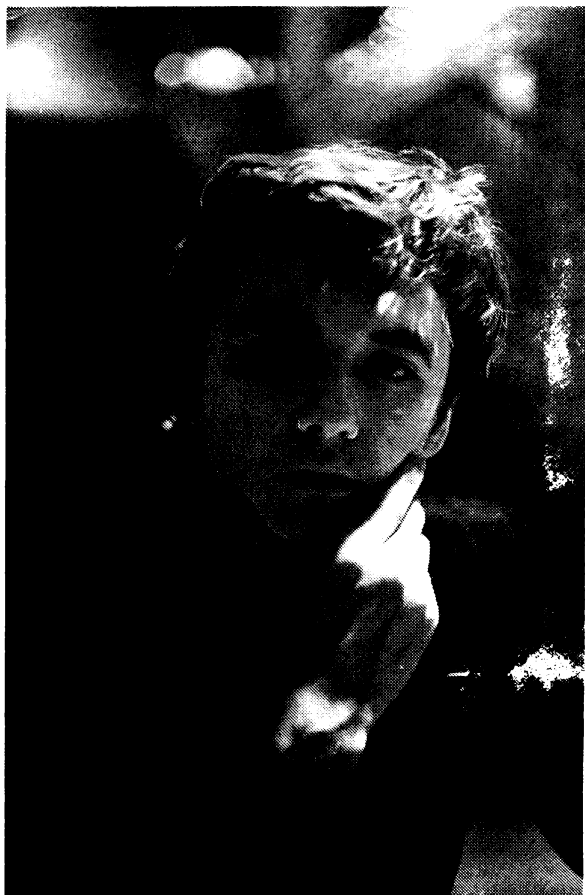
Перед моими глазами проносились целой вереницей и ожившие саксонские фигурки, и рано угасший орленок, и девочка-смерть с дрожащим медальоном на тоненькой шейке, и маленький принц, кормящий лебедей, вставали картины из ее детства. И понятен был ее возглас: «Боже, верни мне, верни все разноцветные бусы — маленькой мирной Тарусы светлые дни!»

Мне открылось, что еще тогда, на школьной скамье, у Марины Цветаевой —

В декабре на заре было счастье,
Длилось — миг!
Настоящее, первое счастье,
Не из книг!

В январе на заре было горе,
Длилось — час.
Настоящее, горькое горе,
В первый раз!

Марина Цветаева выросла, талант ее развернулся, бывшая напевность сменилась переменчивым взволнованным ритмом, но строки, написанные еще не окрепшей рукой («О если б Вы знали, как слабы у розовой юности руки!», когда юность печалилась своей отдаленностью от настоящей жизни («Можно тени любить, но живут ли тенями восемнадцати лет на земле?!»), навсегда сохраняют для меня свое неповторимое очарование.



ДВА ВАРИАНТА УСПЕХА

По завершении Всесоюзного конкурса артистов балета в Москве мы избрали для рубрики «Интервью в час успеха» двух лауреатов, двух победителей конкурса: Кайе Кырб (Таллин) и Вадима Писарева (Донецк).

К

айе, как получилось, что вы стали балериной?

— Моя мама в юности немного танцевала и очень хотела, чтобы кто-то из нас, детей, стал артистом балета. Окончив третий класс, я решила поступить в Таллинское хореографическое училище. Но первая попытка оказалась безуспешной. Следующий год я упорно занималась в спортивной школе гимнастикой, после чего мне все-таки удалось «понравиться» приемной комиссии... Все школьные годы я мечтала станцевать партию Одетты-Одиллии. Во время практики в нашем театре с удовольствием стояла в кордебалете лебедей. Но не могла даже представить, что в первый же свой сезон станцую Одетту-Одиллию. В 1981 году в нашем театре было решено осуществить новую редакцию «Лебединого озера». Для этого из Ленинграда пригласили народных артистов СССР

Фото: Н. Шарубина и М. Каламкарлова.

Наталью Дудинскую и Константина Сергеева. И мало того, что я оказалась одной из тех солисток, которым доверили главную партию, но именно я станцевала — 22 марта 1981 года — и самый первый спектакль. Моим партнером был народный артист ЭССР Тийт Хярм — любимец эстонской публики. Тогда он только что вернулся из заграничных гастролей, и до премьеры мы смогли лишь дважды встретиться в репетиционном зале. Представляете, как я волновалась? Сама не помню, как закончила спектакль, как выходила на поклон, принимая цветы и поздравления. Все было, как в прекрасном сне.

— Расскажите, как выступали в Москве.

— Тийт Хярм помог мне подобрать программу, посоветовав включить фрагмент из балета «Антоний и Клеопатра» в постановке И. Чернышева. Этот фрагмент я исполняла на втором туре, а па-де-де из балета «Раймонда» показала на третьем. Для выступления в первом туре выбрала па-де-де Дианы и Актеона из балета Ц. Пуни «Эсмеральда» в постановке А. Я. Вагановой, которое разучила со мной и моим партнером Наталья Михайловна Дудинская. На конкурсе я стремилась удостовериться в правильности избранного пути.

— Удостоверились?

— Да.

— Назовите своего педагога.

— Я занималась в классе Тийю Рандвийр. А над партийей Одетты-Одилли со мной много и увлеченно работала Хельми Пуур. И еще одно имя. непременно, — к конкурсу меня готовила заслуженная артистка Эстонской ССР Эмита Эркина.

В неправдоподобно короткий на первый взгляд срок Кайе Кырб стала одной из ведущих солисток театра оперы и балета «Эстония». Но она выделялась уже в училище — и не только легким шагом и высоким прыжком, но и безупречным художественным вкусом. Так что успех и удача — вплоть до победы на Всесоюзном конкурсе — закономерно сопутствуют талантливой балерине.

Успех Вадима Писарева был неожиданным. Незвестный столичному зрителю девятнадцатилетний танцовщик, год назад принятый в труппу Донецкого театра оперы и балета заставил говорить о себе с первого же выхода на сцену Зала имени Чайковского. На втором туре «симпатичный мальчик из Донецка» был встречен бурной овацией, на третьем — его уже видели победителем конкурса.

Когда я пришел к Вадиму в его гостиничный номер, он смотрел телевизионную передачу о балете, и отвлекая его от телеэкрана удалось не без труда.

— Как вы сами оцениваете свое выступление?

— Если бы правильно рассчитал силы, то, думаю, мог бы выступить лучше. Первые два тура прошли гладко, ошибок почти не делал. А вот на третьем начала сказываться усталость. Чем ближе я был к победе, тем становилось страшнее. В последней конкурсной вариации из «Дон Кихота» я чуть не упал. Коснулся руками пола, но на ногах каким-то чудом удержался. Чуть не плачу, но ганец-то надо продолжать, да и улыбаться при этом. В «Дон Кихоте», сами понимаете, кислая физиономия не очень-то кстати. Так и проулыбался до конца вариации и с победой про себя уже успел распрощаться. Спасибо жюри. Простили мой грех.

— Как вы начали танцевать?

— На деревенских праздниках — в гостях у деда в Херсонской области. Дед играл на гармошке, все танцевали, ну и я, как мог, конечно. Всем нравилось, мне — тоже. Это было весело, как игра. Потом отец отвел меня в самодеятельный хореографический ан-

самбль «Зарница», но сама идея — заниматься танцем — принадлежала сестре. Она мечтала стать балериной и училась в хореографической школе, куда после «Зарницы» попал и я. Позже меня направили в Киевское хореографическое училище, где я наконец-то столкнулся с балетом, что называется, нос к носу. И, как видите, не расстаюсь и по сей день.

Тут наша беседа на какое-то время прервалась — по телевизору стали показывать «Паганини» в постановке Леонида Лавровского...

— Извините, — сказал Вадим, когда мы наконец-то включили телевизор. — Понимаете, у меня тоже есть «Паганини». По-моему, это моя лучшая работа, а показать ее на конкурсе не удалось — партнерша заболела. Казалось бы, чего проще — изобразить скрипача в балете? Он и пластичен и подвижен. Движение руки со смычком делает его игру почти танцем. Но мой герой не скрипач вообще, а Паганини, реально существовавший, овеянный легендой. Как зритель воспримет молодого танцовщика с руками и пальцами нормальной длины, с вовсе не вытянутым лицом и глубоко западавшими горящими глазами? Ни в лице, ни в фигуре моей ведь ничего подобного нет. И я понял, что надо танцевать саму музыку. Не иллюстрировать ее, а найти пластический аналог. С такой задачей мне пришлось столкнуться впервые, и, мне кажется, что решить ее удалось... До сих пор не могу смириться, что не показал эту работу на конкурсе!

— Каково ваше самое яркое впечатление в дни конкурса?

— В Музее изобразительных искусств, где я побывал впервые, не мог отойти от «Меркурия» Джованни да Болонья. Его «Меркурий», как мне казалось, парил в воздухе. Вот образ, вот тема для танца.

А в начале июля Вадим Писарев был удостоен серебряной медали на Международном конкурсе артистов балета в Хельсинки. Он возвращался в Донецк через Москву, и я задал ему два вопроса.

— «Паганини» показали?

— Показал в сокращенном виде, но и этим доволен. Номер был слишком длинен для конкурсной программы — восемь минут вместо шести положенных. И я сократил его и танцевал без партнерши.

— Довольны своим выступлением?

— В Хельсинки я танцевал безупречнее, чем в Москве. И первые два тура шел наравне с опытным Оливером Матцем из ГДР. Это было уже не первый его международный конкурс. Но соперниками мы себя не ощущали — напротив, старались помочь друг другу, поддержать.

Интервью вели: Игорь ГРОМОВ
(с Кайе КыРБ)
и Михаил КАЛАМКАРОВ
(с Вадимом ПИСАРЕВЫМ)

Академик
И. К. КИКОИН

МЕСТО ДЛЯ ГЕНИЯ ВАКАНТНО

М

ожно позавидовать работоспособности и жизненной энергии нашего собеседника. А он убежден, что их истоки у каждого в его юности, в желании прислушиваться к зову времени.

Итак, Исаак Константинович Кикоин — академик, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и пяти Государственных премий СССР, один из блистательной плеяды физиков, вышедших из стен Ленинградского физико-технического института (ЛФТИ). Труды Кикоина посвящены физике твердого тела, магнетизму, атомной и ядерной физике, ядерной технике. В начале 1943 года он стал одним из ближайших соратников Игоря Васильевича Курчатова в работе над атомной проблемой.

Исаак Константинович всю жизнь был и остается учителем. Немало его непосредственных учеников стало докторами наук. Он — один из авторов школьных учебников физики. Главный редактор «Кванта» — физико-математического журнала для юношества. Председатель оргкомитета Всесоюзных физико-математических и химических олимпиад школьников, энтузиаст работы с молодежью, увлеченной наукой. И потому при всей своей занятости он сразу же согласился побеседовать с читателями «Юности». Кстати заметим: «Квант» и «Юность» живут в доме под одной крышей, как добрые друзья и соседи.

Наши встречи проходили в одно и то же время. Отрываясь от работы в институте, он ровно в шесть входил в свой домашний кабинет, и два часа были в нашем распоряжении.

Академик И. К. Кикоин среди юных любителей физики.



Исаак Константинович Доброжелателен, любезен, непосредствен и отзывчив в общении. А тема наших разговоров — путь к призванию.

— Говорят, хорошее начало — наполовину выигранное сражение. А если применить это к жизни к судьбе ученого, от чего зависит, на ваш взгляд, успешное начало?

— Нельзя терять времени. Старт, как в спорте, надо брать энергично, используя все преимущества возраста: неистощенные силы, здоровье, свободу от бытовых вериг, свежесть и остроту восприятия вещей.

— Как я слышала, ваше призвание определилось еще в школе. Что этому помогло?

— Прежде всего самостоятельность в выборе занятий. Меня никто не понукал и не ограничивал. Мне, правда, повезло: нашей школе в Пскове достались в наследство от мужской гимназии и реального училища их библиотеки и оборудование кабинетов: роскошные приборы одной немецкой фирмы. Штатной единицы библиотекаря у школы не было. А мой отец преподавал в ней математику, его коллеги нашу семью хорошо знали. И мне в тринадцать лет доверили заведование библиотекой. Напротив библиотеки находился физический кабинет. Приборы в нем были частью поломаны, я взялся их ремонтировать, да так и прилип к кабинету и библиотеке, пропадал в них до ночи. Запоем читал книги по физике и химии, разбирался в дифференциальном и интегральном исчислениях. Полагаю, что склонность — первый признак способности к тому или иному делу. Физика и математика меня увлекали и легко мне давались.

— Но случается ведь, что легкость, с которой дается учение, оказывается не на пользу способному ученику. Он привыкает все хватать на лету, не утруждая себя. А рабочие навыки не появляются сами собой. И талант без умения трудиться может стать напрасным даром природы...

— Родители когда-то разумно поощрили мое желание дважды перейти через класс. И потому я учился с неослабевающей нагрузкой. И привычка к напряженным занятиям в жизни весьма полезна.

Умственные способности, как и физические, безусловно, требуют тренировки. И человеку, у которого учение идет легко, надо давать больше пищи для ума. Я убежден, что способным ученикам по предмету, которому они привержены, необходимы знания сверх программы, трудные задачи. Так работают со способными ребятами, влюбленными в математику и физику, в школах-интернатах при университетах. Полезны для таких ребят занятия в специальных школах или классах с углубленным изучением любимого предмета, факультативы по этому предмету. Если человек чем-то всерьез заинтересовался, ему хочется знать больше. Но школьные курсы преподносят лишь узловые положения современных наук, и знания предстают со страниц учебника законченными, отшлифованными. А человека увлеченного стоит познакомить с научными идеями в их развитии, подвести к той грани, за которой — неизвестное, дать простор воображению.

— Что, на ваш взгляд, зависит тут от учителя?

— Очень многое. Я искренне рад, что центральной фигурой школьной реформы стал учитель. Забота об улучшении подготовки учителей, условий их труда и быта — дело не только благородное, но и совершенно необходимое. Ведь в школе закладывается фундамент будущих наших успехов. И зависит это прежде всего от учителя: от его эрудиции, педагогического

дара, любви к детям. Зависит от учителя как личности. Ученику надо иметь наставника, который бы поддерживал и направлял развитие его интересов и способностей. Учить так, чтоб от ученика не требовать затрат энергии, ума и сил, — утешительно, но невозможно. Учение — это труд, непременно труд, а не развлечение. Серьезное учение — производительный умственный труд. Чтобы он действительно стал производительным, нужны усилия не только ученика, но и учителя — нужен умный избирательный подход к каждому ученику.

— Исаак Константинович, при огромной нагрузке что побуждает вас еще и редактировать «Квант»?

— Однажды по этому поводу я сказал, что, будучи эгоистом, заинтересован в том, чтобы дело, которым занимаюсь, попало в руки людей талантливых и самоотверженных. Но их надо искать, воспитывать. А «Квант» — трибуна для общения ученых с любознательными школьниками. Мы стараемся в популярной форме рассказывать им о том, что происходит на самом переднем крае науки. «Квант» рассчитан на тех, кто хочет думать. Его надо читать не спеша, с карандашом в руке. В журнале печатаются задачи, которые предлагались на олимпиадах, на конкурсах и «трудные» вузы. Наконец, мы ведем и свой конкурс оригинальных задач. Они требуют умения мыслить самостоятельно, творчески, и потому победители получают право участвовать в республиканских турах Всесоюзной физико-математической олимпиады школьников. Счастливым дар нестандартного мышления чаще всего тут и обнаруживается. Замечу, что олимпиады эти не из легких. Команда советских школьников не случайно из года в год побеждает на международных олимпиадах по физике. Победители признавались, что им помогло регулярное чтение «Кванта». Ну, а способные ребята должны сами стремиться навстречу тем, кто их ищет.

— Но часто родители, опираясь на свой жизненный опыт и желая детям благополучия, советуют не гнаться за журавлем в небе, а довольствоваться синицей в руках.

— Советы надо обдумывать, но решать самостоятельно. Я очень уважал своего отца и, следуя его совету, поступил после школы в землемерное училище. Отец надеялся, что и дальше я пойду в межвузов институт: профессия землемера была в то время почетной и хорошо оплачиваемой. Учась в землемерном, я даже на практике хорошо подрабатывал. В правоте отца я ничуть не сомневался: начало двадцатых годов было суровое, голодное. Кругом безработица. А рассчитывать я мог только на себя. И хотя «синица» сулила судьбу, как тогда всем казалось, материально благополучную и безбедную, я погнался за своим «журавлем». Мне попалась в то время увлекательнейшая книга Клода Озвальда «Электричество и его применение». Живо и легко написанная, она манила меня к инженерному делу. Я колебался между физикой и техникой, университетом и вузом. Но тут прочел в газете статью о новом физико-механическом факультете в Ленинградском Политехническом институте и сразу понял: вот то, что мне нужно. Факультет давал университетский объем подготовки по физике и математике и в то же время инженерное образование. Этот выбор отвечал моим устремлениям, и отец смирился.

— Подготовка научного работника сегодня длится долго. Школа, пять-шесть курсов в институте, аспирантура — итого около двадцати лет ученичества. Период самостоятельной работы в науке так отодвинулся, что в молодых ученых ходят и тридцатилетние. Но ведь юные годы, вы только что говорили об этом, надо использовать более плодотворно...

— Не вижу тут проблемы. Просто не надо устанавливать границу между учением и работой: это процессы не последовательные, а параллельные. Если человек пришел в вуз хорошо подготовленным и увлечен наукой, то что ему мешает включиться в работу кафедры, скажем, на втором курсе? Так и делают толковые студенты в МИФИ, в университете. Физико-механический факультет, на котором я учился, был задуман и создан на началах прямого взаимодействия с Физико-техническим институтом. Академик А. Ф. Иоффе, руководивший институтом, был одновременно и деканом факультета. Он сам читал первокурсникам общую физику, сам водил их знакомиться с институтом. Студенты работали в лабораториях, а самые активные и способные становились сотрудниками института. Тут видны корни нынешней системы московского Физтеха, студенты которого после третьего курса начинают работать в научно-исследовательских учреждениях.

— Часто перед молодыми людьми, мечтающими войти в науку, встает вопрос, чем заняться, какую тему выбрать? А как вы получили свой первый научный результат? Задачу нашли для себя сами или ее дал руководитель?

— С потолка идеи не берут... Первые задачи придумывают для себя не студенты. В науке труднее всего как раз поставить проблему. Не потому ли, следуя правилам трафаретного мышления, нередко берутся за то, что делают все? А это малопродуктивно. Своим ученикам я даю задачи, но в ходе их решения у них появляются свои идеи. Лабораторией, куда я пришел студентом, руководил Я. Г. Дорфман, серьезный молодой ученый. Он мне и передал задачу, поставленную перед ним университетским профессором, известным химиком. Тому надо было определить различия в свойствах изомерных соединений платины. Дорфман полагал, что следует обратиться к их магнитным свойствам. Но намагнитченность соединений платины очень мала: в несколько десятков миллионов раз слабее, чем у железа. У меня же в руках был школьный электромагнит, и требовались магнитные весы раз в сто чувствительнее существовавших. Вот тут и понадобилось думать самостоятельно. В конце концов я собрал весы типа горизонтального маятника и выяснил, что магнитные свойства изомерных соединений платины разные. Заказчик был доволен, работу опубликовали. Я учился как раз на втором курсе. В то время появилась квантовая электронная теория металлов. Меня она заинтересовала. Стал читать литературу, увлекся изучением гальваномагнитных явлений. Крупные немецкие физики Нернст и Друде утверждали, что в жидких металлах нет гальваномагнитных явлений. Новая теория вступала с этим в противоречие. И вот свойство молодости: я имел наглость не поверить классикам, хотя их утверждение не подвергалось тогда сомнению. Нернст проводил опыты с висмутом. Друде — со ртутью. Но оба неудачно выбрали вещества. У расплавленного висмута гальваномагнитные явления в десять тысяч раз меньше, чем у твердого. Эта аномалия и ввела Нернста в заблуждение. Друде не проверил, что у ртути и в твердом виде гальваномагнитные явления едва заметны. Я взял для экспериментов щелочные металлы: сплавы натрия и калия. И хотя измерения производить было трудно, показал, что электронные свойства металла обнаруживаются и в жидком состоянии. Была послана статья об этом в солидный немецкий журнал по физике. Два месяца волновался. Статью приняли.

— Вы еще оставались тогда студентом?

— Да, но в то же время работал в ЛФТИ. Год — поздно. А когда показал свою небеспольность, зачислили в штат; памятная для меня дата 16 янва-

ря 1928 года. Но это отнюдь не было исключением для Физтеха. Рано начали свою жизнь в науке академики Н. Н. Семенов, П. А. Капица, Ю. Б. Харитон... Академик Я. Б. Зельдович пришел в Физтех семнадцати лет. Не имея высшего образования, он в двадцать два года защитил кандидатскую, а в двадцать пять докторскую диссертацию. А Л. Д. Ландау четырнадцать лет поступил в университет, семнадцати его закончил, в восемнадцать опубликовал первую научную работу, а в двадцать четыре года уже возглавлял теоретический отдел Украинского физико-технического института в Харькове.

— А вам было, кажется, двадцать пять лет, когда вы обнаружили фотомангнетический эффект, который носит в физике ваше имя и широко используется для исследования электронных явлений в полупроводниках?..

— Вначале даже Иоффе не поверил, что это явление возможно, пока я не продемонстрировал его на опыте.

В науке часто ищут одно, а открывают другое. Правда, для этого надо все-таки упорно искать, не жалея труда. Но, возвращаясь к моему студенчеству, хочу заметить: сильным студентам надо, по-моему, давать больше свободы в планировании своего учения, больше им доверять.

Честно говоря, по сегодняшним вузовским меркам я не был бы примерным студентом. Лекции, которые мне не нравились, не посещал, те, которые посещал, не любил записывать. Правда, посещение лекций у нас тогда не считалось обязательным. Нравы на факультете вообще были спартанскими: со студентами никто не нянчился. Не все, кто поступал на первый курс, справлялись с трудной программой физико-механического. Отсеивалось народу немало. Но я не нахожу в этом драмы. Человек, выбирающий науку, с первых шагов должен понять, что это крестный путь, если хочешь чего-то добиться и быть полезным. А учителя — это ведь не только те, кто нас учит, но и те, кто учится и работает рядом с нами, даже те, кто у нас учится. Очень много значит живой обмен мыслями. И больше всего для моего образования дали, кроме самостоятельной работы и чтения литературы по ходу ее, семинары у Иоффе, на которые собирались физики отовсюду. Обстановка была на них самая непринужденная. Каждый мог задать вопрос, бросить реплику, вступить в спор. Систематически бывая на семинарах, можно было находиться в курсе всей тогдашней физики.

Лаборатории наши отличались кустарщиной, было много самодельных приборов. Те, кто начинал до нас, сами и дрова добывали, и воду таскали из профессорского дома, и печурки топили. Мы попали, конечно, уже в более благоприятные условия. Но на всякого рода лишения и нехватки ссылаться было не принято. При всем его демократизме ЛФТИ был учреждением, требовавшим самозабвенного и преданного служения науке. Всячески поддерживалась собственная инициатива. Не поощрялось хождение по пути проторенным, хоженным. Наш руководитель говорил, что монету надо искать не под фонарем, а там, где она потеряна. Он не был сторонником формального порядка. Он судил о работе лаборатории, сотрудника по результатам, еженедельно о них справляясь, и стыдно было ничего не иметь. Отбывание часов в счет не шло. Общественное мнение бескомпромиссно оценивало вклад каждого, и в институте не приживались люди малоодаренные, с ленцой. Они уходили сами. Дисциплина в институте была, в сущности, тем более строгой, что основывалась на нашей собственной сознательности и любви к делу. Я тогда проводил за год две-три существенных

экспериментальных работы и в институте находился не менее шестнадцати часов в сутки.

— Но не обediaлась ли жизнь таким самоограничением?

— Лично я убежден в необходимости самоограничения. Не только в развлечениях, но и в работе не сто́ит, мне кажется, разбрасываться. Времени всегда в обрез. Не буду лукавить: в театр ходил, наверное, раз в год. Спортom занимался умеренно, хотя любил греблю, велосипед. Впрочем, кому-то, возможно, удастся гармонично совмещать работу, увлечения и отдых. Но я искренне не понимаю тех, для кого работа и отдых полярны по своей сути.

— И все-таки мы нередко вступаем в конфликт между «надо» и «хочется». Насколько я понимаю, вы умели просто подчиняться приказу «надо». И, видимо, следует смолodu приучить себя к этому, если хочешь чего-то достичь в науке?

— Нет, заниматься в науке надо тем, что нравится. Без удовольствия эти занятия бессмысленны. Без азарта, без вдохновения ничего не получится. Ни себя, ни своих учеников я никогда не заставлял что-то делать насильно. Из-под палки открытия не совершаются.

— Но неужели вам не приходилось круто менять занятия, потому что так было нужно?

— Да, приходилось, но это никогда не было против моего желания. Когда началась война, понадобились противотанковые мины, и я занялся ими. В лаборатории в Свердловске нас было четыре-пять человек, и трудились мы с энтузиазмом: как могло быть иначе? В 1943 году я стал работать с Игорем Васильевичем Курчатовым над так называемым урановым проектом. И опять было ясное сознание чрезвычайной важности для страны того дела, к которому мы приступали. В то время уже стало ясно, что за границей ведутся засекреченные исследования ядерной проблемы. Из научных журналов в 1941 году исчезло все, что могло ее касаться. Если же учесть, что немецкие физики работали в этой области, очевидными становились и степень возникшей опасности и бремя ответственности, которое на нас ложилось.

Когда я говорю, что ученый должен заниматься тем, чем хочет, я имею в виду другие ситуации. Ученый видит перспективную идею, видит ее часто там, где другие еще ничего не видят. Может быть, он и ошибается, но все-таки сто́ит ему поверить. Такое «хочу» основано на знании предмета, понимании того, где сто́ит вести поиск, на предощущении успеха. Я за то, чтоб поощрять желание ученого упорно работать над тем, к чему его тянет.

— Приходилось ли вам настаивать на этом?

— Да, и не раз. В середине тридцатых годов ЛФТИ высадил свои «десанты» для создания и укрепления научных центров в Сибири, на Урале, на Украине. Я с группой сотрудников ЛФТИ поехал на работу в Свердловск. Шел тридцать седьмой год. Сформировавшиеся в институте, стоявшем на самых передовых позициях науки, мы были зрелыми учеными и знали, что кому надо делать. А тут мне стали предлагать мелкие задачи, связанные с текущими нуждами производства. Я этому воспротивился. Обстановка сложилась остроконфликтная. Меня громили на собраниях. Года полтора надо мной висела туча.

Хочу подчеркнуть, однако: я всегда занимался крупными производственными задачами, требовавшими действительного вмешательства науки. За год до войны был пущен на Урале алюминиевый завод — УАЗ. Там возникла необходимость проводить измерения тока в шинах колоссальных размеров. Существовавшие способы не годились. Я предложил тогда

определять ток по окружающему его магнитному полю, которое измерить было нетрудно. В сорок втором году мне за это была присуждена Государственная премия. Но по опыту долголетней совместной работы с производственниками я убежден: если упустить развитие «чистой» науки, то никакого прогресса и в технике не будет. Время от времени я слышу, что вот когда физики взялись за технику, «поднавалились», что называется, то оказалось возможным в почти немыслимо короткие сроки поднять такую глыбу, как урановый проект. Но ведь ничего не получилось бы, если бы ученые, взявшиеся за него, не были широко образованными физиками. Счастье страны, что она имела к тому моменту всесторонне подготовленных людей, стоявших на самых передовых рубежах в области теории.

— Говорят, что борьба требует жертв. Но ради чего сто́ит на них идти?

— События отсидятся в стороне от борьбы, переждать, пока утихнут страсти, конечно, есть. Вряд ли ксму-то хочется, отрываясь от работы, трепать себе нервы, портить отношения. Встречается категория людей, которые всячески увертываются от альтернативных решений, предпочитая переложить ответственность на других. Нередко это и люди молодые. Но я полагаю, что такая позиция заведомо ведет к поражению. Ведь у борьбы есть свои законы. Не поздно что-то сделать, когда процесс обратим. А боязливые люди чаще всего машут кулаками после драки. И особенно стыдно бывает, когда люди талантливые уступают позиции людям малоодаренным, но напористым.

Одно из ценнейших качеств, отличающих крупного деятеля, ученого, организатора, — умение видеть перспективу, способность жить не только сегодняшними интересами и заботами, но уметь их соединять, а то и подчинять задачам завтрашнего дня. Часто нужна бывает не только особая дальновидность, но и смелость и стойкость, чтобы прокладывать новый путь, расчищать поле для деятельности, плоды которой созреют, может быть, не скоро.

К этому типу людей, без сомнения, принадлежал Курчатов. Он обладал поразительной научной интуицией и брался за самые животрепещущие вопросы физики. В начале тридцатых годов, когда одно за другим последовали открытия в ядерной физике, он решительно переклонул на нее свою лабораторию. Он шел на это, отдавая себе отчет, что встретится с сопротивлением «авторитетов», в том числе тех, кто и теорию относительности и квантовую механику числил по ведомству идеалистической буржуазной физики. Тут надо было начинать почти что с нуля. В Радиевом институте тогда никак не могли запустить первый у нас циклотрон с метровыми полюсами магнита, пока Курчатов со всей энергией не взялся за эту работу. За полтора года лаборатория, которой руководил Курчатов в Физтехе, вышла, что называется, на мировой уровень. В тридцать пятом году он уже опубликовал монографию «Расщепление атомного ядра». Расщепление ядер урана под действием нейтронов, открытое О. Ганом и Ф. Штрассманом в 1938 году, поставило на повестку дня вопрос о возможности цепной реакции, и после ядерной конференции сорокового года в Москве по инициативе Курчатова правительству была подготовлена записка о необходимости широких исследований этой проблемы. А в сорок втором Игорю Васильевичу было поручено дать свои предложения по развертыванию практических работ над урановым проектом. Сейчас трудно даже представить себе тот колоссальный объем исследований пионерского характера, которые предстояло проделать в сжатые сроки. Я оказался в составе той небольшой вначале группы уче-

ных, которых собрал Игорь Васильевич, и работал с Курчатовым на протяжении всей этой грандиозной эпопеи.

Курчатов был великолепным организатором, умевшим глубоко и непредвзято разбираться в людях и заряжать их своим азартом. Притом собственная его и организаторская и научная деятельность была невероятно напряженной. Он сам руководил работами по измерению основных ядерных констант урана, непосредственно занимался строительством первого атомного реактора. Позднее под его руководством создавалась первая атомная электростанция, по его инициативе организовался Объединенный институт ядерных исследований. Он понимал, что нельзя двигаться дальше, не создав мощные установки для изучения физики элементарных частиц. А насколько свесовременно начаты были работы по управляемым термоядерным реакциям!..

— Вам приходилось постоянно работать с большой интенсивностью, но скажите, это не приводило к истощению запаса научных идей, к кризисам?

— Нет, мне кажется, что как раз напротив, для человека, напряженно работающего в науке, кризисное состояние противоестественно. Число интересных идей, как правило, больше, чем можешь осуществить. Если человек способен всю жизнь тянуть ниточку одной лишь идеи, это не творческий работник для науки. Он может быть лишь исполнителем.

— А какими качествами должен обладать молодой ученый, чтобы лично вам хотелось с ним сотрудничать?

— По характеру своей работы в последние десятилетия я не мог руководить большим числом людей. Но в нашем институте ведают аспирантурой, занимаюсь конкурсом молодых ученых... Мои требования к ученикам всегда были очень простыми. Во-первых, надо иметь голову, способности к научной работе. Во-вторых, быть преданным науке, чтоб она стала главным делом жизни, а в-третьих, я предпочитаю иметь дело с людьми порядочными во всех отношениях. Люблю, чтобы молодой человек предлагал что-то сам. Если свои идеи у человека не появляются, если он ждет их от руководителя, то это не дело. Мне самому должно быть интересно то, чем занят мой ученик, он и меня должен чему-то научить, как я ему что-то подсказать. А если нет сотворчества, то зачем мы нужны друг другу?

Назову тут, кстати, своих учеников и сотрудников — докторов физико-математических наук Валерия Ивановича Ожогина, Сергея Семеновича Якимова, Сергея Дмитриевича Лазарева. С Якимовым и Лазаревым я познакомился, когда преподавал на физфаке Московского университета. Они слушали мои лекции. Это были серьезные студенты, начавшие заниматься наукой в процессе учения. Ожогин был моим аспирантом. Я с интересом согласился руководить им именно потому, что в ходе первой же беседы почувствовал самостоятельность его мышления.

— Каждый, кто вступает на научное поприще, задумывается, конечно, и о диссертации. Стремление побыстрее получить степень снижает или, напротив, на ваш взгляд, ускоряет творческую активность молодых? Как вы к этому относитесь?

— Моя позиция выработалась в молодости. Надо стремиться к получению серьезных результатов, полезных науке. Когда в 1934 году ввели ученые степени и звания, многие из нас не хотели «защищаться»: жаль было времени.

За прошедшие полвека наше отношение к научным степеням, конечно, изменилось. Но молодым людям, с которыми работаю, я повторял и повторяю: занимайтесь наукой, а диссертация должна естественно вырастать в ходе этих занятий. Если хорошо сдела-

ешь работу — будет и диссертация. И я не ошибался в своих учениках. А диссертательными часто называют темы, в которых нет риска: заранее известно, что результат надежен и можно точно рассчитать время на его получение. Однако такой путь мне представляется не лучшим. Наука не может продвигаться вперед без поисков новых путей и методов, а следовательно, без риска. Но когда же и прокладывать новые пути, как не в молодости?

— Что бы вы посоветовали сегодня тем, кто думает посвятить себя науке, и в частности физике?

— Молодежь, и не только та, которая собирается в науку, а вся молодежь, должна близко к сердцу принимать призыв партии повысить уровень научно-технических знаний рабочих, специалистов... Прежде всего надо знать как можно больше. А что касается науки, то она так разрослась, что многие становятся слишком узкими специалистами. Этак можно и «выдохнуться». Советую ученикам не «сужать» свои научные интересы.

Сам я многие годы занимался серьезными прикладными задачами физики, связанными с промышленностью. Но никогда не позволял и не позволял себе «расслабиться», отойти от общих вопросов науки. Читал курсы общей физики для студентов. Два десятка лет работаю над школьными учебниками физики, руковожу журналом «Квант». Это заставляет постоянно держать в голове «всю физику», ее главные русла. Общая культура, «широкий профиль» имеет огромное значение и для инженера.

Молодых людей часто огорчает, что большая наука сейчас делается в больших авторских коллективах, которые, как им кажется, нивелируют индивидуальность. Действительно, многие экспериментальные работы в области физики проводятся на дорогостоящем мощном оборудовании, которое обслуживает большой персонал. И хотя в одиночку тут человек все сделать не может, я, как экспериментатор, не сказал бы, что личности в этих коллективах растворяются. Кто-то всегда подает идеи, кто-то проявляет организаторские навыки, кто-то выделяется своей увлеченностью. Ну, а теоретики по-прежнему самостоятельны. Правда, теоретики и экспериментаторы теперь четко разделились. Ферми был, наверное, последним из могиан.

Молодость — время бесстрашия и дерзаний. Мне всегда претила инфантильность некоторых молодых людей, иждивенческие и мещанские настроения в их среде. Никакими ухищрениями, никаким «блатом» подлинного успеха не добьешься. Его приносит, только одно — работа.

— Но, говорят, ученому еще очень важно вовремя родиться. Подходящее ли сейчас время для будущего гения? Какие перспективы ожидают молодых физиков?

— Коротко ответить тут трудно. Коснусь лишь самой близкой мне сферы. Перспективными мне кажется нынешнее увлечение физиков аморфным телом. Технические материалы из веществ в аморфном, а не кристаллическом состоянии ожидают, по-видимому, будущее: они более устойчивы к коррозии, механически более стойки...

Ядерная физика накопила сегодня огромный эмпирический материал, требующий обобщения, и в ней можно ждать больших событий. Должен явиться ученый масштаба Менделеева или Бора, чтобы совершить крупный шаг вперед. Так что место для гения вакантно.

Беседа вела И. ПРЕЛОВСКАЯ



ЮРИЙ ЗЕРЧАНИНОВ

КТО?

НАКАНУНЕ
МАТЧА
АНАТОЛИЯ
КАРПОВА
С ГАРРИ
КАСПАРОВЫМ

Н

ачнем с того, что вспомним Анатолия Карпова тех времен, когда он «шел на Фишера», и рискнем сравнить с тем Карповым сегодняшнего Гарри Каспарова. Тот Карпов совсем не намного старше сегодняшнего претендента, их сближает и стремительность восхождения.

Ровно десять лет назад в «Неделе» Анатолий Карпов ответил на многочисленные вопросы моего коллеги Александра Рошаля. И, следуя правилам той репортерской игры (на ход-ответ — полминуты), я попросил ответить на те же вопросы — вслед за Карповым, но десять лет спустя — Гарри Каспарова.

— За что вы любите шахматы?

А. К. Ну и вопрос: они же для меня все.

Г. К. Шахматы вошли в мою жизнь очень прочно, и я им благодарен уже за то, что не знаю, чем именно они мне нравятся.

— В каком возрасте начали играть?

А. К. Где-то между 4 и 5 годами. Но всем шахматы для меня стали не так уж давно. Даже в 1969 году когда был чемпионом мира среди юношей, я не думал, что все так повернется.

Фото Д. Донского.

Г. К. Это давно было. Научился играть, наверно, в пять-шесть лет. А точнее мама может сказать.

— **Ваш идеал в шахматах?**

А. К. Идеалом может быть лишь образ собирательный. Ближе всего к нему подходит, по-моему, Х. Р. Капабланка.

Г. К. Мне кажется, идеала в шахматах не существует. Да только ли в шахматах? Идеал — это некий собранный воедино образ, который постоянно расплывается. Шахматист, на котором я ставил свой собственный стиль, — Алехин. Но до идеала ему очень и очень далеко.

— **Что главное в игре — импровизация или анализ?**

А. К. Это зависит от характера позиции.

Г. К. Они неразрывны. Только в их сплыве можно создать произведение искусства.

— **Лучше атаковать или контратаковать?**

А. К. По духу мне ближе контратака, но если подвернется атака — не откажусь.

Г. К. Все зависит от позиции. Но в целом, конечно, атаковать приятнее.

— **К какой фигуре питаете тайную слабость (не считая, конечно, самого короля)?**

А. К. К той, которая лучше всего выглядит на доске.

Г. К. Любая хороша, если ею хорошо пользоваться.

— **Мучает ли призрак цейтнота?**

А. К. Нет, не мучает.

Г. К. Надо сказать, что цейтноты в моих партиях, если они уж случаются, обычно бывают обоюдными, — возникает сложная позиция, в которой и моему противнику приходится играть быстро...

— **Самое радостное событие в жизни?**

А. К. Надеюсь, оно ждет меня впереди.

Г. К. В жизни? Корректен ли столь однозначный вопрос?.. Другое дело — в данный момент. Что же, в данный момент самым событием мне представляется выигрыш матча у Смыслова.

— **Самое большое огорчение?**

А. К. Н-не помню... Такой вопрос — и всего тридцать секунд на обдумывание. Нет, не помню. Что ж, пусть эта моя первая «просрочка времени» станет моим последним огорчением.

Г. К. Каждое огорчение кажется в данный момент самым большим, пока не приходит новое огорчение...

— **Чем занимаетесь после поражения?**

А. К. Тем же, чем и после победы.

Г. К. Стараюсь на следующий день выиграть, что мне обычно и удается — в девяти из десяти случаев. Поражение, если хотите, для меня увертюра к победе.

— **А после трудной победы?**

А. К. Еще некоторое время нахожусь в игре, анализирую, но вскоре непременно стараюсь полностью отвлечься.

Г. К. Все представляя в розовых тонах, постепенно погружаюсь в процесс восстановления...

— **Ваша самая трудная партия вообще?**

А. К. Встреча с филиппинцем Торре в отборочном турнире юношеского первенства мира 1969 года. Она решала, быть или не быть мне в финале. Партия складывалась сначала хорошо для меня, потом — не очень, потом — снова хорошо, затем — плохо, откровенно плохо, безнадежно... При втором доигрывании удалось добиться необходимой ничьей.

Г. К. Из партий, сыгранных в претендентском цикле, может быть, самой трудной — с точки зрения испытания нервной системы что ли — была партия с Ульфом Андерссоном. Я одной ногой почти уже там стоял — на грани поражения, что фактически означало еще три года отдыха... Но все обошлось, хотя такая узкая грань отделяла меня в той партии

от нуля... Бывают и победные партии, которые тебя предельно изматывают, опустошают. Пример: партия с Корчным на Всемирной шахматной Олимпиаде в Люцерне. Она потребовала такой эмоциональной отдачи, такой траты духовной энергии, что я не ощущал даже, помню, вкуса победы — такая была усталость, все плыло перед глазами.

— **Представьте ситуацию: решающая партия назначена на понедельник, тринадцатое число.**

А. К. Тринадцатое число для меня счастливое, это я проверял много раз.

Г. К. Я родился тринадцатого апреля, а тринадцать лет мне исполнилось в понедельник. Нет, кажется, во вторник — надо проверить. Ну, ничего, главное, что тринадцать — это моя цифра.

— **Верите ли в случайности в игре?**

А. К. Да. И в игре, особенно на высшем уровне, они могут повлиять на шахматную судьбу. Однако со случайностями, как и с судьбой, можно и нужно бороться.

Г. К. Случайности бывают, но я думаю, что в большом турнире или матче случайность не может повлиять на закономерный исход.

— **Вы танцуете?**

А. К. Умею, но плохо. И не люблю.

Г. К. Нет, к сожалению.

— **Курите?**

А. К. Нет. Даже в молодости не баловался и другим не советую.

Г. К. Нет

— **Любимое блюдо?**

А. К. Уральские пельмени, их мама здорово готовит.

Г. К. Большой хороший кусок мяса.

— **Время года?**

А. К. Зима и лето. На Урале, где я родился и вырос, другие времена года коротки, вот и привык.

Г. К. Все-таки лето. Я южанин.

— **Какие места вам нравятся больше всего?**

А. К. О, таких много. Озеро Тургояк в Челябинской области, туда на выходные дни ездил с родителями — природа Урала столь же красива, как Подмосковье. А из городских районов — стрелка Васильевского острова и Кировский проспект в Ленинграде, Московский Кремль, своеобразен и ни с чем не сравним Париж...

Г. К. Побережье Каспия, пляжи Каспия...

— **В каких странах вы бывали?**

А. К. Могу назвать абсолютно точно — в пятидцати.

Г. К. Во всех странах Западной Европы — по-моему, во всех.

— **А где хотели бы побывать?**

А. К. Везде, куда закинет шахматная судьба и где не бывал.

Г. К. На американском континенте и в Азии. И очень хотелось бы проехать по нашей стране на восток — от Урала до Владивостока.

— **Самое веселое воспоминание из зарубежной поездки?**

А. К. В 1971 году в Пуэрто-Рико мы всей нашей студенческой сборной ухитрились втиснуться в малюсенький «Фольксваген» и отправились на пляж. Незаметно все обгорели, да так, что двигаться не могли. А тут финал начинается. В турнире участвовали девять команд — нечетное число. Значит, какая-то одна в каждом туре будет отдыхать. Я выхожу тянуть жребий — и достаю первый номер. Ура! Мы завтра свободны от игры.

Г. К. В 1981 году после того, как мы выиграли в Граце студенческую олимпиаду, нам выпало два или три дня, чтобы посмотреть Вену. Мы жили рядом с парком Пратер, однако наш тренер не хотел,



чтобы мы ходили без него в этот развлекательный парк. И вот в первый же день мы поужинали, тренер куда-то уехал, ребята разошлись. Остались мы слевой Псахисом. Он на меня посмотрел: «Ну как?» Я говорю: «А как же — пошли в Пратер». И ничего, знаете, — испытали американскую горку. А на следующий день мы уже всех повели в Пратер, сказали: «Ребята, ничего страшного». А на этой американской горке — как раз боб на шестерых. Женя Владимиров сказал: «Нет, это не для меня». Ну а мы — Псахис, Юсупов, Долматов и я — сели. Остался Кочиев, наш комсорг, — мы его звали Василичем, — он долго решался, наконец, сказал: «Единственное, что меня здесь привлекает, — это общий некролог с такими людьми...»

— **Учебный предмет, который был или остается для вас самым интересным?**

А. К. В школе — математика и география, сейчас — политэкономия.

Г. К. Литература, конечно.

— **Кем мечтали стать в детстве?**

А. К. Как говорят родители, летчиком, обещал всех покатыть на самолете.

Г. К. Все недосуг было — я играл в шахматы...

— **Кем бы хотели видеть ваших детей?**

А. К. Стоит ли об этом думать?

Г. К. Но только не шахматистами...

— **Назовите наиболее уважаемую, на ваш взгляд, профессию?**

А. К. Врач.

Г. К. О, таких профессий много. В принципе, если делать свое дело хорошо...

— **Ваши увлечения, хобби?**

А. К. Их много: филателия, книги, спортивные зрелища, кино, театр — словом, все, что помогает хорошо играть в шахматы.

Г. К. Если говорить насчет хобби, то я ничего не собираю, ничего не подклеиваю, ничего не вырезаю. А если говорить об увлечении, то я очень

люблю читать книги — если это можно, конечно, назвать увлечением.

— **Любимый писатель?**

А. К. Лермонтов.

Г. К. Такого не может быть, как и любимой книги. Я достаточно много книг прочел — их можно поставить в ряд... А уж если все-таки конкретизировать, то, например, из советских писателей я назвал бы Максима Горького и... Михаила Булгакова.

— **Кинофильм?**

А. К. Киноэпопея «Освобождение».

Г. К. Вновь большие трудности, хотя фильмов я смотрел меньше, чем читал книг...

— **Певец или певица?**

А. К. Большие других, пожалуй, Муслим Магомаев. Г. К. Алла Пугачева.

— **А книга?**

А. К. Романтические поэмы Лермонтова и «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».

Г. К. Я уже говорил... А из последних прочитанных книг — «Сто лет одиночества».

— **Любимый вид спорта?**

А. К. Как болельщик люблю игровые виды. Нравятся гимнастика, легкая атлетика.

Г. К. Надо уточнить вопрос: смотреть по телевизору или играть самому? Если смотреть, то футбол и хоккей. А играть — конечно, в футбол. И плавание.

— **Футбол?**

А. К. Любимой команды нет, болею за тех, кто хорошо играет.

Г. К. Я уже ответил, кажется.

— **Спортсмен, который вам нравится?**

А. К. Брумель и Ботвинник — люди, которые снова и снова побеждали не только соперников, но и себя.

Г. К. Третьяк.

— **Мешает ли вам популярность?**

А. К. Во многих случаях да. Не дают отдохнуть.

Г. К. Когда как.

— **Сколько часов в день уделяете шахматам?**

А. К. Смотря сколько времени осталось до соревнования. Вообще же плодотворно работать можно максимум до пяти часов в день, а дальше уже начинается работа с малой отдачей.

Г. К. Точную цифру назвать не могу, потому что занимаюсь шахматами далеко не каждый день. А в среднем, пожалуй, за год получается три-четыре часа в день.

— **Будете ли когда-нибудь тренировать?**

А. К. Не уверен. Тяжелое занятие. Из меня не очень хороший учитель. Многие вещи давались легко, и я, наверное, не смогу «почувствовать» человека, который не понимает то, что для меня естественно.

Г. К. Надеюсь, что нет. Хотя, может быть, и получилось бы. Но для этого надо уже совсем перейти в другое измерение.

— **Верите ли в проблему трудного соперника?**

А. К. Пока не верю.

Г. К. Думаю, что в целом это, конечно, надуманная проблема. В шахматах, как в любом виде спорта, «стиль на стиль» порождает какие-то затруднения, но они преодолимы, я бы сказал, — легко преодолить.

— **Действует ли реакция зала во время игры?**

А. К. Безусловно, мешает.

Г. К. Я ощущаю, что зал есть, что люди смотрят, но конкретно — нет.

— **А поведение соперника?**

А. К. Нет не очень. Хотя если он ведет себя неприлично, то это неприятно.

Г. К. Но если он ничего из ряда вон выходяще-

го не делает, то я просто его не замечаю. Стараюсь не замечать, так будет точнее.

— Много ли у вас друзей?

А. К. Не так просто найти друга, а тем более шахматисту. Друзей не много, но надеюсь, все они верные и стараюсь платить им тем же.

Г. К. Думаю, что да.

— Какие черты вам нравятся в людях?

А. К. Целеустремленность и умная смелость, а в женщинах — красивая скромность.

Г. К. Есть какие-то черты, совершенно обязательные для человека. Прежде всего — порядочность и искренность.

— А наоборот — черты, наиболее неприятные?

А. К. Аживость и трусость.

Г. К. Поставьте знак минуса к тому, что я сказал только что.

— Ваш любимый герой?

А. К. Герой нашего времени.

Г. К. Любимый герой — это в какой-то мере идеал, а идеал недостижим. Для меня, во всяком случае, любимый литературный герой — образ собирательный.

Естественно, что сегодняшний Карпов на некоторые вопросы ответил бы по-иному (назвал бы, очевидно, совсем другую партию своей самой трудной. не говоря уж о литературном герое и любимом певце, да и вопрос о детях не обошел бы, сделавшись отцом...), но я убежден, что совпадающих оценок и мнений не прибавилось бы.

Два несхожих шахматиста, две несхожие личности (что, впрочем, неразделимо). Разве что ставка на злополучную цифру тринадцать влечет и того и другого. Но Карпов, как известно, двенадцатый чемпион мира. А кто будет тринадцатым?

Они держались на редкость по-разному и вступив в борьбу за шахматную корону.

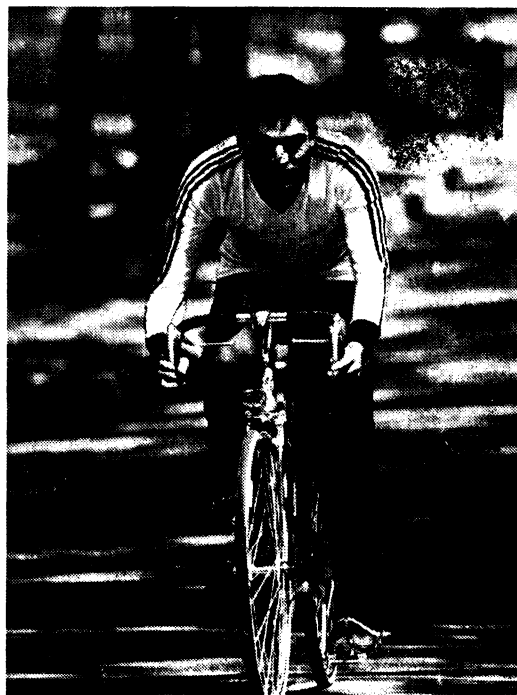
Карпов, правда, начинал эту борьбу, когда шахматный авторитет Фишера, хотя тот и продолжал уклоняться от участия в турнирах, был подавляюще высок. У Карпова была вторая вслед за Фишером рейтинг¹, но у Фишера он измерялся цифрой 2780 (абсолютно рекордный рейтинг, к которому до сих пор никто не приблизился), Карпов же начал четвертьфинальный претендентский матч с рейтингом 2700.

В январском номере «Юности» за 1974 год Карпов оценивал себя крайне самокритично: «...мне было лестно, конечно, читать рассуждения Мекинга, что, дескать, только он и я могут сейчас отнять у Фишера звание чемпиона мира. Я подумал: а в самом деле, неплохо было бы встретиться с Мекингом в финальном матче претендентов... Но я полагаю, что этого не случится, что мы оба — и я и Мекинг — еще достаточно сырые шахматисты, чтобы пробиться в финальный матч претендентов и тем более — выиграть у Фишера...»

В ту пору свои надежды Карпов возлагал на следующий цикл, учитывая в числе прочего, что ведущие шахматисты старшего поколения достигнут к тому времени критического шахматного возраста.

И у Каспарова был второй — после Карпова —

¹ Рейтинг — условная цифра, характеризующая силу шахматиста на основании его результатов в соревнованиях. 2400 — рейтинг, который должен набрать шахматист, претендующий на звание международного мастера. Перед каждым турниром (матчем) для каждого участника вычисляется средний рейтинг всех его соперников, и после сравнения его с индивидуальным рейтингом определяется, сколько очков должен набрать этот шахматист, чтобы сохранить свой рейтинг. Каждые пол-очка в ту или иную сторону — пять единиц рейтинга.



рейтинг, когда в январе прошлого года он начал свой четвертьфинальный матч. Но, во-первых, разница между ними была не столь велика (2690 и 2710), а, во-вторых, Каспарову был присужден за 1982 год шахматный «Оскар», который после опроса ведущих журналистов мира, пишущих на шахматную тему, вручается в Испании лучшему шахматисту года. До этого, как известно, восемь раз «Оскар» вручался Карпову...

Так или иначе, но в беседе с корреспондентами АПН В. Мелик-Карамовым и А. Сребницким Каспаров не стал таить, что не склонен, как в свое время Карпов, говорить, что это не его цикл.

А как чемпион мира оценивал шансы Каспарова? Еще в 1981 году, когда в Мериано Карпов вновь отстоял свое звание, журналисты спрашивали, не полагает ли он, что в следующем матче на первенство мира его соперником будет Каспаров? Карпов отвечал обычно, что и у нас и на Западе есть целый ряд молодых шахматистов, от которых можно ждать многого, — называл и Каспарова, но непременно вслед за Юсуповым, Тимманом... Вот, например, его ответ на вопрос корреспондента «Недели»:

«Каспаров? Один из талантливых молодых шахматистов. Достиг больших высот в шахматах».

Но время шло, и уже в начале прошлого года на вопрос корреспондента «Комсомольской правды»: у кого из претендентов шансы на выход в полуфинал предпочтительнее? — Карпов ответил: «Пара Белявский — Каспаров могла бы встретиться и в полуфинале и даже в самом финале... У Каспарова стабильные результаты, более или менее стабильная форма. О Белявском этого пока не скажешь. Если Белявский подойдет к матчу в хорошей форме, а такое ему, гроссмейстеру экстра-класса, вполне по силам, то думаю, мы станем свидетелями захватывающей борьбы».

Эти оценки с высоты Олимпа можно расценить и как начало психологического единоборства чемпиона мира со своим будущим соперником. В отличие

от Каспарова рациональный Карпов тщательно взвешивает свой каждый предматчевый «ход».

Интересный анализ своей победы над Белявским Каспаров опубликовал в бакинской газете «Шахматы». Это издание возникло в марте 1981 года на волне того шахматного бума, который породили в Азербайджане успехи юного Гарри Каспарова. К своим обязанностям члена редколлегии «Шахмат» он относится крайне серьезно и после каждого турнира и матча предлагает читателям тщательный анализ сыгранных партий. Так вот, убедительно победив Белявского, Каспаров подчеркивал, в частности, его «огромную работоспособность за доской, блестящее разыгрывание знакомых позиций, исключительную цепкость. Однако наши недостатки есть продолжение наших достоинств. Так и в данном случае: принципиальность в отстаивании собственных воззрений зачастую переходит у Белявского в прямолинейность, а прекрасное знание ряда схем порождает желание обойтись минимумом шахматных средств в дебюте».

На страницах «Шахмат» высказался и главный судья матча Белявский — Каспаров, один из старейших наших шахматистов, В. Микенас, которому в свое время удалось однажды выиграть у Алехина. И когда редактор «Шахмат» А. Зейналы спросил Микенаса: «Есть ли что-нибудь общее между игрой Алехина и Каспарова?» — тот сказал так:

«Да, есть. Это стремление к сложной фигурной игре и инициативе, ради которой приносятся в жертву пешки, а то и фигуры. Но знаете, мне все же кажется, что Каспаров больше напоминает Фишера. Чем? И тактикой игры и богатством идей в любых ситуациях...»

Корчной, его соперник в полуфинале, в отличие от Белявского обладал большим матчевым опытом. Небезынтересно, как Карпов и Каспаров расценили результат этого матча.

Карпов, отвечая на вопрос корреспондента «Социалистической индустрии»: «Что представляет сегодня, на ваш взгляд, гроссмейстер Виктор Корчной как шахматист?» — был предельно категоричен: «Не умаляя достоинств Каспарова, могу сказать — отработанный пар». А Каспаров подробный рассказ об этом матче в тех же «Шахматах» заключил так: «Итак, 10-го декабря победой в полуфинальном матче претендентов завершился важный этап моей шахматной биографии. В ходе которого я приобрел большой шахматный и нешахматный опыт».

Победу же в финальном матче с Василием Смысловым Каспаров расценивает, как вы уже знаете, как самое радостное, самое яркое в данный момент событие. Его особенно радует, что в Вильнюсе — на последнем этапе перед матчем с Карповым — он не проиграл ни одной партии.

Ответным «ходом» Карпова была его убедительная победа на очень представительном турнире в Лондоне. И если бы в предпоследнем туре он не проиграл тому самому филиппинцу Торре, партию с которым на юношеском чемпионате мира 1969 года он называл — помните? — в той десятилетней давности «Неделе» самой трудной своей партией, то Карпов мог бы превзойти рейтинг Каспарова. Да, на сегодняшний день Каспаров уже не только двукратный обладатель «Оскара», но и имеет чуть более высокий, чем у Карпова, рейтинг (2710 и 2705).

Каспаров отнюдь не переоценивает эти свои «козыри», хотя в предматчевой ситуации они позволяют ему с полным правом давать интервью, в которых он не скрывает своих решительных намерений.

А Карпов, в свою очередь, сначала заявил (еще до завершения матча Каспарова со Смысловым) на страницах «Социалистической индустрии», что от-

нюдь не намерен «сложить оружие» без боя, а в Лондоне, узнав о победе Каспарова, сказал наконец журналистам, что ему предстоит играть матч действительно с сильнейшим среди своих соперников.

В свое время в первом номере бакинских «Шахмат», который вышел в марте 1981 года, Гарри Каспаров делился впечатлениями о только что состоявшемся матч-турнире сборных команд СССР: «Особенно интересно прошел микротурнир первых досок, где выступали чемпион мира А. Карпов, экс-чемпион мира В. Смыслов, гроссмейстеры О. Романишин и Г. Каспаров. К моему некоторому удивлению, мне удалось выиграть этот спор с 4 очками из 6 возможных...»

Каспаров подробно анализирует свои обе встречи с Карповым, которые завершились вничью. Заголовки, данные им: «Долгожданная встреча» (к первой партии) и «Каждый стремился к победе» (ко второй) — комментариев, мне кажется, не требуют. В том же году вскоре они сыграли вничью еще одну партию и с тех пор за шахматным столом не встречались.

Между прочим, в январском номере «Юности» за 1979 год, где пятнадцатилетний Каспаров рассказывал, как он играет в шахматы, он вспоминал, как еще в семьдесят пятом году играл с Карповым в турнире Дворцов пионеров: «До начала партии я сознавал, что предстоит играть с чемпионом мира. Но партия началась, и против меня были только белые фигуры. На Карпова я не смотрел. Я смотрел на доску. Я получил большое преимущество, но выиграть не смог. Партия была отложена на присуждение, но у меня уже был проигрыш...»

Интересно, помнит ли Карпов эту партию с дерзким бакинским мальчиком?

Наталья Бестемьянова, известная фигуристка, призналась мне, что прошедшей зимой, на Олимпиаде в Сараево, она попросила у Карпова автограф. Да, Карпов приезжал на несколько дней в Сараево и даже дал в олимпийской деревне сеанс одновременной игры. Среди тех, кто рискнул сыграть с чемпионом мира, была и Наташа. Карпов, по ее словам, был настроен очень благосклонно и не забывал похвалить ее, когда она делала правильный ход. Но, поиграв немного, она решила, что хватит искушать судьбу, и сказала, что сдается. Карпов было галантно воспринял: дескать, в положении, которое еще позволяет играть... Но Наташа сказала, что ей все более неловко отнимать у него время, и в память об этом сеансе попросила дать ей автограф.

Ее восприятие Карпова предопределяется тем, что он уже был звездой, когда она еще была никто. А ведь Бестемьянова несколько старше Каспарова, с которым она тоже знакома (сыграть с ним в шахматы ей, правда, случая не представилось), и ее впечатляет его необыкновенная уверенность в себе. Она говорит, что как спортсменка знает, сколь необходима такая уверенность, чтобы достичь своей цели, и не скрывает, что завидует Гарику.

Прогнозировать предстоящий матч я не задавался целью. Но как бы он ни завершился, званием чемпиона мира, как резонно заметил Анатолий Карпов, будет по-прежнему владеть советский шахматист.

ФЕЛИКС КРИВИН

ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ

Счастливым человек

Один счастливый человек
Не знал, что он счастливый.
Ему казался черным снег,
А небо некрасивым.

И обвинял он в этом всех:
Судьбу, жену, соседа...
Но был счастливым человек,
Хоть сам о том не ведал.

Когда совсем не стало сил
От этих грустных мыслей,
Счастливый человек решил
Покончить счеты с жизнью.

Он долго на окне стоял,
Печальный, молчаливый...
Но и тогда еще не знал
О том, что он счастливый.

И все осталось позади,
Не мучит, не тревожит...
Последний шаг — и он летит,
Хоть он летать не может.

Но он летит, но он летит
Так просто и красиво,
Что птицы на его пути
Завидуют: счастливый!

И замедляет время бег,
Чтоб посмотреть на это.
Летит счастливый человек,
Летит над белым светом.

Летит он выше облаков
Над лесом, над заливом...
Не верите? Летать легко.
Труднее быть счастливым.



Белое и черное

Я говорю, что белое — это черное.
Я говорю, что черное — это белое.
К белой вершине

избегает тропинка горная,
К черной земле
снежинка жметя несмелая.
Черные дни

тоскуют о белых ночах.
Белые ночи

вздыхают о черной темени.
И голова,

что белеет на ваших плечах,
Видится черной

в каком-то далеком времени.
Белым по черному —

это времени след.
Черным по белому —

это листы газеты.
Буквы бегут.

По вопросу тоскует ответ.
Так же, как где-то

тоскует вопрос по ответу.

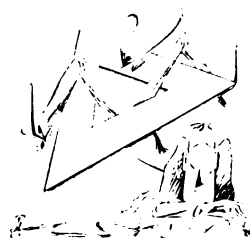


Задача на построение

Постройте треугольник,
Найдите в нем любовь.
Три любящие точки
Свяжите меж собой.
Все хорошо связалось:
Привычка, страх и риск.
Здесь не любовь, а шалость,
А здесь — простой каприз.

Постройте треугольник,
Найдите в нем любовь.
Смотрите: здесь спокойно
И не волнует кровь.
А здесь она играет
Беспечно и легко,
При этом где-то с краю,
От сердца далеко.

Каков любви источник?
Каков ее секрет?
Три любящие точки,
Любви же нет как нет.
И радости и боли
У каждого свои.
Любовный треугольник
Не место для любви.



☆☆☆

Ненавидеть легче, чем любить.
Помнить тяжелее, чем забыть.
Спрашивать не то, что отвечать.
И трудней окончить, чем начать.
Прошное маячит за спиной,
Будущее просит не губить.
И одно, одно всему виной:
Ненавидеть легче, чем любить.
Как оно уводит далеко,
Это беззаботное «легко»!
С ним уже давно пора кончать.
Но трудней окончить, чем начать.



«Дистрофики» (двухстрочные)

☆☆☆

Трусливый опыт любит с нами
Делиться мудростью своей.
Но вы не слушайте. Смелей!
Теряйте почву под ногами!
У вас высокие пути.
Вот ваша взлетная площадка.
А почву можно обрести,
Когда пойдете на посадку.



Рисунки И. Оффенгендена.

(Подражание романам
И. Штегелера)



У Гарольда Харитоновича Мартынова, директора самого фешенебельного в Припеченске вагона-ресторана, было отличное настроение. Поезд еще не отошел от перрона, а в бумажнике уже хрустела тысяча рублей.

В отличие от коллег, всаживавших все доходы в роскошные дачи, Профессор — так звали его в деловом мире — предпочитал скромность. Кому придет в голову, что под его заурядными золотыми коронками бриллиантовые пломбы чистейшей воды? А если нынешняя операция пройдет успешно, то можно будет вставить себе и второй ряд зубов...

Утром к нему подкатился Вася Хмырь из треста и предложил выгодное дело — надо сгонять с его вагончиком на соседнюю станцию, устроить свадьбу местному ворулите по кличке Купюра.

Отстать от поезда?! — презрительно усмехнулся директор.

— К утру догоним твой состав, — наседа л Хмырь. — Дают три куса. Шоб я жил на одну зарплату!

— Пять, — уронил Профессор. — С ихней горчицей.

Вася понял: спорить бесполезно. Сунув Мартынову задаток, он шмыгнул в тамбур. А Гарольд Харитонович стал продумывать план. Главная заковка: что делать с Антошкиным?..

Вот уже год Антошкин, аспирант вагонно-ресторанного института, работал шеф-поваром, но Гарольд Харитонович так и остался для него загадкой.

Не меньше, чем директор, гипотизировали Антошкина глаза официантки Вероники, ее пышные кудри цвета суточных щей... Обыч-

но она сновала между столиками, не обращая внимания на юного кулинара. Но ее прошлое было тщательно скрыто от постороннего глаза.

Однажды, это было еще в самом начале, официантка Вероника попала на горячем. Директор тут же пришел ей на выручку. Выручка была солидная: молодой официантке хотелось поскорее стать своей в таинственном мире, где пахло двойной итальянской бухгалтерией, тройным французским одеколоном и другими заманчивыми заграничными вещами. Глядишь, удастся подцепить там кого-нибудь вроде Кости — хозяйина чебуречной «Прибрежная изжога». Что за мужик!.. Стоило ему войти в любой ресторан, как оркестр вскакивал и исполнял его любимую мелодию — позывные передачи «Человек и закон»...

Тем временем Вероника быстро замазала губной помадой маршрутную табличку вагона-ресторана. Вероника была в курсе дела — скоро подкатит «левый» локомотив и помчит ее директора потаенной железной дорогой навстречу барышам. А пока придется оказать Профессору ответную услугу: заняться этим лопухом Антошкиным. Она усмехнулась, вспомнив, как тот краснеет, когда она прячет за вырез платья чаевые и продукты. И вот Вероника ждала в своем купе Антошкина, чтобы отвлечь его от борьбы за чистоту рук в советской торговле. В дверь постучали. Это был влюбленный кулинар.

Антошкин проснулся от голода. Стараясь не разбудить Веронику, он дотянулся до пирожка с капу-

стой. Что-то хрустнуло под зубами. Монета. Это было его, молодого специалиста Антошкина, предложение: в каждый десятый пирожок — «счастливый» — запекать монету. Теперь даже самые черствые пирожки не залеживались.

Но почему в пирожке пятак? Ведь по калькуляции положен гривенник! Антошкин судорожно разламывал пирожки — всюду были только пятаки. Молнией его пронзила мысль — недовложение! Еще надеясь на то, что это ошибка, он в чем был кинулся к директору. Но тот исчез вместе со всем вагоном-рестораном.

Угон?... Авария? Сейчас было не до того. Вот-вот проснутся пассажиры. Люди, вверившие Антошкину заботу о своем желудочно-кишечном тракте. Как он, шеф-повар, посмотрит им в глаза?!

— Быстро режь бутерброды! — разбудил он Веронику. — Надо продержаться, пока не подойдут наши из кулинарного техникума.

— Небось заявишь куда следует о чем следует? — с напускным равнодушием спросил Антошкина директор, когда нагнал состав. Тот кивнул. Директор схватил его за ворот:

— Сопляк! Разгадай загадку: «В одно ухо входит, в другое выходит». Знаешь, что это? Лом!

Падая, Антошкин успел схватить с директорского стола пирожок и из последних сил швырнул его в ухмыляющееся лицо Гарольда Харитоновича. Тот схватился за зубы и рухнул...

Эпилог

Вскрытие показало — в пирожке были увесистые золотые десятки. В тот же день директор явился с повинной в стоматологическую поликлинику.

Его поезд давно ушел. Весело позвякивали ложечки в стаканах, любовно вымытых Вероникой Антошкиной.

А сам Антошкин, недавно назначенный директором флагманского вагона-ресторана, кодовал над новым фирменным блюдом — «Шпала в собственном соку». Состав приближался к станции Хейли-Сортировочная.

Рисунок И. Оффенгендена.



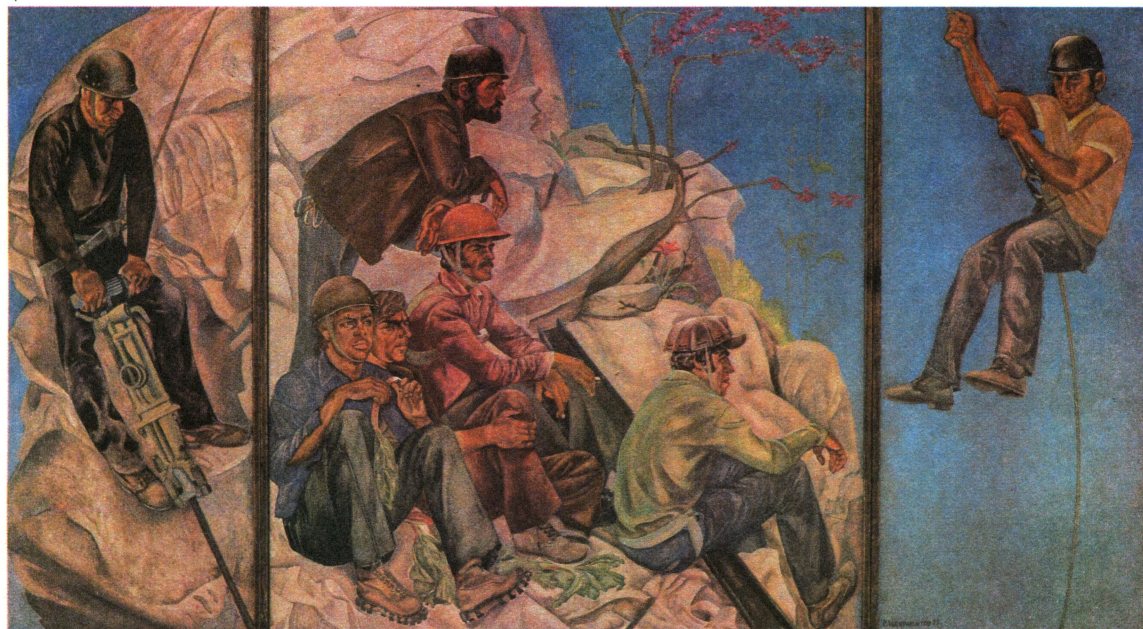
М. АБДУРАХМАНОВ, Г. ЯРАЛОВА.

За новую жизнь.

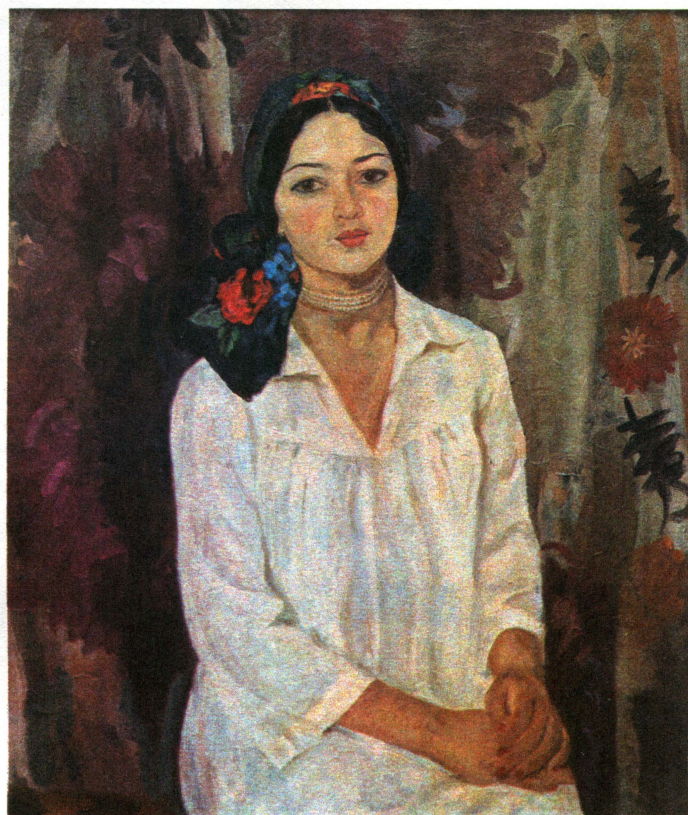
По залам выставки произведений
художников Таджикистана,
посвященной 60-летию образования Таджикской ССР.



С. ШАРИПОВ. Полдень.



Р. АБДУРАШИТОВ.
Скалолазы-монтажники.
 Триптих.



А. УМАРОВ.
Портрет
Духтари Панчикент.



А. КАДЫРОВ.

Игрушки. Керамика.



М. ТУКАЧЕВА.

Московский пейзаж.

Юность № 8. 1984. 1—112

Индекс 71120

Цена 70 коп.

